НЁМАН

10/2018
ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 17.10.2018. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,79. Тираж 1216. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Глеб ГОНЧАРОВ



Под звездой Хабар

Повесть

«...Каждый Еврей должен иметь известную свою наследственную фамилию, которая и должна уже быть сохраняема во всех актах и записях без всякой перемены, с присовокуплением к оному имени, данного по вере или при рождении».

Указ Александра I от 9 декабря 1804 г.

I

В год, когда Император Александр Павлович танцевал котильоны на Венском конгрессе, в конце апреля старая, полуразмытая глинистая дорога неподалеку от Збышова Слонимского уезда была разбужена глухим, доносившимся издалека шумом.

Над землей еще лежало раннее утреннее затишье, когда все живое дремлет, стараясь за короткие ночные часы набраться свежих сил, чтобы с первыми проблесками зари задвигаться, зашевелиться от самого сознания жизни; когда даже небо, напитанное прохладой, спит, и крупные, словно пшеничные зерна, звезды мерно мигают, охраняя покой мира; когда неспешно склонялись к закату семиколесный Ильин Воз, и тесные Волосыни, и повисшие на небесном коромысле Три Короля; когда туман, притаившийся в низинах невиданным белым чудовищем, еще не пал на травы адамантовой росой; когда до рассвета оставалось не более часа.

Старый седой лис выбрался из норы между корнями векового бука, мягко ступил по чахлой траве, чудом росшей на этих глинистых холмах, и жадно втянул глянцевитыми ноздрями утренний воздух.

Чуткие подушечки лап сразу же почувствовали далекое сотрясение почвы. Лис настороженно повернул голову, пытаясь определить причину, но туман глушил все звуки, скрадывал запахи, и зверь в недоумении застыл… Уже больше пятнадцати лет почти никто не пользовался этой дорогой — ни охотники, ни случайные прохожие, ни крестьяне, возившие на скрипучих телегах овес и сукна на зельвенскую ярмарку.

Дряхлая память лиса не помнила ни одного врага из тех двуногих, вооруженных ружьями существ, которые когда-то спускали с поводов псовые своры и устраивали шумные, веселые охоты на него самого, его очаровательных, лукавых жен и бестолковых детей. И все-таки что-то заставило его напрячься.

Внезапно до него донесся мягкий топот копыт, словно ноги лошадей были закутаны в шерстяные обмотки, а следом долетел проклятый запах железа и человеческого пота. Сомнений больше не было — лис вспомнил все! Приближались люди. Старик повернулся и сломя голову кинулся прочь, петляя между кустами…

На дороге показался трехконный открытый тарантас, чуть кренившийся и повизгивавший на скользких ухабах. Длинные дышла торчали вверх, как дула кремневых фузей. За тарантасом, ежась и позевывая, тряслась на чепрачных черкесских седлах четверка полицейских драгунов.

Тарантас подпрыгнул на камне, и ездок чувствительно приложился головой к обручу фартука.

— Чтоб тебя, косорукий! — выругался он на кучера. — Гляди осторожней: костей с тобой не соберешь!

— Прошу прощения, Ваше благородие, — отозвался тот, не поворачивая головы, — сумеречно еще: ни шиша не вижу.

— До Збышова далеко?

— Верст шесть осталось, через полчаса доедем.

— Верст шесть… Скажи: все десять, — и пассажир поплотнее закутался в колючую шершавую попону, от которой уютно пахло конским мылом. — Дернул меня черт согласиться с тобой. Выехали бы с рассветом, как люди, да по большаку б и домчали.

— Так по большаку на двадцать верст дальше, а этот путь короткий.

— Не обломался бы! — прикрикнул пассажир. — И зачем мы только среди ночи поперлись?

— Не скажите, Ваше благородие. Это у вас в столице народ почтенный: если Государь Император приказал, то вывернутся наизнанку да исполнят в срок. А здесь — серость подколодная. Пока им в загривок калачей не выпишешь — не пошевелятся. Если увидят, что Ваше благородие, да еще с жандармским конвоем приехали, разбегутся по лесам или в Варшаву на отхожий промысел подадутся. А леса тут густые, богатые, до октября жить можно. Я-то эти места знаю.

Пассажир насупился, отчего его пухлые, сдобные щеки стали еще шире, казалось, они растекаются, как тесто из дежи поверх стоячего форменного воротника, обтянутого черным плюшем.

— Вы подумайте только, — продолжал кучер. Да и не кучер он был вовсе, а такой же чиновник, как и ездок, только чином поменьше, ростом пониже и вертлявый, как головастик в пруду. Ну, еще мундир у него был не чиновника III Департамента Правительствующего Сената, а писаря городского благочиния. — Вы подумайте: десять лет назад государь Император повелел, чтоб евреи себе фамилии выбрали, и до сих пор хоть бы кто подчинился. Так и говорят: «Бог у нас один, он свой народ знает, а русский царь нам не указ». Вы ж понимаете: царь — не указ! Подлый народ, доложу я вам; сколько лет прошло, а они все Польшу назад ждут. Мол, тогда свободы больше было, а податей меньше. Вот уж воистину — христопродавцы! Я-то, конечно, тех времен не помню по малолетству, а вот покойный мой батюшка рассказывал, что и тогда они морду воротили, все Мессию ждали, а короля Станислава ни в грош не ставили. Батюшка мой этого не терпел. Как размахнется арапником — да по харе им, по харе! А они в суд бежали. Ох, и натерпелись мы от этого крапивного семени. А король Станислав великий король был. Шляхту в обиду не давал. Я тоже в честь его назван.

— Ну, ты! — нахмурился седок. — За дорогой следи, а то слишком говорливый стал.

— Ой, простите, ради бога, Пармен Федотович! Я ж ничего… Я за Императора Александра Павловича жизнь отдам.

Тарантас повернул в узкую теснину между двух отлогих холмов и, проехав еще с полверсты, остановился над скатистым откосом, под которым на топком берегу Щары лежало большое торговое село Збышово. Поднимающееся солнце уже слизывало первыми осторожными лучами туман, в котором тонуло село, и из серого ворочающегося дыма понемногу проявлялись бревенчатые хаты, заборы, сизые купы яблонь, разрушенный каменный трактир и дом священника на рыночной площади, а чуть поодаль рвал водянистую кашу тумана остроконечной колокольней католический костел.

— Плебанию видите? — спросил Станислав и, не дожидаясь ответа, сказал: — Вот к ней и поедем.

— Куд-д-да? — вдруг зарычал сенатский чиновник. — Чтобы я да в дом ксендза?.. Давай в православный храм!

— А нет никакого ксендза, — пояснил кучер. — Ксендз с Бонапартием убежал. Теперь здесь отец Екзуперанций служит. Во-о-он, и крест православный на костеле воздвигнут. Так что лучшего дома для вас не найти. Ну-ка, держитесь крепче, а то спуск больно крутой, не ровен час — выскользнете из брички…

II

Всхрапнула злодейски из постромок сытая упряжка и, повинуясь твердой руке Станислава, круто рванулась по откосу в село. Тарантас, подскакивая на рытвинах, пролетел между орешниковыми плетнями, за которыми на огородах возились в земле испуганные бабы, и выкатился на главную улицу села, мощеную тесаным камнем, которая вела к рыночной площади под маршевый клич петухов.

Перед домом священника кучер натянул вожжи. Тройка стала как вкопанная. Кони фыркнули презрительно, замотали лохматыми гривами и, словно мстя кучеру за бизуны, которыми он щедро охаживал их, топнули задними ногами по луже — как раз в тот момент, когда пан Станислав спрыгивал с облучка, чтобы почтительно подать угодническую ладонь сенатскому посланнику.

— Ах ты, пся крев! — выругался Станислав, отряхивая жирную грязь с синих потрепанных чакчиров.

Сенатский чиновник закряхтел и, брезгливо поглядев на Станислава, выбрался из тарантасного чрева, не обращая внимания на подобострастно протянутую руку. Был он уже довольно стар — лет тридцати с лишним — и порядком толст. Но только внимательный взор мог бы определить, что полнота его была вызвана сердечной болезнью. На тестяном отечном лице виднелись малиновые прожилки ломких сосудов; припухлые веки прикрывали глаза ячменными зернами; а юфтевые сапоги были чуть разрезаны сзади по шву, чтобы легче было натягивать их на пастозные икры.

Чиновник, потягиваясь, обошел вокруг тарантаса огляделся на пустую площадь, заметил, что из-за заборов на него с испугом из-под капелюшей посматривают зачуханные крестьяне в бесформенных льняных рубахах и их бабы в конопляных намитках, и, чтобы придать себе важности, перекрестился на церковь. Потом подумал маленько и, повернувшись к дверям священнического дома, сбоку от которых в тенистой беседке был врыт в землю

католический поклонный крест с иконкой Андрея Боболи, жадно, влюбленно поцеловал его лик.

В общем-то, ему было все равно, кого страстно целовать. Рассудил он просто: если отец Екзуперанций не стал выкапывать этот крест, то не будет большого греха от того, кому выражать свое христианское почтение — в ад он от этого не попадет. А и попадет — так знакомых на всякий случай не помешает иметь и в аду!

Пан Станислав тем временем стреножил коней и вытащил из тарантаса саквояж господина чиновника. Бросив поводья драгунам, он пригласил своего пассажира пройти к дому. Драгуны тоже спешились и ничтоже сумняшеся привязали и тройку, и своих рысаков к перекладинам креста, словно к коновязи, а сами свалились в глянцевую от росы соковитую траву и закурили длинные изогнутые трубки с грушевыми чубуками.

Пан Станислав постучал в двери медным дверным молоточком в виде медведя. В доме послышались шаги. Забранное частой решеткой переговорное окошечко приоткрылось, и женский голос произнес:

— Что вам надо?

— Открывайте, матушка. Господин чиновник из Правительствующего Сената к отцу Екзуперанцию. Из самого Петербурга.

Невидимая собеседница испуганно охнула, зазвякали замочки, застучали засовы, и дверь распахнулась.

Поджарая матушка склонилась перед ними в поясном поклоне. Чиновник, за которым пан Станислав нес битком набитый саквояж, прошествовал в горницу, где его встречал сам настоятель — седой как лунь, выцветший, с волосами, подстриженными «в скобку» по здешней старинной моде, в скромном подряснике.

— Добро пожаловать, — поклонился он вошедшему. — Чем обязан столь приятному визиту?

— Чиновник Третьего департамента Правительствующего Сената титулярный советник Пармен Федотов Кувшинников. Прибыл в сии места, дабы исполнить Указ Государя Императора о евреях.

Отец Екзуперанций пригласил Кувшинникова сесть в глубокое резное кресло, на спинке которого был вырезан герб ордена иезуитов, сам примостился напротив — на низенькой табуреточке, и вопросительно посмотрел на пана Станислава, который нерешительно мялся у притолоки.

— Позвольте узнать ваше имя, сын мой?

— Старший писарь управы уездного городничего Станислав, сын Иосифа, Щур-Пацученя.

— Щур-Пацученя... Щур-Пацученя... — прижмурился священник, словно пытался вспомнить что-то. — Не будете ли вы родственником Иосифу Щур-Пацучене, что во времена императора Павла возглавлял Ковенскую таможню, был бит плетьми за необузданное лихоимство и сослан в места не столь отдаленные?

Пан Станислав вспыхнул красной девицей и с яростным верноподданничеством отрицательно замотал головой:

— Никак нет, Ваше высокопреподобие! Это не мой отец. К сожалению, наш род очень многочисленный, и немудрено, что какой-то лиходей положил пятно на всю фамилию.

— А-а-а, ну-ну. Да вы присаживайтесь, господин писарь. В ногах правды нет. Вевеюшка, радость моя, собери быстренько на стол. Господа голодные с дороги. Угостим чем Бог послал.

Попадья всплеснула руками и, попросив прощения за собственную недогадливость, унеслась на кухню.

— Если я правильно понял, господин титулярный советник имел в виду Указ о присвоении иудеям родовых фамилий?

— Истинно так, Ваше высокопреподобие, ибо без оных фамилий ни податей собирать невозможно, ни к сословиям определенным их причислить. И вообще — через это один беспорядок в государстве. Не ведает государь, сколько у него верноподданных. Согласитесь, что подобное недопустимо в нашем просвещенном отечестве.

— Ну что ж, благое дело, благое. Сказано в Священном Писании: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, и память про Меня из рода в род». А поскольку Господь создал человека по образу и подобию своему, то и мы свой род помнить должны. Ну, прошу к столу, потрапезничайте.

Кувшинников и Щур-Пацученя перешли вслед за отцом Екзуперанцием в столовую, где матушка Вевея в паре с разбитной, блудоглазой кухаркой уже успела накрыть трапезу. Всего неделю назад отпраздновали христиане Пасху, забыв Великий Пост, как страшное дьявольское наущение, а потому стол — нет, не ломился от сытных яств — а так: чуть-чуть потрескивал под грузом многочисленных блюд.

Ну, как? Как, скажите, описать настоящее праздничное белорусское угощение, которое не из-под палки подается гостю, а по велению души? Какими словами можно воспеть это ароматное благолепие, которое с уважением и преданностью поднесли на стол пастыря своего прихожане, перемазанные землей и навозом? Как воспеть прекрасные дары мурзатых холопов, что узколобо копаются на своих огородах и пашнях и упрямо не желают разогнуться и посмотреть в звездное небо, чтобы подумать о Боге и великом предназначении человека?

Поставила перед Парменом Федотовичем и паном Станиславом матушка Вевея пухлые пызы из творога и тертой картошки, жареные на свином нутряном сале, во чреве которых истекал янтарным жиром мясной фарш, щедро сдобренный луком. Поставила извлеченное из ледяного погреба сало толщиной в ладонь, по которому алой кровью Христа бежали мясные прожилки; сало, нашпигованное чесночком, плачущее холодными слезами, словно Богородица, запотелое каплями колодезной росы. Поставила свиные рубцы с ливером и рассыпчатой гречневой кашей — как надкусишь те рубцы, так и брызнет изо рта гречка россыпью каштановых диамантов. Поставила верещаку с пшеничными блинами в сметанной подливке; да не просто верещаку, а верещаку, которую славные литвинские витязи ели под Грюнвальдом — жареные вантробянки были в той верещаке, и подвяленная медвежья лапа, и копченые ребрышки молодого поросенка. Поставила румяное печисто из свиного окорока — перед тем как осенью повесить этот окорок на крюк в подполе, кухарка натирала его лавровым листом, можжевельником и чабрецом, отчего окорок наливался фиолетовым цветом и становился похожим в лиловой пышности своей на герб славного рода Болоз-Антоневичей.

И кисель овсяный поставила она, и брюквенную грыжанку — на тот случай, если гостей изжога замучает от скоромного, — и томленый в печи квашеный бигос, да много еще всякого, так что бедными родственниками на этом гостеприимном столе в дальнем уголке стояли хрустящие холопские драники с топленым маслицем.

Но с горячительными напитками у отца Екзуперанция дело обстояло строго. Неодобрительно относится Христос к тем детям своим, кто по сата-

нинскому наущению душу в алкоголе топит, а потому отец Екзуперанций каленым железом выжигал скверну эту в приходе своем; ни водки казенной, ни крамбамбули, ни смородиновой наливки, ни самогона ржаного, ни даже душистого пенного пива варить христианам не позволял. А потому на столе ничего этого не было. Стояли только два полуведерных штофа хрустальной, как любящий взгляд Богородицы, пейсаховки, которую отец Екзуперанций закупал у ребе Менахем-Мендла. Хороша была эта пейсаховка, настоянная на изюме. Сколько ни выпьешь ее, голова на следующее утро была чистой и ясной, словно Боженька тебя в темечко поцеловал. А иудеям-христопродавцам все равно гореть в геенне огненной, так пусть занимаются винокурением во славу господа нашего Иисуса и во благо православной церкви.

III

Пармен Федотович аж душой умилился, вкушаючи яства амброзийные, — за уши не оттащить было. Даже ненароком сальную пляму на фуляр поставил. А отец Екзуперанций, походя занимаючи дорогих гостей разговорами, облачался на службу в церковь.

Заметив, что Кувшинников, не желая обидеть гостеприимного хозяина, давится угощением, чтоб побольше съесть, батюшка успокоил его, пояснив, что отлучится на каких-то пятнадцать минут, потому что служба предстояла коротенькая — служба третьего часа: надлежало возгласить воспоминание о претории Пилата, где Спасителю был вынесен смертный приговор. Пусть гости не волнуются и вкушают неторопливо, а если понадобится что-нибудь, то зовите прислугу. Ярина — девка ловкая, хваткая. Все исполнит как надо. А придет отец Екзуперанций со службы, матушка враз постелит гостям, чтобы отдохнули они после долгой дороги.

— Не время отдыхать, — заворчал Кувшинников, — надо к полудню созвать всех евреев на площади и объявить им повеление государя.

— Сегодня? — усмехнулся священник. — Это, сын мой, не получится. Сегодня — суббота, праздник иудейский. Сегодня им запрещена Всевышним любая работа, не пойдут они на сход. Вот в понедельник — добро пожаловать. Всех соберем. Прикажете раввину — он их строем выстроит где скажете.

— Почему в понедельник? — удивился пан Станислав. — Почему не завтра?

— Так завтра же — воскресенье, неприсутственный день. Тут не Всевышний — тут сам император Павел всем работать запретил!

— Да как не пойдут? — возмутился Кувшинников, обгладывая гусиный полоток. — Я сюда из самого Петербурга даром, что ли, ехал? Прикажу — и приползут как миленькие!

— Нет, Ваше благородие, — вмешался Щур-Пацученя, — отец Екзуперанций дело говорит. Не пойдут евреи сегодня на сходку, хоть их живьем ешь. Это ж народишко своевольный. Их ни царь Нерон, ни Торквемада сломать не смогли. Будут кланяться, улыбаться, клясться тебе в лицо, но в субботу шагу лишнего не сделают. А силу примените — разбегутся кто куда. Здесь деликатней надо. Я вот что предлагаю… Как, бишь, их раввина зовут?

— Реб Менахем-Мендл, — подсказал священник, надевая шелковую епитрахиль.

— Вот. Вы, Пармен Федотович, спокойно ложитесь спать, а я поброжу по селу, разузнаю, чем люди дышат. А часиков в шесть вечера, как первая звезда

взойдет, праздник субботы у них закончится. Тогда я к этому Менахем-Мендлу и заявлюсь: скажу ему, чтоб завтра с утра весь свой кагал построил где прикажете. А кто не придет — будет сослан в Сибирь. Явятся все как миленькие. Тут-то вы им указ Государя Императора и возгласите.

Кувшинников побурчал для порядка и положил себе на тарелку добрый ломоть печисты. А Щур-Пацученя вышел с отцом Екзуперанцием из дома, поднял драгунов и велел им закатить тарантас в сарай, а лошадей завести в конюшню и самим располагаться там же на сене. Раскрасневшаяся Ярина, нацепив на лицо маску истовой добродетели, вприпрыжку понесла им котел с похлебкой. Под фартуком соблазнительно угадывались округлые очертания бутылки.

Настоятель попрощался с паном Станиславом на церковном крыльце и скрылся в алтаре. Щур-Пацученя огляделся. Хорошее было село, богатое. Уже третий год служил он в Слонимской канцелярии, объездил пол-уезда, а в Збышово до сих пор заезжать не доводилось. Отжатый у католиков костел был облицован снизу доверху, лениво раскачивался колокол, который мерно тянул одну и ту же надтреснутую мирную ноту. Настолько мирную, что сидевшая тут же — на люкарне звонницы — дородная ворона, нисколько не пугаясь, теребила свинцовым клювом украденные где-то утиные потроха.

В нефе собора толпились прихожане. Среди льняных рубах навыпуск, грубых зипунов и расшитых узорами крестьянских платьев, подвязанных повойниками, кое-где виднелись и отливающие лакированным глянцем шелковые накидки, и суконные кунтуши двойного переплетения, и приталенные кафтаны. Щур-Пацученя подсчитал, что чуть ли не две трети селян занимаются не хлебопашеством, а добывают хлеб свой насущный ремеслом и торговлей. Это его порадовало. Уж если столько белорусов не прозябают в голоде и нищете, то иудеи, пожалуй, не бедней-то будут.

Смотрели со стен польские иезуитские иконы суровым глазом. Не было пока времени у отца Екзуперанция сорвать эти еретические рожи и заменить их истинными ликами, писанными по византийскому канону.

Запел невидимый хор, и пан Станислав поспешил бочком выбраться наружу. Хоть и честно он принял в свое время православную веру, но сделано это было не ради какой-то подлости вселенской, а только для карьеры, чтобы ничто не мешало ему отдаваться службе во славу России.

Он гоголем пошел по центральной збышовской улице, чувствуя за спиной любопытные и настороженные взгляды. За плетнями во дворах кучками стояли ветхозаветные одноверцы и, переговариваясь о чем-то на своем хриплом языке, смотрели на него любяще, как Юдифь на Олоферна.

Пан Станислав исподлобья зыркал острым взглядом по сторонам, примечая, где какая хата стоит и чем занимается ее хозяин. Вот чисто выметенный двор, а крыша избы крыта не соломой, а дранкой; в глубине двора — большой курятник, и важный, как сам господин Кувшинников, петух чистит клювом кавалерийские шпоры. Это дом птичника или — еще лучше — резника-шойхета, который режет птицу в соответствии с требованиями кашрута. Это хорошо: резник — человек богатый.

Вот крытый листовым железом кряжистый, знающий себе цену дом. Ну, тут живет сам реб Менахем-Мендл — к гадалке не ходи. Вон и пристройка, где собираются евреи на молитву. Синагога по-ихнему. А вон и сарайчик незаметный за грушей. Вьется из трубы затейливый, легкий дымок; пшеничным духом мечтательность нагоняет. Не иначе реб-законоучитель свою пейсаховку варит. Суббота она, конечно, суббота, но деньги-то зарабатывать надо!

Вот подворье кузнеца. Ишь, сколько подков в ларе возле клуни накидано! А тут живет пекарь — мешки с мукой под навесом свалены в кучу. Видно, привезли их в пятницу с мельницы, а в подпол спрятать до шабата не успели, оставили до воскресенья. Вот дом портного... торговца... торговца... торговца... торговца... еще торговца… О, наконец-то… Нет, опять торговца! Ах, почему ж вас, крапивное семя, фараон в Красном море не утопил?!

Щур-Пацученя сворачивал с главной улицы в проулочки, боковые тупики, присматриваясь к домам обывателей, вновь выныривал на большак, помечал что-то огрызком карандаша на клочке бумаги, подсчитывал, и выходило, что в Збышове живет ни много ни мало аж триста сорок иудейских семей. Он взвизгнул от восторга, ускорил шаг и так постепенно дошел до берега Щары, запутавшейся в рогозах и осоке.

И здесь иудейские дома как бритвой отсекло в день обрезания! Выше по течению реки виднелись хижины, откуда доносилась галчиная болтовня детей и смех прекрасных магдалин, посередине стояла крепкая, зажиточная усадьба с надворными постройками, а ниже — только соломенные белорусские стрехи. Что за диво?

Пан Станислав решил выкупаться. Хоть и май еще — вода наверняка холодная, но уж больно призывно блестела Щара шафраново-желтым, радужным блеском. Он спустился к срезу берега, оглянулся, чтобы нигде поблизости не было постороннего ока, скинул мундир до подштанников и бухнулся в ледяную, словно колодезную, воду.

Его опекло с головы до пят, как зубьями бороны порезало! Не чуя себя от боли, вынырнул и хотел было выбежать на берег, но шляхетная гордыня удержала его. Кувшинников, может быть, и сдался бы, но пан Станислав — не из того теста: проплывет сто аршинов вверх по реке и столько же — назад, вот тогда и вылезет.

Он гордо преодолевал медленное течение, по-собачьи рассекал ленивый поток, изредка всплескивая ногами, как сом. И уже почти проплыл половину пути, держась правого, более высокого берега, с которого на сваях нависали над рекой задние стены усадьбы, как вдруг прямо над ним в одном из закутов со стуком открылся бревенчатый люк, и на него хлынула лавина свиного навоза.

Щур-Пацученя поперхнулся от страшной вони, закашлялся, забил руками по воде, но только взболтал пеной густое зеленое месиво. Взвыл сдавленно, аки агнец под жертвенным ножом Авраама, и попытался выбраться из клейких нечистот. Зря! Маслянистая лужа растекалась по всей ширине реки и медленно плыла вниз по течению.

Теперь пану Станиславу стало ясно, почему правее усадьбы не было еврейских домишек. Владелец маёнтка разводил свиней и время от времени сливал жирное дерьмо в реку. Вот иудеи и не селились в той стороне, чтобы ненароком не оскверниться.

Привольно, свободно, словно народная песня, плыло дерьмо от берега до берега реки, и пан Станислав никак не мог выдраться из его объятий, чтобы невзначай не поднять волну. Ему стало ясно, почему река так поэтично отливала золотом и блестела на солнце.

Наконец, закоченев, что горшок с маслом во льду, он с трудом выбрался на берег, умудрившись порезаться об острые листья осоки, и долго сидел в кустах, жалея себя и представляя, как снесет голову чертову холопу. Он его заставит заплатить за оскорбление! Он его по миру пустит! Меньше, чем за рубль, не простит поругание своей бессмертной души.

Когда пятно сплыло, он быстро постарался смыть с себя всю грязь, которая пропитала его да самых печенок; дрожа, подставил зад солнцу, чтобы высушить исподнее, и так, ворочаясь из стороны в сторону, согрелся, потом натянул мундир, пригладил взлохмаченные волосы, подкрутил жамойтский ус, чтобы придать себе воинственный вид, и грозным шагом — ать-два, ать-два! — направился к воротам усадьбы.

— Открывай, полиция! — замолотил он кулаком в тесовые пропилеи, помогая себе каблуками сапог. — Открывай! Именем Государя Императора! Вы арестованы!

Во дворе всполошились, забегали; отчаянно закудахтали куры; какой-то гнусавый женский голос завопил:

— Ой, батюшки! Полиция! Ой, зовите пана Мартына! Ой, что ж это будет?

— Открывай, а то выломаю! — надсаживался пан Станислав.

Он в бешенстве колотил в дубовые створки, пока не услышал, как кто-то подошел с другой стороны и откинул щеколду калитки. На пороге стоял хозяин: кряжистый, поперек себя шире, основательный, что чирей на ягодице.

— Быдло! Холоп! Курва! Сгною! Засеку! — попытался ворваться внутрь Щур-Пацученя, но хозяин, не сдвинувшись с места, напряг руку, и пан Станислав на сажень отлетел от этой руки, плюхнувшись в пыль.

— Что? Да ты так! Да как ты!.. Да ты на полицию руку поднял! Да ты в моем лице всю империю обгадил! Да я тебя!.. — и Щур-Пацученя слепо начал шарить по левую сторону ремня, где у него всегда висела сабля.

Но сабли почему-то не было. И только тут Щур-Пацученя вспомнил, что, выезжая из Слонима, оставил свою забавочку в управе. Поездка предстояла легкая, веселая; бунтов не предвиделось, да еще господин городничий отрядил с ними четырех стражников по настоянию Кувшинникова, которому невмоготу была мысль, что придется ехать без торжественного конвоя, как какому-нибудь коллежскому регистратору. И вот сейчас без сабли Щур-Пацученя ощутил себя беспомощным и смешным, как монах в женской бане.

— Ну, что ты хнычешь, как мешком прибитый? — флегматично спросил пан Мартын.

— Полиции перечить, холоп?! В Сибирь загоню! Уйди с дороги!

Пан Мартын впиндюрил сопливому писарю разворотный щелбан, обернулся и позвал кого-то невидимого в глубине двора:

— Барнук, свидетельство неси! Пан полициант буянит!

Захлебнулся возмущением ясновельможный пан Станислав и хотел бежать за драгунами, чтобы в кандалах под бизунами привести пригонного хама на светлейший городничевский суд, однако пан Мартын бесстрастно наблюдал за его петушиными прыжками — только желваки презрительно перекатывались с челюсти на челюсть. Это было необычно: еще ни один простолюдин так не вел себя перед писарем полицейской управы, выше которого по положению, как известно, только господин лакей генерал-губернатора.

Чешась и позевывая, неторопливо вышел из дома белобрысый Барнук, похожий на отца как две капли воды, и сунул в руки пану Мартыну изящный сафьяновый бювар. (Бювар — слово-то какое, прости Господи, мерзкое! Ну, откуда в этом селе бювар?)

— Иди сюда, пан. Что-то покажу, — пренебрежительно махнул рукой пан Мартын.

Щур-Пацученя, уже успевший затолкать свой гнев в мешок, осторожно приблизился и уставился в плотный, широкий, как парус, лист бумаги с

имперским двухголовым орлом. Это было Купеческое свидетельство, гласившее, что Мартын, сын Адварда, а по прозвищу Подруба, сполна уплатил гильдейский сбор и зачислен во вторую купеческую гильдию. Дата внушала уважение — 21 марта 1802 года. И подпись — Губернатор Гродненской губернии, действительный статский советник Дмитрий Иродионович Кошелев!

Но, в конце концов, купцов второй гильдии в государстве много, а писарь градоначалия в уезде — только один, и не таких жохов обламывал, но вот остальные бумажки… Нет, не бумажки: письменные привилегии! Поставщик дома Гродненского генерал-губернатора; Поставщик дома Виленского генерал-губернатора; Поставщик дома Витебского генерал-губернатора; и — как последний гвоздь в дубовое темя: Поставщик двора Его Императорского Высочества, наместника Царства Польского, Великого Князя Константина Павловича! А поставляет пан Подруба ко двору «свинину живым весом и в забое, в чем свидетельство ему дано и настоятельно предписывается гражданским, военным и полицейским властям препятствий в сем не чинить, а только оказывать всяческое содействие».

— Так что ты хотел, пан? — презрительно спросил купец.

— Ничего-с, — проблеял Щур-Пацученя, на трясущихся ногах отступая назад. — Вот решил зайти, спросить: содействия какого не требуется?

— Нет, пан. Не требуется. Возьми, пан, пятак, сходи в баню.

Свинарь бросил на дорогу тяжелую медную монету и захлопнул калитку.

Оставшись один, Щур-Пацученя возмутился. Да чтоб он мелкую подачку так явно от сиволапого мужика принял? Не бывать этому! А потому злобно поддал унизительный пятак в кусты и там, кипя от злости, подобрал его, чтобы никто не видел.

IV

За всеми этими злоключениями пан Станислав совсем потерял счет времени. Хотел было вернуться к отцу Екзуперанцию за богатый стол, однако почувствовал, что, куда бы он ни пошел, всюду увивается за ним подозрительный запашок. Поэтому он выбрался из Збышова вверх по реке и в густом леске снова полез в воду. Мылся и так, и сяк, сушился, поворачиваясь вслед за солнцем, пока с удивлением не понял, что его скромная особа собрала к себе всех мух из Гродненской губернии, да еще немного из Вильни прилетело.

Являться к Кувшинникову в таких очевидных ароматах не хотелось, и Щур-Пацученя возвращался в Збышово не напрямик, а по-благородному — задками, через выгон, где людей не было, зато лениво паслись на привязи козы и философически жевали жвачку коровы, нагуливая молоко. Пан Станислав маскировки ради обильно потоптался по козьим орешкам и свежим коровьим плюхам, и только успел подумать, что жизнь, в сущности, не так уж и плоха, как увидел в десяти саженях от себя любящие, налитые кровью глаза кудрявого, что князь Болеслав[1] после интердикта, бугая.

— Извините... — прошептал Щур-Пацученя и пустился наутек.

По двору плебании степенно бегала из угла в угол матушка Вевея и истошно взывала:

— Ярина! Ярка! Где ты подевалась, прости Господи!

---

[1] Болеслав IV Кудрявый — князь Польши из династии Пястов, известный своей жестокостью, из-за чего был отлучен от церкви.

Из коровника высунулась любопытная голова молодой телушки.

— Уйди, холера, не тебя зову, — отмахнулась попадья.

Пан Станислав вбежал в дом, где на оттоманке под иконами валялся расхристанный, всклокоченный Кувшинников в одних кальсонах — белый и трясущийся, как овсяный кисель. И лицо, и рыхлую грудь, и разъевшееся брюхо покрывали жемчужины студенистого пота. Отец Екзуперанций сидел у изголовья и менял на лбу Пармену Федотовичу холодный компресс.

— Что с ним?

— Что! Что! — неожиданно зло отозвался священник. — Аль не видишь, сын мой? Господин чиновник изволили полведра водочки выкушать со свиным окорочком и к сердечному припадку, как на Голгофу, взойти. Всего-то титулярный советник, а нектар дьявольский жрет, как действительный тайный! Вот думаю, причащать его или выкарабкается.

Щур-Пацученя посмотрел на обеденный стол. Да уж, силен был Пармен Федотович! Весь герб Болоз-Антоневичей, как Речь Посполиту, к себе присоединил. Вот же эпикуреец зобатый, берегов не видит! Словно Российская империя, все сожрать готов.

— Ярка! Где тебя носит, Раав иерихонская?

— Батюшка! — взмолился Щур-Пацученя, в ужасе представив, как побредет в колодках по Сибирскому тракту, когда до Петербурга дойдет весть, что он угробил сенатского посланника. Кто там будет разбираться! — Батюшка! Да что вы его холодной водой трете? Тут лекаря надо: кровь пустить, порошками напоить!

— Да? А где я тебе возьму того лекаря? Был у нас тут лекарь при пане Збышовском, так с басурманом в Париж сбежал. Мне что, святым Косьме и Дамиану молиться, дабы снизошли?

— Так я сейчас в Слоним гонца отправлю. Он оттуда лекаря привезет!

— Остынь, сын мой. Гонцы твои попущениями Ярины тоже лыка не вяжут.

Пармен Федотович дернулся под мягкими руками отца Екзуперанция, возжелал встать, забил желтыми мослами и дурным, хриплым голосом завел:

— Allons enfantes de la Patrie, le jour de gloire estarrivé![1] К оружью, граждане! Свобода, равенство, братство!

Щур-Пацученя в ужасе зажмурился. Его живая фантазия услужливо нарисовала, что Кувшинников в их уезде успел организовать кружок якобинцев. Да за такой афронт их с господином городничим на остров Эльба укатают!

— Ярка! Блудница ты вавилонская!

— Лежи ты! — отец Екзуперанций с силой вдавил Кувшинникова в комковатую оттоманку. — Какой господин чиновник нынче буйный пошел, робеспьеристый! Ах, жалко, что доктор Стжыга сбежал, — даром что католик. Была у него манера на вызовы с косой ходить — он ей от лихих людишек отбивался. Прихожане рассказывают: как зайдет доктор Стжыга в хату, как откинет капюшон накидки с лысой головы, косу у лежанки поставит, взглядом хирургическим пронзит и спрашивает, глядя в угол: «Ну, что, любезный, кровь пускать будем? Кончилась твоя болезнь». Это он имел в виду, что непременно вылечит болящего. А сам косил на оба глаза. Больному невдомек, что Стжыга с ним разговаривает, а не с мышиной норой, откуда нечистая сила за его душой лезет. И такое рвение жизнерадостное у него появляется, что вскакивает он со смертного одра крепенький как огурчик.

[1] Из Марсельезы: Вперед, сыны Отчизны милой, мгновенье славы настает!

— Батюшка! Ваше высокопреподобие! Что ж делать-то? Ведь помрет Пармен Федотович — с нас спросят! Может, я сам сейчас за лекарем галопом до Слонима и обратно?..

— Сын мой! До Слонима — сорок верст по прямой дороге, и назад столько же. Да и где ты в субботу вечером будешь лекаря искать: воскресенье завтра, день отдохновения. Твой лекарь уже, поди, укушался нектару пшеничного да шампанеи. Не может наш человек без философского дурмана, ибо душа его не приспособлена к жизни в родном отечестве. Преставится твой Пармен Федотович во благости и грехе сладостном.

— Ярка! Ярка! Магдалина ты похотливая!

— Нет, сын мой, лекаря мы не найдем. Тут коновала звать надо.

— Боже мой, да какого еще коновала?

Отец Екзуперанций с недоумением посмотрел на Щур-Пацученю, который никак не мог уразуметь, что коновал в деревне — первый человек, без которого остановится вся жизнь.

— На берегу стоит усадьба пана Подрубы…

— Я знаю, кто такой Подруба.

— Коновал у него служит. Хороший коновал, всей деревне скот лечит…

— Да разве можно коновала к человеку подпускать?

— Не гневи Бога, сын мой. Этого коновала — можно. Он коровам воспаление лечит, бычков холостит, вертячку овечью пользует, свиней у пана Подрубы режет…

— Да как вы можете, батюшка, такие страсти предлагать? Там — свиньи, а тут — целый сенатский чиновник из столицы.

— Не спорь, сын мой. Свиней режет и чиновнику кровь пустит. Разницы никакой! Езжай к Подрубе. Пан Подруба — хороший человек. Своенравен немного, но кто из нас без греха!

Щур-Пацученя выбежал из дома и метнулся в конюшню. Хотел было отправить за коновалом драгуна, чтобы самому лишний раз не позориться перед купцом, да только стражники не то что на коня, на лавку сесть не могли. Пустой котел из-под похлебки был нахлобучен, как кивер, на голову жеребца, отчего конь стал удивительно похожим на господина городничего.

— Ярка! — заглянула в дверной проем матушка Вевея. — Не появлялась?

— Никак нет! — гаркнул косматый, что Исав, рыжий вахмистр. — Отсутствовать изволят.

Но пан Станислав почуял в дальнем углу сдавленные смешки под копной. Он отшвырнул в сторону охапку сена и увидел торчащую босую ногу — плотную, крупной лепки. Хохоток доносился из-за того, что вахмистров гнедой, хрустя сеном, то и дело невзначай притрагивался бархатной губой к чумазой пятке. Щур-Пацученя потянул за эту ногу, и на свет божий выползла расхристанная, взлохмаченная Ярина с задранными юбками. Она воровато смеялась и запахивала на груди расшнурованную сорочку.

— Идолица бесстыжая! — всплеснула руками попадья. — Как тебя земля носит?

— Простите, ради бога, матушка, — затараторила прислуга, глядя на Вевею честным взглядом армейского интенданта. — Вот те крест: забежала ребят покормить, и сморило меня от жары. Спала, спала, ничего не слышала.

Попадья хлестнула ее лозиной по мясистым икрам и погнала в горницу ухаживать за Кувшинниковым. Щур-Пацученя вскочил на гнедого, не надевая

седла, и погнал к Подрубе. Вслед ему неслись рвотные рыки Пармена Федотовича, перемежаемые истошным фельдфебельским вонмигласием:

— За французом мы дорогу
И к Парижу будем знать,
Зададим ему тревогу,
Как столицу будем брать!

К оружью, граждане!

V

Ой, как не хотелось Щур-Пацучене снова позориться перед купцом-невежей! Но страх за Кувшинникова гнал его вперед. Он в пять минут доскакал до дома Подрубы, чуть не задавив по дороге нескольких мальчишек, которые на обочине гоняли кавилкой проржавевший обод от тележного колеса, и даже не остановившись на жаркие проклятия, которыми его осыпали возбужденные и напуганные матроны.

И вновь, как днем, он ломился в ворота, только на этот раз не ругался и не угрожал, а слезно молил:

— Батюшка Мартын Адвардович, откройте Христа ради!

Наконец Подрубе надоело это полоумие, и он соизволил отворить калитку. Посмотрел на беснующегося Щур-Пацученю, принюхался и кинул на землю еще один пятак.

— Помилуйте, Мартын Адвардович, Христом-богом молю! Начальник мой помирает, господин титулярный советник Кувшинников: из самого Петербурга приехал по государственной надобности, а здесь помирает. Отец Екзуперанций к вам послал.

— Гм! Помирает, говоришь. И крепко помирает?

— Ой, крепко, Мартын Адвардович! Может, уже и помер.

Подруба склонил голову набок и задумался. Потом утвердительно кивнул:

— Верю. Эти благородные господа — люди чести. Если решил помереть, то помрет всенепременно. Ну, а я-то чем помочь могу?

— Лекаря бы надо!

— Да где ж я пану полицейскому лекаря возьму? Отродясь на медикуса не учился.

— Отец Екзуперанций сказал, что у вас коновал есть. Просил привезти.

Пан Подруба кхекнул растерянно и развел руками:

— Господин хороший, так отпустил я коновала. На пять дней отпустил. Двойня у него родилась, домой он уехал, в Рыгали, крестить их. Раньше четверга не жду.

— О, пся крев! А где те Рыгали?

— Рыгали-то? Да верст пять вниз по реке.

Пан Станислав неистово застонал. Не ехать же в те неведомые Рыгали на ночь глядя по лесной дороге! Заплутаешь ведь, с пути собьешься, да еще, не дай бог, в болото попадешь — там тебя кикиморы и защекочут.

Мартын Адвардович смотрел на поникшего плачущего Щур-Пацученю даже с некоторым интересом и сочувствием, потом полюбопытствовал:

— А вот скажи мне, пан полицейский, чем это твоему титулярному советнику животный коновал поможет?

— О господи! Кровь господину Кувшинникову пустить надо, а то апоплексический удар его настигнет. Пармен Федотович — особа корпулентная, презентабельная, сама себя излечением мытарить не станет...

Мартын Адвардович был несколько огорошен таким ответом. Почесал за ухом, усмехнулся в пегую бороду, к которой прилип крашеный луковой шелухой обломок пасхальной яичной скорлупы, и сказал:

— Ладно, друг мой ситный, проходи во двор. Сейчас поищу тебе лекаря.

Щур-Пацученя набросил конский повод на чурбак, вкопанный у ворот, подобрал медяк и, трясясь от страха за свою судьбу, пошел за Подрубой. Хоть и родился он в этих краях, но пришлось вместе с отцом четыре года прожить на Урале, кожей ощущая на себе клеймящее положение сына мздоимца и государственного преступника, обходить за три версты каждого будочника и целовать ручку полицейского надзирателя на Пасху, Рождество и день тезоименитства Императора. Довелось видеть, как на литейных заводах батогами до смерти запарывали казенных крестьян и как государство довело до могилы батюшку.

Ничего-то противозаконного не сделал бывший надворный советник Иосиф Щур-Пацученя. Всего только подкатился к губернатору Степану Богдановичу Тютчеву и неведомыми путями умолил его доброе сердце, стоя на коленях, чтобы назначили горемыку председателем губернской комиссии о питейных откупах, председателем комиссии о недоимках по питейным откупам и председателем комиссии по взысканию пени на недоимки с питейных откупов.

Донесли-таки сволочи! В один и тот же день пришли из Петербурга два взаимоисключающих предписания. Одно предписывало ссыльного Иосифа Щур-Пацученю как неисправимого государственного преступника вторично бить шомполами и сослать на Камчатку в Петропавловскую Гавань, а второе извещало, что по случаю блаженной смерти императора Павла и воцарения сына его Александра Павловича ссыльному дворянину Иосифу Щур-Пацучене даровано высочайшее прощение и ему возвращены все права состояния.

Распластала полицейская управа батюшку и с благостью влепила ему пятьдесят шомполов, а потом объявила, что отныне он свободен и может ехать куда угодно. Возрадовалась душа пана Иосифа и от торжества правосудия воспарила в горние выси.

Пан Станислав был отправлен в сиротский приют, где и провел ближайшие шесть лет, а когда вошел в зрелость и вернулся на Литву, то вскоре грянула война с Наполеоном, и он сидел сиднем, не зная, к кому пристать. Пока размышлял, Наполеона выгнали, и Станислав каким-то неведомым мытьем да катаньем устроился в Слониме под крыло городничего.

Так вот, за всеми этими томлениями совсем забыл он, как может простой купчишка, пусть и богатый, пусть и поставщик двора Его Императорского Величества, так вольно чувствовать себя в присутствии господина полицейского писаря. А Подруба совершенно не понимал, с какой такой стати он должен принижаться перед заурядным писарем, который даже четырнадцатого чина не имеет. Тем паче, что в Збышове, которому еще король Владислав даровал Магдебургское право, и в заводе не было чинопочитания.

— Садись тут! — сказал Подруба, указывая на тенистый шалашик под развесистой грушей, свитый из ракитовой лозы и засыпанный душистым луговым сеном. — Дарка, квасу господину полицианту!

Он скрылся в доме, а Дарка с косами, которые были кольцом уложены вокруг головы, чем-то неуловимо похожая на поповскую Ярину, поставила

перед ним расписанный глазурными петухами запотевший кувшин и выдолбленную из дерева ендову на два ковша.

Пан Станислав пил сухарный квас, посматривал по сторонам на увесистый хозяйский дом, на свинарники, откуда доносилось мерное сытое похрюкивание, на лабазы, двери которых были подперты аршинными чурбаками, и думал, откуда Подруба возьмет лекаря.

Между тем Подруба переоделся в парадный домотканый кунтуш, перевязался поясом, натянул блестящие яловые сапоги гармошкой и, нахлобучивая на седую макушку соломенную шляпу, вышел из дома.

— Ну, пошли, пан, — посмеиваясь, сказал он.

Щур-Пацученя взял гнедого в повод, и Мартын Адвардович повел его к самой крайней хатке — покосившейся, по окна вросшей в землю, почерневшей от очажного дыма, который за неимением трубы курился из прорубленного под стрехой отверстия.

Похожие друг на друга, словно шесть капель пейсаховки, мальчишки мал мала меньше галдели и дрались, вырывая из рук один у одного струганую доску, на оконечье которой была приделана конская голова, больше напоминающая кувшинниковский кукиш.

— Уйди, Ёсель! — кричал самый старший из них. — Ты уже накатался! Теперь моя очередь быть Иешуа бин-Нуном!

Он отобрал коня у Ёселя и, оседлав его, весело поскакал по двору.

— Ах, так! — завизжал оскорбленный Ёсель. — Тогда я буду царь Давид! — и подобрал с земли острый камень.

— И я! И я! — подхватили братья.

— Давиды! Побьем пращой Голиафа!

Он замахнулся, чтобы бросить булыжник в брата, но пан Подруба перехватил его руку.

— Цыц! Вот я вас на горох поставлю! Вы что, паршивцы, делаете? Человека убить захотели? Отец где?

— В хате, дядя Мартын!

— А ну, зови его!

Ёсель, сверкая пятками, помчался исполнять приказание. Щур-Пацученя, не веря своим ушам, легонько тронул Подрубу за рукав:

— Вы что же, иудея хотите пану титулярному советнику сосватать?

— А что тебя, господин писарь, смущает? Иудей ведь — не черт какой-нибудь рогатый.

— Да как же вы не понимаете: чтобы еврей христианскую душу пользовал, не бывало такого! Им же веры нет: они Христа распяли, живут не по-нашему, младенцев крошат в мацу!

— С чего ты это взял, господин хороший?

— Так все о том говорят!

— Говорят, что кур доят! Свитку отпусти — запачкаешь. А почему ж тогда государь император их всех до сих пор не казнил? Вот что, сударь мой, ты меньше бабские забабоны слушай, авось поумнеешь. Впрочем, я не настаиваю. Пусть отойдет твой Пармен Федотович в кущи райские, с тебя же и спросится: почему душу его в рай так легко отпустил, лекаря не нашел. И запомни, любезный: я Гурарию верю, как самому себе. Помирать буду — так хирурга ученого к себе не подпущу. Первым духовный отец мой придет, чтобы исповедовать, а вторым — Гурарий, чтобы глаза мне закрыть.

— Греховные вещи говорите, Мартын Адвардович. В рай не попадете!

— Эк испугал! Господь евреев на шесть тысяч лет раньше, чем христиан, создал, так что на том свете их по-всякому побольше нашего брата будет. Не пропаду.

— Зовите своего Гурария!

— А чего его звать! Вот он собственной персоной.

Из избушки вышел Гурарий. Ну, точь-в-точь такой, каким и представлял его пан Станислав: драный лапсердак до земли, заштопанная ермолка, кривой, как клюв у клеста, нос, кожа на лице змеиная — вся в струпьях, губы хищно вытирает, доедая пирог с православным мясом. И хромает! Хромает так, словно у него в башмаке раздвоенное копыто нечистого!

— Ну, привет, друг! — раскрыл объятия Подруба.

— Пану Мартыну мое почтение.

— Дело к тебе есть срочное. Пан полицейский писарь помощи просит.

Гурарий поклонился перед Щур-Пацученей. Тот только холодно поджал губы. Не просит он помощи — это купец унижается!

— Да чем же жалкий еврей может в субботу помочь такому сиятельному пану?

— Ты уж, Гурарий, не прибедняйся. Слышал, небось, что господин чиновник из Петербурга пожаловал?

— Да слышал. Еще в среду слух пошел, что нас переписывать будут.

— Как в среду? — взметнулся Щур-Пацученя. — Пармен Федотович только вчера из Петербурга прибыл. В среду и господин городничий об этом не знал. Кто донес?

— Да разве упомнишь? — пожал плечами Гурарий. — Мне соседка Бейле рассказывала, а ей на базаре — Гнесе Шестипалая, той — Ливше-шойхетиха. Ливше, кажется, — Ципора, которая напротив пруда живет. Ципоре, говорят, Шифра — жена Велвла. А Шифре с Велвлом — дочка их, Махле, та, что в Рыгали за Арона вышла, который мельник. Откуда узнала Махле, точно не скажу, но явно от Блюмы-повитухи. У Блюмы — язык как помело: как начнет трещать — сама себя не помнит. Ну, а Блюме поведала старуха Ента, которой это в Слониме по секрету рассказали. А вот кто рассказал Енте, я ума не доберу, потому что Ента от рождения глухонемая и уже пять с лишком лет парализованная лежит.

— Ты мне это брось! Ента-Шмента!

— Почему пан сердится? Пан спросил — я ответил. Нехорошо в день субботний гневаться.

Мартын Адвардович положил чугунную лапу на плечо Щур-Пацучене, отчего ругань пробкой застряла у него в глотке, и перебил Гурария:

— Слушай, Гурарий, просьба у меня к тебе. Чиновник-то при смерти.

— Ой, как жалко! Как же мы без переписи жить будем!

— Степана я на три дня домой отпустил. Теперь на тебя вся надежда. Кровь ему надо пустить, кроме тебя — некому.

Гурарий ухмыльнулся, почесал под ермолкой неровно бритую голову и нерешительно промямлил:

— Не знаю я… Суббота-то еще не кончилась.

— Не прибедняйся. Сам же говорил мне, что реб Менахем-Мендл сказал: не человек — для субботы, а суббота — для человека. Лично прошу.

— Да что вы, пан Мартын? Вы б просто сказали: иди и сделай. Я пойду и сделаю, и никаких просьб не надо. Но захочет ли господин чиновник, чтобы его какой-то бедный местечковый еврей пользовал?

— Захочет! Не в том он сейчас состоянии, чтобы музыкантов для своей мазурки выбирать. Да и я с тобой поеду. Если что — помогу.

Гурарий трагически воздел руки к небесам, словно показывал, что Мартын Адвардович казнит его одиннадцатой казнью египетской, и сокрушенно поковылял в дом за своей сумкой, в которой носил всякий инструмент, зелья и порошки.

— Ты, пан писарь, волком-то голодным не смотри. Гурарий — мастер что надо! Уж на что Степан у меня хорош, а Гурарий и его за пояс заткнет. У такого мастера сам апостол Петр не погнушается лечиться.

— Ага! Вижу я, какой он мастер: сам в латаной одежде, дети голодные, дом того и гляди развалится.

— Дурак ты, пан писарь! У Гурария душа чистая. Он денег за лечение не назначает. Кто сколько даст — то и хорошо! Потому что считает, что каждую душеньку Бог создал, и мерять ее деньгами — значит оскорблять Господа.

— Ой, чует мое сердце, зарежет нехристь господина Кувшинникова! Вон и хромает, как бес. Явно копыто у него в башмаке спрятано.

Вот тут Подруба не выдержал и впечатал по золотистой тыкве пана Станислава такой убедительный подзатыльник, какого сам слонимский городничий не умел отвешивать.

— Ты язык-то придержи! Гурарий двадцать лет тому, когда дом мой полыхал, один кинулся в огонь, чтобы детей моих спасти. На субботу не посмотрел. Вся наша община стояла вокруг, крестилась да судачила, даже ведра воды никто из реки не подал. А он и Барнука, и дочерей моих спас, а потом в свинарню кинулся — свиней выводить. У меня тогда Дунда опоросилась — так он всех поросят на себе вынес. А когда последнего тащил, крыша и рухнула прямо на него, балкой ногу перебило. Он поросенка успел собой закрыть. Как достали его, живого места не было. Лежит в волдырях, весь обгоревший, а Менахем-Мендл и спрашивает его: «Что ж ты полез нечистую тварь спасать?» А он глаза еле-еле открыл и прошептал: «Так она ж не виновата, что Господь ее нечистой уродил. Ей от своих нечистот, может, больней, чем нам». Думали, что не выживет. Три месяца как труп лежал. Я уж всю церковь свечками заставил, отмаливал его. И отмолил, спасибо доктору Стжыге. Стжыга, конечно, лях отменный был, но дело свое добро ведал — выходил Гурария. С тех пор для меня Иисус — на первом месте, Гурарий — на втором, а доктор Стжыга — на третьем.

Они подошли к воротам подрубовской усадьбы, где уже стояла легкая двухколесная бричка. Барнук держал под уздцы каракового жеребца.

— Ладно, пан писарь. Езжай, готовь своего Пармена Федотовича, а мы с Гурарием следом будем.

VI

Ну, как? Скажите на милость, как успела по селу разлететься весть, что колченогий Гурарий едет лечить господина титулярного советника?! Пан Станислав гнал драгунского коня вдоль улицы, а около плетней, на которых сохли постиранные тряпки, уже вперемежку стояли десятки людей и со знанием дела судачили:

— Нет, не вылечит. Здесь одной крови ведра два надо пустить.

— Кто, Гурарий не вылечит? Да Гурарий, если захочет, самому Государю Императору кровь пустит! К нему сам Мителер Ребе[1] из Любавичей лечиться ездит.

[1] Мителер Ребе — в то время духовный лидер хасидизма.

Щур-Пацученя только удивлялся этой неудержимой деревенской молве, которая за минуту обогнула земной шар, разрослась, как штормовая волна, и залила Збышово от края до края густой, липучей сплетней.

Спрыгнув с коня, пан Станислав сунул поводья какому-то мальчишке, наказав отвести коня в конюшню, и, чуть не сломав порог, вбежал в горницу.

— Жив? — выдохнул он.

— Да жив, — как-то оскорбленно протянул отец Екзуперанций, безучастно сидя в красном углу.

Окна в горнице были распахнуты настежь, чтобы дать задыхавшемуся Кувшинникову хоть глоток воздуха. Но густые сахарные ароматы цветущих яблонь и вишен, черемухи, акации, сирени душили расплывшегося Кувшинникова, и он сипел, как унтер-офицерский самовар. Уже не пел — не до Марсельезы и «Преображенского марша» было ему! На гастрономическом роскошестве дружно ползали зеленые жирные мухи.

Матушка Вевея обтирала лицо Пармена Федотовича колодезной водой. Ярина, стоя на коленях, массировала ему ступни, а вся четверка драгунов дружно удерживала Кувшинникова на оттоманке, потому что Пармен Федотович хоть и готовился отойти в лучший мир, но одновременно с этим порывался бежать куда-то, «чтобы расквасить всем морды подлые», и умудрялся материть на чем свет стоит какого-то Битюгова, которому дали чин коллежского асессора в обход Кувшинникова, хотя всем известно, что Битюгов — масон и крутит шашни с племянницей министра полиции.

— Да помолчите, Пармен Федотович, не ругайтесь столь усердно — в ад попадете от речей таких, — умоляла его попадья.

— Пускай, — махнул рукой Екзуперанций, — все равно дом заново освящать придется. Ну, сын мой, выездил чего у Подрубы?

— Выездил. Степан ваш в Рыгали уехал, так Мартын Адвардович сюда самолично Гурария везет.

— Что-о-о?! — грозно разогнулся священник. — Иудея в православный дом впустить? Христианскую душу врачевать? Не будет на это моего благословения! А Подруба хорош — с христопродавцами дружбу водит! Я давно подозревал, что он — тайный иезуит.

— Ой, батюшка! — внезапно презрительно скосоротилась блудливая Ярина. — Да Гурарию ваше благословение, что мертвому припарки. Его сам пан Стжыга уважал, секретами делился.

— У-у-у, дщерь вельзевулова, все вы в скверне языческой погрязли! Не пущу еврея в дом! Несите это тело неразумное на улицу.

По приказу Щур-Пацучени драгуны попытались вытащить оттоманку из комнаты, но узкая дверь никак не давала такой возможности. Пришлось переложить Кувшинникова на скатерть и переволакивать тюком через подоконник в сад.

Кряхтя, как бурлаки, драгуны свернули углы скатерти в свиное ухо и потащили болящего на площадь.

— Ну, куда кладете? — кричал отец Екзуперанций, увидев, что носильщики примерились положить Кувшинникова под крест Андрея Боболи. — Подальше его, подальше, чтоб в двадцати шагах пьяного духа не было.

В результате Пармена Федотовича шлепнули под цветущий каштан возле колодца. На площади уже собралось все село. Пришел тот блаженный час, когда чуть-чуть зазеленела у краешка горизонта первая звезда, — звезда Чагир, звезда Милавица, звезда Вечерница — означавшая, что кончился, наконец-то, утомительный шабат, соблюдая все законы которого, евреи уставали

сильней, чем за годы Вавилонского пленения. А для христиан это значило, что наконец-то канула в вечность треклятая рабочая неделя, и наступил воскресный отдых. А любил отдых свободный белорусский народ больше всего на свете. Настолько любил, что, когда его закрепостили и обратили в рабское состояние, он и тогда на работу плевал.

Поэтому у всех людей настроение было хорошее. Они заполонили чуть ли не всю площадь, смеялись и перешептывались. А если господин чиновник из Санкт-Петербурга, не сходя с места, богу душу отдаст, так тем интереснее. Разговоров потом на месяц хватит.

Ближе всех к Кувшинникову, но с другой стороны от креста Андрея Боболи, во главе с ребом Менахем-Мендлом кучно стояли члены иудейской общины. Менахем-Мендл — высокий, костистый, в длинном, наглухо застегнутом сюртуке и широкополой шляпе — исподлобья смотрел, как Щур-Пацученя квохчет над Кувшинниковым, и мелкими, незаметными движениями длинных пальцев перебирал четки, вырезанные из шиповника.

Резник Барак присоседился за спиной Менахем-Мендла и что-то шептал ему на ухо. Их жены — древние и высохшие, как сама Земля Обетованная, похожие на соляные столпы, — держали на руках младенцев, а старшие дети, не испытывая никакого почтения к торжественности момента, сновали между ними туда-сюда, как перепелки в высокой траве. Бахрома на концах длинных наголовных платков-тихлей еле заметно шевелилась под ветром подобно метелкам овса.

Кто-то даже принес привязанную к носилкам парализованную Енту и, прислонив к ограде церкви, поставил носилки торчком, чтобы той было лучше видно. Довольная Ента гугукала и счастливо таращила базедовы глаза.

— Набежали, выскалились! — ревниво протянул отец Екзуперанций, поворачиваясь к Менахем-Мендлу так, чтобы тот видел, и осеняя того крестным знамением.

В ответ на это раввин скромно закатил глаза и благословил отца Екзуперанция щедрым молитвенным коанимом[1].

Вдруг донесся мягкий, переборливый стук копыт, и сквозь толпу подъехал пан Подруба. Гурарий, сидевший рядом с ним, натужно сполз с брички, оттопыривая покалеченную ногу, и подошел к лежащему Кувшинникову. Пармен Федотович дышал мелко и прерывисто, словно цедил по капле воздух, которого ему отчаянно не хватало.

Загребая носком башмака песок, Гурарий опустился на колено перед больным, приложил ухо к необъятной груди и прислушался, как бьется сердце. Но сквозь всхлипывающие вздохи ничего не разобрал. Он хмыкнул и уже знакомым Щур-Пацучене движением почесал ермолку. Потом взял Кувшинникова за запястье и, шевеля людоедскими губами, стал беззвучно считать пульс.

Толпа увлеченно подалась ближе, чтобы ничего не пропустить. Кое-кто начал биться об заклад, спасет ли Гурарий посланника Государя Императора или Збышово ожидают еврейские погромы. Пан Станислав напряженно подсунулся к самому уху Гурария. Тот, не глядя, отмахнулся, попав Щур-Пацучене по кончику носа. Щур-Пацученя отпрянул и обиженно засопел.

— Нет, это не апоплексический удар, — наконец задумчиво протянул Гурарий, — и сердечко хоть дряблое, но еще потрепыхается.

— Ну, говорил я тебе, что не будет погромов? Выживет господин, — послышался из задних рядов торжествующий голос мельника Агапа.

[1] Коаним — в иудаизме жест благословения.

— Можно подумать, для погромов нужен повод, — меланхолически ответил Велвл, муж Шифры.

Гурарий поразмышлял еще несколько мгновений, потом, как кузнечными клещами, схватил Кувшинникова за нижнюю челюсть и с силой разжал ему рот.

— Эп! Эп! — забился в судорогах Пармен Федотович, исходя густой, пенистой слюной.

Гурарий, прищурившись, наклонился к его глотке и что-то высмотрел там необычное, потому что откинулся назад:

— Ну-ка, Яринка, тащи стакан водки и кипяток.

Ярка вопросительно посмотрела на отца Екзуперанция. Тот кивнул, и Ярка вприпрыжку унеслась в дом. Гурарий развязал свою сумку с лекарскими причиндалами, покопался в ней и достал тонкий острый нож, лезвие которого хищно поблескивало на заходящем солнце.

«Ой, зарежет, нехристь!» — панически промелькнуло у Щур-Пацучени.

Но Ярина уже сломя голову бежала назад. Гурарий окунул острие ножа в водку, потом в кипяток и кивнул драгунам:

— Панове, держите его, да покрепче.

Драгуны навалились со всех сторон на Кувшинникова, вдавили его в землю, так, что тот и пошевелиться не мог. Гурарий повернул голову Пармена Федотовича и стремительным движением просунул лезвие ножа ему в рот. Короткий толчок — и из горла Кувшинникова хлынула сладковатая белесая сукровица с кровавыми крапинками. Кувшинников истошно закашлялся, выплюнул мокроту и уставился на Гурария бараньими глазами.

— А вот, господин советник, прополощите горлышко теперь, чтобы всякую грязь смыть, — протянул ему Гурарий стакан с пейсаховкой. — Только не глотайте. Э! Э! Да я ж сказал не глотать! Эх, господин советник, господин советник, приятного аппетита…

Гурарий наклонился к лужице сукровицы и двумя пальцами выудил оттуда что-то маленькое и полураздавленное, поднял это вверх и громко объявил:

— Пчела! Господин советник, когда закусывал, видать, не глядя, вместе с харчем пчелу съел, а она извернулась и изволила его в горло ужалить. Вот волдырь горло-то и перекрыл.

Пармен Федотович потер себе грудь, истово перекрестился на Гурария и глухо прошептал:

— Спаси Господи! Не попустил умереть вдали от дома без покаяния. До чего ж у тебя рожа отвратительная! Как тебя зовут, мил человек?

— И вам спасибо, господин советник. Гурарий я, травник здешний. Людям чем могу помогаю, ну, иногда и скотину пользую. Вам, ваше благородие, сейчас разговаривать не надобно. Денька два полежите в тишине, чтобы рана зажила, а то, не ровен час, струп сорвется, и можете кровью захлебнуться.

— Да-да, полежу, ну-ка, пан Станислав, дай ему гривенник за спасение жизни моей.

— Пармен Федотович! — возопил оскорбленный до глубины души Щур-Пацученя. — Да откуда ж у меня такие деньги?

— А и правда! — громыхнул дубовым басом Подруба. — Только на баню и осталось.

Щур-Пацученя залился краской и, чтобы оттянуть от себя общее внимание, сунул Гурарию два проклятых пятака и наклонился к Кувшинникову:

— Пойдем, батюшка, в постельку ляжем, отдохнем. Спите себе спокойно, не волнуйтесь. Я сам евреев соберу и все им как надо растолкую. Вам и делать ничего не придется. Лечитесь спокойно и водочкой горло полощите.

VII

Еле довели драгуны Кувшинникова до постели, потому что гурарьевское полоскание успело раствориться в душе и разлилось в ней пьяным буйством. Пармен Федотович висел на дюжих плечах, что-то невнятно бормотал, потом вдруг начинал реветь разбуженным медведем, требовал немедленно дать ему перо и чернила, чтобы отписать в Санкт-Петербург, как его хотели отравить пчелой сподвижники Бонапартия. С трудом плюхнули господина титулярного советника на широкую ксендзовскую кровать, на пухлые подушки, которые были взбиты любящей рукой матушки Вевеи, и навалили сверху кипу пуховых одеял, — да побольше, потяжелее, — чтобы не безобразничал Пармен Федотович до утра.

Кувшинников еще повоевал немного с демонами, кричал, что снова в горле сорвался струп, и требовал полоскания. Наконец отец Екзуперанций, которому до маковки надоело гигиеническое беснование столичного гостя, сорвал со стены образ святого Вонифатия и сунул его в руки Пармену Федотовичу. Кувшинников враз умилился и заснул в обнимку с небесным покровителем пьяниц да блудодеев, на прощание обматерив Щур-Пацученю и обозвав его почему-то продажным Мюратом.

Перекрестившись и вытерев со лба холодный пот, все на цыпочках вышли из спальни, оставив Пармена Федотовича парить в морфейных эмпиреях. Пан Станислав, порядком уставший от сегодняшнего дня, прогнал драгунов в конюшню, попрощался с гостеприимным священником и его супругой и хотел было тоже завалиться на боковую, но вспомнил о еще одном деле.

Он выбежал на площадь, где уже почти не осталось людей. Уехали Подруба с Гурарием. Унесли параличную Енту. Погнали спать детей ветхозаветные матроны. Татарский полумесяц задумчиво зацепился за верхушку колокольни. Только члены кагала неторопливо расходились по домам, яростно жестикулируя о своих вечных бедах.

За далекими плетнями спорили, перекликались песни. Тягуче, безотрадно, словно продираясь сквозь колючие сучья ельника, волочился понурый белорусский распев — мятый, как лен, и серый, как сумерки:

Ой, чьи-то гуси, да на море,
Да ночуют.
Они ж горе, мое горе,
Да не чуют.
Первым горем — мой ребенок
Неказистый,
А другим — мой муж противный,
Норовистый.
Запрягает он коней да едет в поле
На работу
И меня с собой берет
Пахать до пота.
А я — девка молодая,
Только плачу…

И вопреки этому распеву, словно подзадоривая, задирая свою бродяжью долю, что уже несколько тысячелетий несется перекати-полем, отгоняя тоску, полыхала какая-то одновременно и грустная, и жизнерадостная пасторелла. В невидимых дворах, скрытая вишнями и сиренью, пела ее еврейская молодица:

— Хочешь, дочка, за портного?
Чем не муж он, право слово!
— Мамочка, с портным не сладко,
Шьет он, шьет, а все не гладко,
Утюгом ровняет складку,
Наживает лихорадку.
— Что ж, портной не подойдет,
Пусть кузнец тебя возьмет!
— Что вы, мама и отец,
Целый день гремит кузнец
И жену свою, бывает,
Он по матушке ругает!

Хотел было пан Щур-Пацученя остановиться и послушать, чем там дело закончится с переборчивой дочкой, но надо было еще договориться с Менахем-Мендлом, чтобы завтра к полудню привел свое неуемное племя на площадь, где пан Станислав будет им излагать светоносное повеление Государя Императора. Да чтоб без опозданий!

— Замуж, дочь, тебе пора,
Не пойти ль за гончара?
— Нет, гончар — мне не под пару:
Грош — цена его товару.
Если что он разбивает,
Так за то жену ругает.

— Эй, ты, как тебя?! Менахем-Мендл?

— Реб Менахем-Мендл, — повернулся раввин, прожигая Щур-Пацученю непокорным смоляным взглядом.

— Ну вот что, реб, завтра в двенадцать часов чтоб вся твоя община как штык была на площади. Я вам речь говорить буду.

— Могу я спросить пана, о чем речь будет?

— Ты мне не придуривайся.

— Не знаем, господин хороший. Праотцом Авраамом клянусь: не знаем.

— Ай-ай-ай, реб! Гурарий знал, а все остальные — ни сном ни духом?

Реб Менахем-Мендл недоуменно пожал плечами и возвел очи горе:

— Гурарий — блаженная душа. Может, ему птички нашептали.

— Брось, пся крев, брось! Прикажу своим молодцам — они с тебя шкуру спустят, не посмотрят, что ты — раввин!

— На все воля Отца нашего. Спустят — значит, буду без шкуры ходить.

Щур-Пацученя чуть не задохнулся от злости. Из покорной вежливости Менахем-Мендла так и лезло горделивое презрение к нему, но уцепиться не за что было — оставалось только ломать через колено.

— Закон вышел — фамилии вам давать будем. Вот завтра я и разъясню, что к чему. Чтоб как один! Баб своих можете не тащить.

— Ох, грехи наши тяжкие, — прошептал резник Барак. — Если речь зашла о законе — значит, жди большой крови.

— Ну, вы!.. Расфилософствовались тут! Грамотными больно стали! Я сказал — вы выполняйте! И чтоб мне!..

Что именно «и чтоб», пан Станислав не сказал, да и сам не понимал, что он имеет в виду. Но непокорных нужно было приструнить — это он знал крепко. Поэтому пригрозил им пальцем и пошел назад: «Это я им хорошо сказал: расфилософствовались! А то больно много воли почуяли. Завтра я вам задам воли!»

— А меламед — плох ли зять?
Муж такой тебе под стать!
— За меламеда пойдешь,
Так со скуки пропадешь.
Как детишек в школе учат,
Так жену свою он мучит.

Щур-Пацученя дошел до плебании, постоял еще немного на крыльце, вдыхая с наслаждением сиреневые ароматы и наслаждаясь хрустальным голосом невидимой певуньи, которая кокетливо капризничала перед своими воображаемыми родителями:

— Не дай бог, ты сгоряча
Выскочишь за скрипача.
— Ой, пойду, скрипач играет.
Скучно разве с ним бывает?
Кто захочет — всяк пляши
Да подбрасывай гроши!

«Хорошо поет, чертовка! Не то, что эта Ярина. Такую бы на сеновал заманить… И не посмотрел бы, что иудеечка: устроил бы ей крещение иорданское, прости Господи!»

Но от конюшни грянул гром драгунского хохота, долетел запах чего-то жареного и невообразимо вкусного, завизжала Ярина, и пан Станислав вспомнил, что за всеми дневными хлопотами он с утра только ломтик рубца успел откусить. Досада на Кувшинникова залила его:

— Я тут ноги ломаю, коллежского асессора ему выслуживаю, а он пчел давит, чтобы не работать! Пора и о себе подумать.

Щур-Пацученя плюнул на клумбу с маргаритками и торопливо скрылся в доме, пока Пармен Федотович не восстал от спиритического кошмара и последнюю пызу под пейсаховку не четвертовал.

VIII

Ах, хорошо прошла ночка, даром что пану Станиславу довелось спать на тощей конской попоне, постеленной прямо на половичных досках, а не в пуховой облачности на кровати! Он прислонил подушку к стене, облокотился на нее и, глядя в открытое окно на разбрызганное в небе сияние Млечного Пути, мечтательно мурлыкал:

— Не дай бог, ты сгоряча
Выскочишь за скрипача…

Стояла рядом с ним тарелочка, на которую он рядком уложил екзуперанциевскую снедь. И даже добрый стаканчик менахем-мендловки из штофа удалось нацедить. Зря он все-таки наговаривал на Пармена Федотовича: мол, прожора тот, котел бездонный, Гар… Пан… как его? Ну, великан такой французский — Гаргантюэль толстогузый…

Позаботился господин титулярный советник о хлебе насущном для слуги своего сирого — не смог в одно горло оба штофа уговорить! Видать, пчела трудолюбивая помешала — ценою жизни своей принесла пану Станиславу мед и акриды.

Но, конечно, драники за день увяли, и масло на них застуденилось белой пенкой, и сало одрябло в тепле майского дня, и вантробянки подсохли и скукожились, как гриб дождевик в осеннем лесу, только пану Станиславу и это было за счастье. Он неторопливо потягивал пахнущую изюмом пейсаховку и блаженствовал. Только Пармен Федотович болящий все никак не мог угомониться. Он то бормотал что-то неразборчивое во сне, то начинал храпеть, как взмыленный дрыкгант под седлом во время последнего литовского наезда, то стонал в пьяном угаре, то, вскакивая, порывался вызвать Битюгова на дуэль. И неустанно, скидывая пуховое одеяло на пол, дезинфицировал воспаленные внутренности.

В конце концов Щур-Пацучене надоело неусыпно бдить, чтобы Кувшинников ненароком не подавился желудочным безобразием. Он закутался в попону с головой и заснул под ритмичное тьюканье совки-сплюшки, поручив судьбу Пармена Федотовича попечениям святого Вонифатия.

Спал он вдосталь, аппетитно. Не потел разнузданно, как его начальник, и не метался в ядовитом дурмане, ибо выпил ровно столько, чтобы забыть про усталость, а потому не слышал, как чуть покрапал перед рассветом торопливый дождик, как пропел первый петух, как задиристо ответил ему второй, как сварливо обругал первых двух третий, как одуревшая от драгунской ласки Ярина, еле волоча ноги, выгнала на пастбище рябую корову, как затопала босыми ногами у себя в спальне матушка Вевея, и отец Екзуперанций бухнулся в красном углу на колени, вымаливая прощение для раба божия Пармения, которого греховно сцапали когти Бегемота — демона чревоугодия.

Ничего этого он не слышал, а пробудился оттого, что кувшинниковские телеса с хлюпотным шлепом сверзились на пол с кровати, словно блудодейный осетр. Щур-Пацученя подскочил, попытался поднять неразумное сало, но Пармен Федотович, не открывая глаз, заматерился неосознанно и пообещал законопатить его в Сибирь, чем обидел до глубины души.

— Ну и пес с тобой! — разозлился пан Станислав, увидев, что Кувшинников уперся носом в переполненный ночной горшок.

Ярина хлопотала у печи, и от сковороды, смазанной топленым салом, заманчиво пахло поджаристыми пшеничными оладушками. Щур-Пацученя залился слюной, подкрался к стряпухе и цапнул ее за… ну, за что надо, за то и цапнул: за афедрон прельстительный. Неблагодарная кутафья резко обернулась и наотмашь полоснула его по благородной морде вымазанной в саже прихваткой.

— Да ты… Да ты... — оскорбленно возроптал пан Станислав.

— Ой, панич, простите Христа ради, — затараторила Ярина. — Я уж думала: Хрисанф опять изголодался.

— Хамка! Я этому Хрисанфу выпишу козу лобатую! Ишь, масонскую моду взяли: благородного шляхтича по сусалам скоблить! Хрисанф! Хрисанф! — и Щур-Пацученя кинулся в конюшню, потирая оскорбленную щеку.

— Чего изволите, господин писарь? — высунулась из сена донельзя довольная и сонная рожа вахмистра.

— Чего изволю? Изволю, чтоб ты со своей хеврой прекратил девок мять! Разбосячились тут на вольных харчах! Все село перепортить захотели?

— Господь с вами, господин писарь! — вытянулся в струнку Хрисанф. — Обижаете. Мы ж люди понятливые, мы только с Яринкой — безотказной душой. По общему разумению и согласию…

Тут как назло из-за спины Хрисанфа вывалился еще один казак и, подслеповато щурясь от яркого солнца, заревел прямо в ухо Щур-Пацучене:

— Ярочка! Козочка! Завтрак неси!

— На тебе завтрак! — взвыл Щур-Пацученя и приложился сухоньким кулачком в ухо казаку. — Как вернемся в Слоним, я вас под шомполы! Хрисанф, поднимай своих саврасов и — на речку, коней купать! Жиром заплыли, бездельники! Чтоб духу вашего здесь до полудня не было!

— Эх, Станислав Иосифович, не богоугодное дело творите, — обиженно протянул Хрисанф, возвышаясь над мелким — от горшка два вершка — Щур-Пацученей, словно бык над овцой.

Драгуны сели на коней, а тарантасную тройку взяли в повод, и унылой рысью потрусили на реку. Щур-Пацученя смотрел им вслед и диву давался, как умело конские задницы выражают презрение к нему.

Из конюшни шибало таким стойким мужичьим потом, словно там ночевала татарская орда. Щур-Пацученя брезгливо чихнул, огляделся по сторонам, взбил тюки сена в укромном уголке, потом приложил ко рту руки, свернув их в трубочку, как гусеница плодожорки сворачивает жухлый листик вокруг своего кокона, откашлялся и героически возопил в ту трубочку:

— Яринка! Солнышко мое! Дай оладушек!

Голос хоть и стал погуще, но по-прежнему походил на иерихонский бас казаков, как писк гордого полевого перепела — на рев выпи. Пан Станислав отчаянно токовал, призывая беспутную Ярину, и ощущал духоподъемное томление в чреслах.

— Ярушка! Касатушка!

На тоскливое кукованье даже заглянула в сарай матушка Вевея, которая шла из погреба с кринкой ледяного молока. Заглянула, прищурилась подслеповатыми глазами, не заметив пана Станислава, который отважно спрятался от нее под попонами, и проследовала дальше, раздосадованно шепча, что после Яркиных похождений ей везде чудится бесоблудие.

— Яриночка! Вакханка! Мушка моя шпанская!

Наконец его свадебный призыв был услышан.

— Бегу, бегу, Хрисанф Игнатьевич, — выскочила из плебании Ярина с полной миской оладушек, политых медом и сметаной.

Возрадовалась влюбленная душа и затаилась в облаке наваристой страсти за хомутами, которые висели у косяка. И когда влетела стряпуха в этот тенистый, пахнущий сеном и драгунскими афродизиаками полумрак, пан Станислав прыгнул на нее из-за упряжи со сладостным пыхтением, как взнузданный старец на Сусанну.

— Ой, что это вы, хлопцы... — не поняла в первый момент и попыталась захихикать Ярина, но почувствовала на себе не железные военные руки, а какое-то пахнущее свиной амброзией недоразумение, и подавила смешок.

— Кто здесь? Пан писарь? Да что вы, панич, как можно? Уйдите.

— Тихо, тихо, — мычал Щур-Пацученя, беспорядочно тыкаясь усами в ее дородные, масляные мягкости.

— Панич, Христом-богом прошу: уйдите…

Но здравомыслие отощавшего без женской ласки пана Станислава вконец развинтилось и покатилось с горы, грохоча барабанными амурами. Он всхрапывал буридановым ослом промеж двух необъятных стогов, думая, с какого начать.

— Да уйди ты, клоп сушеный! — вдруг вспыхнула Ярина и оттолкнула Щур-Пацученю прямо на колесо тарантаса.

— Яриночка! Як бога кохам, в Слоним заберу, замуж возьму, будешь у меня как сыр в масле кататься, — исступленно бормотал пан Станислав, подползая к ней, словно слизень к кочану капусты.

— На тебе сыр! На тебе масло! — выдохнула Ярина, оскорбленная тем, что после необузданного Хрисанфа с ребятами на нее позарился этот почечуйный прыщ, и со всего маху шарахнула миской по затылку Щур-Пацучени. Что-то оглушительно треснуло — то ли глиняная миска, то ли философический череп — и весь мир поплыл медовыми да сметанными волнами. Пан Станислав пригорюнился и плашмя впал в мечтательное размышление.

IX

Ярина не стала дожидаться страшного суда, всплеснула руками, заломила их, как ива неплакучая, и с нарастающим оглашенным воплем «Ой, люди добрые, убили!» метнулась по площади к церкви, расталкивая принаряженных прихожан.

Она, путаясь в юбках, простоволосо ввалилась в кафоликон, где закончивший службу отец Екзуперанций тщательно гасил свечи, а попадья сметала в узелок остатки просвир, пала на холодный кафельный пол и возгласила:

— Грешна, батюшка! Как есть грешна! Пана Курву-Сученю убили!

Екзуперанций побледнел, схватился рукой за сердце и прислонился к иконостасу.

— Кто?

— Я убила, батюшка! Ой, грех на мне смертельный! Ой, в Сибирь пойду! Что же это будет?

— Дочь Валтасарова! Лилит лупоглазая! Предупреждал я тебя: не распутничай, не мети подолом перед мужиками. В пекле сгною! О Господи, что же это будет? Все, что я отмаливал от скверны римской, все осквернила: и храм, и двор, и кладовку с яствами!

— Ой, грешна, — выла, качаясь по закрученному колбасой мозаичному змею-искусителю, непутевая Ярина, дергая на себе волосы так, чтобы не очень больно было. Змей-искуситель, привыкший к тому, что на каждой службе его попирают десятки ног, саркастически смотрел на виртуозные корчи Ярины и одобрительно показывал раздвоенное жало, которое, по странному стечению обстоятельств, было направлено в сторону Далилы, бреющей Самсона.

Прихожане в восторге столпились в притворе и жадно смотрели на Ярину. Отец Екзуперанций и матушка Вевея попытались поднять плачущую убийцу и поставить ее на ноги, но Ярина упорно поджимала колени, бухаясь на карачки, и причитала, что жить ей теперь в сибирском монастыре.

Наконец отец Екзуперанций докумекал, что кухарка, несмотря на свой испуг, наслаждается всеобщим вниманием, и дабы прекратить кликушеское непотребство, легонько огрел ее подсвечником. Ярина заикала и притушила голошение.

— Веди, показывай, валаамова ослица, — воззвал к ней настоятель.

Ярина покорно повлекла всех за собой в конюшню, где в медовом неудобстве экзистенциально распластался пан Станислав, на голове которого, братаясь между собой, бражничали пчелы и мухи.

Щур-Пацученю подняли, отхлестали по щекам, дабы привести в чувство, и ощупали темечко. Зря Ярина возводила на себя напраслину — ни капли христианской крови не пролила она, но шишку, тем не менее, господину полицейскому писарю влепила знатную.

— А орала-то, словно ее ухарь какой изнепотребил, — разочарованно пробурчал мельник Агап. — У благородных господ голова крепкая — ее знания изнутри подпирают.

Отец Екзуперанций наложил на Ярину суровую епитимью: вымыть и перевязать невинно прибитую жертву; накормить; напоить; водкой фофан не смачивать, чтобы ненароком и пан Станислав не вознесся в эмпиреи к Пармену Федотовичу, ибо дом священника — не трактир. И вообще, он еще готов терпеть инородные толпы возле церкви, чтобы исполнить императорский указ, но не допустит каждодневного поношения Христа потому только, что господа чиновники слабы на голову и чрево.

А напоследок отец Екзуперанций строго-настрого, в самый что ни на есть последний-распоследний — Богородицей клянусь, истинный крест! — раз под страхом анафемствования запретил Ярине на пушечный выстрел приближаться к конюшне, пока в ней живут неотесанные похотливые мужланы. Ярина покорно кивала головой, соглашалась, что ей уготованы вертела раскаленные и озера серные, что она — профура и самодайка, но священник видел, что отеческие слова и ласковые увещевания отлетают от нее, как от стенки горох, и не далее как сегодня же вечером в объятиях Хрисанфа она войдет в геенну огненную.

А потому отец Екзуперанций безнадежно плюнул, разогнал любопытствующих сельчан и ушел в алтарь молиться за спасение заблудшей Яркиной души.

X

Часов с колокольным боем на башнях, как в стольном Гродно, или крепостных пушек, как в Санкт-Петербурге, что возвещают полдень, в Збышове отродясь не водилось. Потому что нужды не было. По утрам всех будили петухи, спать ложились одновременно с солнцем, а днем каждый отсчитывал время как ему сподручнее. Конечно, перед церковными службами одержимо звонил в колокол пономарь, да только и он был намертво привязан к петушиному отсчету времени.

Нет, кое у кого в домах сей необходимый механизм имелся. Например, отец Екзуперанций держал в гостиной резную ажурную башенку с гирьками, начищенным маятником, болтавшимся, как орден на груди отставного кавалергарда, и дрессированной кукушкой. Это Ярина рассказывала. Врала, конечно. Это ж сколько зерна нужно, чтобы накормить бесполезную птицу!

Реб Менахем-Мендл имел карманный хронометр на цепочке. Тоже, кстати, нужный ему как мертвому припарки. Потому что иудеи на часы и минуты не размениваются. Они, как известно, тысячелетиями время меряют. Поэтому Менахем-Мендл на свой циферблат посматривал только в пасмурную погоду, когда на небе за тучами не было видно ни единой звездочки. Тогда он каждую пятницу ровно в шесть часов объявлял наступление шабата. И попробуй кто его ослушаться!

Еще у пана Подрубы был золотой брегет, подаренный ему якобы самим Константином Павловичем за усердие, потому что молочные поросята Подрубы соперников себе не имели ни в Варшаве, ни в Вильне, ни даже в Слониме. Их можно было смело пускать за императорский стол вместе с господами министрами. Сам Подруба по скромности драгоценный брегет носил редко, зато приземистый, аляповатый Барнук любил пройтись по селу вечерком в набивной блекбурнской жилетке, из левого кармашка которой свисала полукольцом таинственно мерцающая цепочка. Завидев за палисадом скромную красавицу с косой, выбивающейся из-под плетеного венка, которая делала

вид, что ей абсолютно ничего не интересно, Барнук останавливался и выуживал на белый свет брегет, щелкал крышкой, смотрел на колючие стрелки и…

…И домой возвращался под утро. Пан Мартын смехом заходился, когда Барнук смущенно объяснял, что в часах кончился завод.

Так и сложилось, что башенные часы в Збышове не прижились, и тосковать по ним не с руки было. А вот пушку хронометрическую иметь было бы хорошо! Особенно когда надо по враждебному соседу зарядить от полноты души. К несчастью, збышовцы помнили, как во времена французской войны возле села схлестнулся какой-то русский полк с заблудившимся отрядом голодных тирольцев князя Шварценберга. И пушки тогда так стреляли, что отсчитывать время по ним было ну совсем невозможно! Артиллеристы безбожно сбивались с ритма и палили в белый свет как в копеечку. Так что и по пушкам определять время как-то душа не лежала.

Ярина перемотала пану Станиславу набрякшую дыню поперек лба холщовой анучиной, длинной и вонючей. Посмотрел в зеркало пан Станислав на ее радения и обомлел, потому что в этой обмотке сподобился образом на янычара в пудовой чалме. Янычар турецкий и есть. И крючковатый костыль вместо ятагана под мышкой. И грудь гордо впала, что изнанка обода. И тик на щеке величественно отбивает секунды, как барабанная дробь.

Щур-Пацученя заглянул в спальню полюбопытствовать, как мучается Пармен Федотович. Кувшинников услышал скрип половиц, приоткрыл хмельные глаза и уставился на пугало чудо-юдовское:

— Султан Махмуд? Прочь! Не изменю вере православной!

— Ваше благородие, евреи сейчас придут. Вставать будете?

— Ох, Махмудушка, пакостно мне. Видеть их не могу. Ты уж сам как-нибудь им головы посноси.

Получив от Кувшинникова индульгенцию на все дальнейшие действия, Щур-Пацученя выполз из плебании и изумленно воззрился на пустую площадь. Ну, не совсем пустую. Наполовину. Белорусы явились все. Семьями! Они сидели на обочинах под тенистыми деревьями, на которых облетали цветки и едва начинали завязываться плоды, разложив скатерти с домашними лакомствами, и ожидали начала представления. Иудеев не было! Ни одного, если не считать исполнительного Гурария. Оно и понятно: ему ковылять через все село несподручно было, вот он и пришел с запасом, опираясь на руку дочери.

— Хрисанф! — взвыл Щур-Пацученя.

— Тут мы, барин, — мрачно отозвался вахмистр.

— Где все, пся крев?

— Не могу знать, барин.

— А кто должен знать? Почему не согнал?

— Так приказа не было?

— Все приказов ждешь?! А сам раскинуть умом не можешь? Быстро их всех ко мне! Одна нога здесь, другая там! Чтоб через десять минут здесь стояли!

Во взгляде драгунов читалось что-то дикое, калмыцкое, казачье. А, собственно, что там еще должно было читаться, если и были они коренными уральскими казаками, привыкшими с персами сражаться? А выглядел из-за чалмы в их глазах он сейчас истинным персом. Басурманом, которого вожделелось поднять на пики за то, что прогнал их от Ярины и от завтрака.

Хрисанф молча дал знак своим орлам, и, вытащив из-за голенищ нагайки, драгуны плеснули галопом по улицам большого торгового села Збышова.

Пан Станислав уселся на принесенный из плебании стул, придал себе государственное выражение лица и приготовился ждать. Сначала он достал из нагрудного кармана доломана небольшую записную книжечку и сделал вид, что внимательно читает записи, но это быстро надоело ему, и он исподлобья стал наблюдать, как Гурарий разговаривает с дочкой.

Гурарий пытался быть суровым и что-то строго выговаривал своей отроковице, но как ни старался, это у него получалось плохо. Не способен был Гурарий по природе своей ни на кого злиться. Поэтому дочка опускала глазки, прыскала смешком и кокетливо поводила плечиками. Гурарий в очередной раз пристращал ее, и дочь внезапно залилась таким веселым, таким весенним переливом, что тот покатился по площади, смывая весь мусор и грязь, точно Неман на ледоломе.

Но удивительней всего, что это был тот самый хрустальный голос, который вчера вечером пел песню про своенравную невесту.

— Эй, Гурарий, что молчишь, не здороваешься? — не выдержал Щур-Пацученя. — С красавицей бы своей меня познакомил. Хром да уродлив, а такую девку подцепил.

— Куда мне, пан писарь, по девкам швендаться. Это дочка моя. Как здоровье пана советника?

— Да что ему сделается, твоему советнику? — отмахнулся Щур-Пацученя. — Лежит, поправляется, о деле печется. Как зовут твою прелестницу?

— Зовут просто: Рахл, в честь праматери нашей.

Рахл! Значит, Рахиль! Сладчайшее из имен земных!

Кто бы мог подумать, что у такого чешуйчатого страхоидола такая красавица выродится.

Струилась теплая чистота по лицу, по шее, по светлому стану. Казалось, что все библейские ароматы исходят от нее. Аравниковый[1] дух был подчеркнут воздушным пахом пихтовых капель, порочной горечью амаликийского мускуса. Натерто было тело Рахили скользким мирободаном[2], и от впитавшегося масла вся кожа до кончиков ногтей засияла изнутри небесным блеском. В подмышки брызнуты были две капли дорогого шезбарского ладана, который скупые торговцы привозили раз в столетие из страны Куш[3], из города Шезбар — страны, что лежала у истока фараоновой реки. Золотник этого ладана стоил двадцать полновесных сиклей золота.

Щеки и соски грудей нарумянены лемносской землей, красным мелом, отчего покрылись они багрянцем стыдливой покорности, верным спутником женского обмана. И хоть все мужчины на земле знают об этом лукавстве, но каждый раз, когда видят свою горлинку, прильнувшую к ним, блаженное беспамятство поражает их.

За лемносской землей гонял пан Станислав корабли из Сидонского порта на северо-запад к Эрсифонийским[4] горам, в страну греков-язычников; и большие прибыли приносили эти походы. Модницы Иудеи изводили мужей жалобными попреками, пока те не раскошеливались на иноземные притирания.

---

[1] Аравник *(библ.)* — верблюжье сено; растение семейства липовых, цветы которого используются при приготовлении духов.

[2] Миробалан *(библ.)* — плодовое дерево, из ягод которого в древности добывалось ароматное лечебное масло.

[3] Куш *(библ.)* — Эфиопия.

[4] Эрсифонийские горы *(библ.)* — Балканы.

Там, где благородное лоно Рахили должилось бедрами, где скрыта священная криница всей жизни на земле, где источник вечного и счастливого владычества женщины над миром, там лишь чуть-чуть капнута была росинка бделия[1] — благородного пальмового сока, чтобы любил Щур-Пацученя жену и был неутомимо ласков с ней.

Ногти Рахили полили алым туевым сандараком[2], цвета камня алабандина; волосы завили раскаленными медными иглами и закрепили прическу искрящимся маловатром[3]; глаза подвели сурьмяным блеском.

Рабыни с лицами Ярки и Дарки поднесли к Рахили отполированное египетское зеркало, поставили на приступку против факелов, отчего пламена удвоились, утроились и озарили ярче плебанию отца Екзуперанция. Дочь Гурария, ступая по верблюжьему ковру, приблизилась и увидела свое лицо в сиянии взлетавших лучей.

Огняные, медяные кудри окружали лицо червонной короной, вились кружевом тропических волос. Глаза — два озера, два моря, два кладезя бездны. В них был цвет ореховый и цвет зеленый, цвет каштановый и цвет солнечный. И парой пушистых ресниц, точно парой опахал, освежало щур-пацученево сердце. Померкли на небе звезда Венера, звезда Чагир, звезда Хабар, но новая звезда взошла на земле.

Пан Станислав воспарил душой и аж разнюнился от ветхозаветных воспоминаний.

— А что, Гурарий, выдашь за меня свою дочку? Я ж не портной и не кузнец. Я веселый, как скрипач!

Но в этот момент Рахиль брызнула золотистым смехом и показала острые зубки:

— Не в коня корм, пан писарчук! Не по коту сало!

— Я не писарчук, я — старший писарь! — вспыхнул Щур-Пацученя.

— Рахл, замолчи! — одернул своенравную дочь Гурарий. — Почему ж не выдать? Выдам. Только приданого за ней нет.

— Это пустяки. Такую царевну без приданого возьму.

— Вот и добре, — спокойно ответил Гурарий. — Только вам, господин хороший, гиюр принять придется.

— Что за гиюр?

— Попросту говоря, в иудаизм перейти.

— И перейду, и перекрещусь в иудея, — продолжал ерничать пан Станислав. Впрочем, не совсем ерничать: от сверхъестественной красоты Рахили разум его выключился, словно в нем погасили последний огарок, и укатился под горку, постукивая полушариями. И надо ж было, чтобы как раз в этот миг испытывающая стеснение за членовредительство Ярина подсунулась с кружкой фруктового взвара и нежно погладила его по чалме:

— Бедненький…

— Уйди ты, Христа ради, шаболда! — замахнулся на нее костылем султан Махмуд. — И перекрещусь!

— Креститься не надо, — пояснил Гурарий, стараясь выглядеть серьезным, — а вот обрезание пройти придется.

— Как обрезание? — поперхнулся Щур-Пацученя. — А без этого нельзя?

---

[1] Бделий *(библ.)* — ароматная, жидкая пальмовая смола.

[2] Сандарак *(библ.)* — смесь пахучей смолы берберской туи и бордового мышьякового минерала, которая использовалась в качестве косметического лака.

[3] Маловатр *(библ.)* — красный лак из сока стручков тамариндового дерева.

— Никак нельзя, пан писарь. Изучите законы, Тору, шестьсот тринадцать заповедей…

— Сколько?!! — ужаснулся любострастник, не обращая внимания на то, что все збышовцы от мала до велика — что белорусы, что собранные евреи — в голос ржут конским ржанием. И громче всех заливался наглый Хрисанф.

— Шестьсот тринадцать. И тринадцать принципов. Вы человек умный, за два годика управитесь. Потом сдадите ребе Менахем-Мендлу экзамен. И если все будет хорошо, в присутствии всей общины сделаем брит-милу. Омоетесь в микве — это купель по-вашему, — Кватер[1] вас в пеленочку завернет, на коленки возложит, ножки раздвинет, а моэль, то есть резник, ножиками вашу кожицу и обрежет. Имечко сменим. Были вы Станиславом, а станете каким-нибудь Гадом. А фамилию по указу Государя Императора можете родительскую оставить, щур-пацучиную. Воспоем хвалу Господу и свадьбу сыграем. Рахл вас ждать будет, ногу даю на отсечение. Тем более, она у меня все равно нерабочая.

Пан Станислав содрогнулся, представив, как к нему прикасается грязный моэль с остро отточенными ножами, каждый из которых длиной был отсюда аж до Вильни; вскочил со стула и потряс костылем, как Моисей скрижалью, люто глядя на Гурария.

— Шутишь, пся крев, свиная колбаса? Ну что ж: я тоже шутить умею. Эй, вы все, молчать, когда закон говорит! Менахем, утихомирь свою кодлу! А ты, Хрисанф, тех, кто не замолкнет, — плетьми, батогами пори!

Он сорвал с головы полуразмотавшуюся чалму и, держа ее в левой руке, как прапор, а правой опираясь на саблю, то бишь на костыль, гордо вздернул голову и обрушил на ненавистную толпу громовую речь.

XI

— Ну, вот что, сучье вымя, пошутили, и хватит! Вы, может, думаете, что я сюда приехал краковяк с вами плясать? Нас с господином Кувшинниковым лично Александр Павлович и уездный городничий напутствовали на это дело, и я вам не спущу! Кто будет со мной в прятки играть, враз горячих выпишу! Для того мне и солдаты приданы!

Напоминание о солдатах заставило всех обернуться на ражего Хрисанфа, вокруг которого мрачно теснились его голодные подначальные. Почувствовав общее внимание, Хрисанф не подвел. Он затуманился одичалым ликом, всклокочил бороду и задумчиво уставился вдаль, яко Навуходоносор, мечтающий разрушить збышовскую синагогу, а общину во главе с Менахем-Мендлом увести в кандалах по Владимирскому тракту подальше от обетованной принеманской земли.

— Государь Император уж десять лет как соизволил высочайший Указ подписать, чтоб вы себе фамилии выбрали да в метрические книги записали. А вы что? Манкируете его повелением? Самыми умными себя считаете? Так запомните, что в нашей державе только власть может позволить себе умной быть, а ваш брат на то рылом не вышел! С завтрашнего дня я с соизволения господина Кувшинникова лично займусь вашим просвещением. Менахем-Мендлем, принесешь мне список всех своих обормотов старше тринадцати лет, а то на виселицу отправлю. Я вам не Торквемада: у меня не забалуешь. Ясно говорю?

---

[1] Кватер *(иуд.)* — аналог крестного отца.

От такого напора стушевался даже невозмутимый, уверенный в себе Менахем-Мендл. От Щур-Пацучени, оскорбленного до самой селезенки тем бесчестьем, которое невольно нанес ему Гурарий, защищая свою дочь, исходил яростный, неутолимый огонь шляхетного буйства. В старое доброе время он, не зная сомнений, засек бы всю общину до последнего младенца, до самой сирой вдовы, до Енты! Но гуманизм, просвещение, человеколюбие теперь в моде. Ни к позорному столбу иудея приковать, ни в морду дать невозможно. Но он им сейчас покажет, вгонит осиновый кол прямо в их торгашескую, скаредную душонку!

— В милости своей император Александр Павлович разрешил, чтобы каждый из вас сам выбрал ту фамилию, которую хочет носить и передать детям. Мало того, записываться в метрику позволено на том языке, на каком вам угодно, хоть по-русски, хоть по-польски, хоть на своем еврейском говоре. Кто не выберет фамилию, того я буду записывать по своему разумению, и потом не обижайтесь! Господин городничий за такие жалобы будет на месяц в холодную сажать. Уразумели, пся крев?

По рядам смущенных сынов израилевых прокатилось легкое волнение, словно ветерок, долетевший с полей палестинских, колыхал колосья здешней нивы. О чем-то гомонило, горланило иудейское племя, переполошилось. Пусть понервничают. Пусть обсудят. Сейчас пан Станислав их ударит в самое больное место — в кошель их золоченый.

Приняв от Ярины кружку с питьем, он неторопливо, по глоточку цедил сладкую влагу и, чуть прикрыв глаза, посматривал на толпу. Эк их разобрало! Менахем-Мендл забыл о своей всегдашней выдержке и что-то яростно доказывал шойхету Бараку. Барак не соглашался, мотая головой, и даже позволил себе ткнуть раввина в грудь костлявыми пальцами.

Велвл, муж Шифры, потрясал кулаками над головой шорника Самуила, а Самуил в это же время втолковывал какую-то важную мысль скобарю Иосии. Иосия, то и дело поправляя на плече торбу с жестянками, кричал что-то на другой конец сходбища через головы собравшихся пастуху Лейзеру, у которого из-за обор лаптей торчало коричневое, оплетенное тесьмой кнутовище. Пан Станислав почувствовал озноб: а с кем же Лейзер бугая Болеслава оставил? Потом вспомнил, что подпасками у него подвизаются сыновья, и немного успокоился.

Меир-бортник, что спустил с цепи губительную пчелу на Пармена Федотовича, вздымая руки к небу, проклинал… хорошо, если только бога своего, а вдруг Государя Императора или, еще хуже, самого Станислава Иосифовича! Поодаль стоял какой-то кривобокий человечишка с лопатой и, опираясь на нее, уставился остекленевшим взглядом вдаль, словно не верил услышанному. Торговцы, мимо домов которых давеча прогуливался с познавательными целями пан полицейский писарь, собравшись голова к голове, подсчитывали возможные убытки и обреченно волновались, во сколько лично им обойдется это пофамильное коммерческое предприятие властей.

Правильно волновались. Сразу видать: финансисты; привыкли все до копеечки подсчитывать. Пан Станислав всегда любил иметь дело с умными, равными себе людьми. Такой человек не станет выклянчивать скидку за услугу, угрожать, что напишет жалобу в губернское правление или, больше того, в министерство. Он подходит к делу как к соглашению двух равноправных друзей: государство оказывает тебе услугу и соглашается принять за это маленькую благодарность в виде мзды. А ты приобретаешь оказанную услугу,

которая тебе ни к черту не нужна, и за это разрешаешь спустить с себя три шкуры. И все завершается к обоюдному удовлетворению сторон.

— Наговорились? — прекратил Щур-Пацученя вороний грай. — А теперь слушайте дальше.

Он раскрыл потрепанный блокнотик, в который тайком записывал между поручениями городничего самые сокровенные мысли, и продолжил:

— Как я уже сказал, фамилию каждый может выбрать по своему усмотрению. Однако Государь Император соизволил установить подушную подать за каждую фамилию. За фамилию орнаментальную, красивую подать установлена в один целковый.

— Сколько? — раскрылась почти тысяча ртов. Причем, если иудеи задавали вопрос только для порядка, чтобы лишний раз порадоваться, что не зря они являются избранным народом, и лупить с них позволено сколько душе угодно, то христиане в очередной раз возгордились бесцеремонным величием родины.

— Или я неясно сказал: один целковый. Серебром, — на всякий случай уточнил Щур-Пацученя, а то эти дети пустынь заплатят ассигнациями по курсу. А как жить, если ассигнации с каждым днем дешевеют. Уже дюжина яиц у баб на базаре две копейки стоит. Что ж, по миру идти из-за жадности скупердяев? — Зато подумайте, как возрадуются ваши жены и дети, если благодаря вашей щедрости станут называться Фогельзангами или Энгельгланцами.

— Как? — переспросил Велвл.

Пан Станислав и не собирался разъяснять. Благо, еврейский язык на немецкий похож. Разберутся, а нет — так у Менахем-Мендла спросят. Вмешался тот остекленевший землекоп с лопатой. Выговор у него был не здешний, иноземный, сбивавшийся на гортанный лай. И фразы он выстраивал не по-нашему. Да еще и шепелявил, словно ему отрезали пол-языка, а на его место пришили овечий:

— Фогельзанг — то Пение Птичье ешть. А Энгельгланц — то Шияние Ангельское ешть.

— Можно также выбрать фамилию по имени отца, матери или любого другого родственника по восходящей линии. Стоить она будет восемьдесят копеек серебром. Эй, ты, Меир, у тебя родителей как кликали?

— Да батюшку Пинхасом звали, а мать я не помню. Кажется, батюшка говорил, Ривкою.

— Значит, можешь стать Пинхасевичем или Ривкиным. Клянусь, восемь гривен совсем немного, чтобы всегда свой род помнить. Ну, а кто считает, что это большая цена, то за шестьдесят копеек получит фамилию от ремесла своего или от города, где родился.

Ремесленники враз прикинули, что за клеймо мастера с фамилией Фогельзанг денег на ярмарке больше не заплатят. Там таких Фогельзангов будет торчком до Вильни не переставить. Лучше уж не валять дурака и просто быть шкурником Кушнером или кушнером Шкурником. А уж если судьба приговорила тебя быть землепашцем, то и подавно. Люди меньше хлеба есть не станут оттого, что его вырастил Моисей Пахарь, а не Моисей Энгельгланц.

Купечество несколько было всполошено. Ибо, если всем приобретать фамилию Купец, то вскоре по миру пойдешь. Ведь постоянные покупатели с ног собьются между лавами «Торговый дом «Купец и компания». Опять же, конкуренты будут нагло перехватывать оптовых закупщиков, которым все едино, что тот купец, что этот.

Называться Збышовскими тоже не выход. Всех Збышовских не перезбышовишь. А вдруг Наполеон вернется. Ой, мамочка моя, что пан Збышовский с нами сделает!.. Плач Иеремии тогда воспоследует. Неужели придется переплачивать за Фогельзанга? Вот тут и позавидуешь двоюродному брату ребе Менахем-Мендла, который, не опасаясь воровства, может смело именоваться Дриссером.

Щур-Пацученя свысока оглядывал муравьиный рой, копошащийся вокруг него, и продолжал гвоздить по несчастным головам числами зверя.

— Кому же и шестидесяти копеек жалко, может за сорок назваться по внешности своей или по характеру. Но вряд ли обрадуются ваши семьи, когда узнают, что отныне и до страшного суда они будут Кривыми, Лупатыми или Врунами. За двугривенный называть буду произвольно. На что взгляд упадет, то и запишу в метрику. И тогда не обижайтесь, что один стал Сапогом, а другой — Грушей.

Пан Станислав остановился и перевел дыхание. Насладился созерцанием побледневших жертв и забил последний гвоздь в крышку их гроба:

— А кто настолько совесть потерял, что и двух гривен жалеет, пусть потом не обижается. Гурарий, слушай внимательно: специально для тебя говорю. Второй раз повторять не буду. Кто денег не заплатит, фамилию получит по заслугам своим. Например, Штинкенванц или Фаулебер.

— Как? Как? — растерянно запнулся Гурарий.

— Не понимаешь? Память отшибло? Ну-ка, ты, гундосый, — Щур-Пацученя повернулся к шепелявому землекопу, — переведи специально для пана доктора.

Землекоп скривился, словно его тошнило от таких слов, но не посмел отказаться:

— Шчинкенванч — это Вонючий Клоп ешть. Фаулебер — как бы это мягко шказачь, ешть Тухлый Швин-Мужик. Так ешть, кажетчя.

XII

Растерзал, загрыз пан полицейский писарь збышовское общество, как елисеев медведь непочтительных детей. Щур-Пацученя мстительно подмигнул Гурарию и в сопровождении драгунов, Ярки и костыля отправился блюсти день воскресный, оставив всех мучиться на страшном суде. Потому что страшный суд — это не геенна огненная, а необходимость самому принимать решение.

Припекало с неба вбитое в него на одном месте солнце, белое, как жареный лещ; дышало, словно из горнила печи, в которой томилась сберегаемая Яриной к обеду ячная каша со шкварками. Стараясь загладить вину свою, кухарка навалила ему в миски столько еды, что и все свиньи пана Подрубы утомились бы жрать.

Кабы не жара, настроение было бы вообще сладостное. Хотелось лечь и предаться греху лености, как это сделал отец Екзуперанций, чтобы на первой же исповеди было в чем каяться и что себе отпускать.

Войдя в спальню, пан Станислав первым делом скинул с себя опостылевший мундир, который чем только не пропах за эти два дня, оставшись в бежевом исподнем, изукрашенном кружевными прошвами наподобие аксельбантов. Кувшинников самозабвенно храпел как пшеницу продавши, и пан Станислав, вывесив мундир проветриться на распахнутые оконные рамы, тихо замурлыкал, чтобы не разбудить его:

— Как на горке-на горе стоит дивное амбре.

Он прилег на свою законную попону, вытянув усталые ноги, обставился мисками, раскрыл блокнот и принялся подсчитывать предполагаемый профит от предстоящего гешефта. Долго перемножал цифры, складывал их столбиком, и чем длиннее становились суммы, тем большая элегичность выползала на его лице. Наконец, утомившись от финансовой истомы, он начал клевать носом и задремал в эпикурейских грезах, не подозревая, какое потрясение вызвал в иудейских семьях.

Возвратившись домой, ошарашенные мужья повалились на лавки и даже не пытались ответить на настойчивые расспросы жен и детей. Матроны призывали на головы супругов все громы небесные, все ухваты печные, угрожали разводом и дележом имущества. Но если домашнюю утварь и развод мужья попросту пропускали мимо ушей, то упоминание о дележе имущества вызывало у них удовлетворенные язвительные смешки.

Плакали дети, снедаемые любопытством; каркали жены; а отцы семейств тосковали о канувших гуманных временах египетского рабства. И не было счастья под бережливыми стрехами. И ангел огненный сошел с мечом с небес. И звезда Полынь пала на землю, отравив воды в колодцах, молоко в кринках и водку в бутылках.

Но постепенно отошла растерянность и высох клей, залепивший уста. Мужчины, проклиная все на свете, рассказали обо всем, что говорил пан Станислав.

— Ну, и что? — не поняли умные ласточки. — Штинкенванц так Штинкенванц. От этого масла в меноре не убавится.

— Да? — удивились мужья. — Глупости говоришь. Вырастет наш Соломончик, придет ему время в ешибот поступать, да кто ж его с такой фамилией туда примет? А даже если и примут, то что его ждет в дальнейшем? Какая община захочет, чтобы раввина у нее звали Вонючим Клопом. А Ципорочка войдет в самый сок, заневестится, и будем мы до морковкина заговенья женихов ждать. Кто возьмет замуж дочь Фаулебера и Фаулеберши? Ох, горе горькое!..

Как известно, умная женщина редко говорит глупости, но если уж говорит, то такие, на которые не способна самая последняя дура. Осознав свой промах и желая лучшей доли детям, жены насели на мужей, чтобы те не скупились и заплатили за орнаментальную фамилию. Мужья даже не пытались спорить, твердо зная, что будет дальше.

Когда первый порыв материнской жертвенности прошел, потихоньку, исподволь в мысли стали закрадываться сомнения. Рубль-то — деньги немалые. За рубль можно почти два месяца жить. И не успели мужья ни слова сказать, как жены начали взвешивать все «за» и «против».

Конечно, хорошо быть мадам Фогельзанг, но платить за это такие деньги?.. У меня чулки штопаные-перештопаные, повойник протерся, юбка до дыр прохудилась, а этот расточитель целый рубль готов на свой гонор выкинуть! А нельзя ли заплатить только полтинник, чтобы самой стать госпожой Энгельгланц, а мужа оставить Штинкенванцем? Кстати, даже красиво будет. Созвучно: Энгельгланц — Штинкенванц.

Но к расстройству домовитых матерей, такой вариант господином полицейским писарем не рассматривался. Поэтому приходилось выбирать: либо быть Энгельгланцихой без чулок, либо Фаулебершей в мехах. Господи, да как же можно человека перед таким сложным вопросом ставить! А во всем муж, неудачник, виноват!

И на головы несчастных сердяг полились обильные упреки, на которые те даже не пытались отвечать, зная, что все равно останутся виноватыми. И чтобы не чувствовать себя последними сквернавцами, мужчины, надев парадные лапсердаки и начистив шляпы, засобирались в синагогу на вечернюю молитву, где их точно никто не будет обзывать неудачниками и нищебродами.

XIII

Пан Станислав в блаженной сытости почивал аж до заката. Проспал бы и дольше, до самого утра, но некстати пробудился Пармен Федотович и запросил или рассольчику ядреного из-под моченых яблок, или шампанского. Но шампанского в Збышове уже лет двадцать как не водилось, а рассольчик был спрятан под замком в погребе. И пока Ярина не вылезет с сеновала, достать его было невозможно. Поэтому пан Станислав, наскоро натянув чикчиры, выбрался через окно в огород и при свете Луны нарвал на грядках жменю щавеля, чтобы Пармена Федотовича кисленьким побаловать.

Пока он ползал по огороду, сон пропал. От дубравы, что росла на другом берегу Щары, повеяло прохладой, и Щур-Пацучене на ум взбрело отправиться на реку слушать пение варакушек. Передав через подоконник Кувшинникову щавель, он накинул доломан и вприпрыжку, подскакивая то на одной ноге, то на другой, побежал по улице.

Около дома реба Менахем-Мендла из синагоги выходили понурые евреи. Видимо, даже молитва не успокоила их души. Горланили, спорили они, и хоть ни слова не понятно было, пан Станислав не сомневался, что обсуждают они его утреннюю речь.

На всякий случай Щур-Пацученя затаился в тени деревьев, пропуская прохожих. Пусть разойдутся от греха подальше. Не то чтобы он опасался каких-то неприятностей, однако морда у господина полицейского писаря чай не казенная, чтобы ее расписными кистями раскрашивать. Тонкие ветки раскачивались под ветерком, и крохотный листик стремительными непослушными касаниями щекотал ему ноздрю. Оставалось затихариться, чтобы не выдать себя и не чихнуть. Но люди все горланили и горланили, и пан Станислав аж от злости раздувался, что в своем же уезде вынужден притворяться соляным столбом.

Так прошло полчаса. Наконец избранный народ обреченно плюнул на землю, попрощался друг с другом и разошелся по домам. Пан Станислав постоял еще немного под спасительной сенью яблони… или сливы… А черт его знает, в темноте не разберешь, и решился идти дальше. Но не успел он сделать и десяти шагов, как навстречу из синагоги вышла еще одна фигура и чуть не столкнулась с ним нос к носу.

— Кто тут? А, это вы, пан писарь?

— Гурарий? Чего это тебе дома не сидится?

— Молитва, пан писарь. Как есть молитва. Да и как в такую ночку можно дома сидеть? Днем-то дела все время мешают, а сейчас сам Бог велел вдохнуть воздух живительный, посмотреть в небо, на светила эти, что гроздьями ягод из райского сада свисают, и подумать о жизни своей: где согрешил, где солгал, где обидел кого.

— Э, да ты поэт, братец.

— Ну что вы, пан писарь! Какой же я поэт? Я и грамоте-то не обучен. Так, буквы кое-какие знаю, прочитать Тору по слогам могу, а чтобы писать, так на это разумения моего не хватает.

— Не прибедняйся, Гурарий. Не поверю. Ну, фамилию выбрал?

— Так как же ее выберешь, если денег нет? Видно, на роду мне написано мерзкое прозвание иметь.

— А ты деньги заплати и горя не знай. Всего-то двадцать копеек с тебя требуется.

— Да где ж их взять? Проклят я врагом рода человеческого, не задерживаются деньги в кармане.

— Ой, так уж! — фыркнул Щур-Пацученя. — Вчера за господина титулярного советника ты с меня гривенник содрал, не постеснялся. Найдешь еще одного дурака, вот тебе и второй гривенник.

— Пан писарь, — внезапно понизил голос Гурарий. — А вот скажите правду: если я найду двугривенный, вы ж все равно меня в какую-нибудь обидную компанию запишете. Мало ли на что ваш взгляд упадет. Хорошо, если на лапоть или, скажем, половицу. И с такими фамилиями люди плачут, да живут. А вдруг вам заблагорассудится на уборную посмотреть?

Щур-Пацученя весело приподнял брови, потому что такая мысль в голову ему не приходила.

— А ты, Гурарий, глуп, глуп, да умен. Пожалуй, никто не захочет Уборной становиться. Каждый хоть вывернется, а мало-мало сорок копеек за услугу положит.

— Так, может, ваше благородие, вы мне за совет послабление дадите?

Щур-Пацученя зычно, голосисто расхохотался. Смеяться было тем приятней, что колченогий Гурарий был ниже его, а пану Станиславу нечасто доводилось смотреть на людей сверху вниз.

— Нет, брат. Рад бы, да не могу. Вот представь себе: возвращаемся мы с Парменом Федотовичем в Слоним. Триста сорок человек вас в списке, а пошлину мы сдаем только за триста тридцать девять. Господин городничий у меня спросит, где еще сорок копеек. И что я ему скажу? Что живет в Збышове очень хороший человек, свиньями не брезгует, горла умело режет. Зовут этого хорошего человека… Как тебя по батюшке?

— Гур-Арье, сын Эльякима.

— …Зовут его Гур-Арье, сын Эльякима. И так он мне понравился, такую приязнь я к нему испытал, что решил не брать с него подать пофамильную. Так, что ли? Нас тогда, брат Гурарий, вдвоем на кудыкину гору законопатят. Вникаешь?

— Не собрать мне такую сумму, господин хороший. Вовек не собрать. Мы с Рахл и мальчишками только со своего огорода живем, да еще тем, что мне за лечение подают. Кто кринку молока, кто пяток яиц, кто опресноки на шабат.

— А жену чего не упомянул?

— Э, где та жена! Жены уж пять лет как нету…

— Гурарий, не жми из меня слезу, не поможет. Если суждено тебе стать Тухлым Свин-Мужиком, то так и будет. Под такой звездой ты родился.

Гурарий грустно посмотрел на пана Станислава глазами навыкате, агатовыми, как чернослив, и сказал:

— Видать, ваша правда. Звезд у Господа много, для каждого человека хоть одна найдется.

Он перевел взгляд на небо, помолчал, прикидывая что-то, и ткнул пальцем на Большую Медведицу:

— Ильин Воз как ярко сегодня сияет, точно менора на День Обновления! И Луна ему не помеха. Может, там моя звезда? Или в Химе? Там звезд, что ягнят в стаде царя Соломона.

— В какой Химе?

Гурарий улыбнулся:

— В Стожарах, по-вашему, в Волосынях. Хотя нет — в Химе тесно, звезды плечом к плечу стоят, а я всю дорогу на отшибе живу. В Трех Королях звезды моей точно нет. Это созвездие благородное, шляхетское. В нем только такие мужи, как вы, пан писарь, обитать могут.

Сказал — и не поймешь сразу, то ли подковырнул так, то ли восхитился знатностью рода Щур-Пацученей.

— А может, Волчье Око моя звезда? Вряд ли. Юпитер — светило злое, спуску никому не дает, а я за всю жизнь даже мухи не прихлопнул. Так что Волчье Око явно не про меня.

— Эк разоткровенничался! Тебе бы, Гурарий псалмы писать! То-то бы дураки уши развесили, пока ты им сказки рассказываешь.

— Знаете, пан писарь, а ведь и правда: есть у меня звезда. Видите, зеленеет, как чижик на березе под Волчьим Оком?

— Ты бы, дурила, поменьше на небо смотрел, а то голова закружится. Приплел невесть что! Какое отношение Венера к твоему кочелыжному житьишку имеет?

— Нет, господин хороший, неправда ваша! Потому что не Венера это. В стародавние времена у народа нашего называлась она звезда Хабар. Вот под Хабаром я родился, живу и, видно, помирать буду.

— Послушай, Гурарий, не жалоби меня. Из меня всю жалость еще в Вятке выбили. Сказано — сорок копеек, значит неси сорок и ни полушки меньше. Одолжи у соплеменников, потому что вы богатые и от сорока копеек не обеднеете. А если тебя стыд гложет, то пойди к Подрубе. Вы же с купцом второй гильдии друзья не разлей вода.

Потух в глазах Гурария маслиновый свет, и он вполголоса сказал с мягкой улыбкой:

— Мартын Адвардович, конечно, не откажет, только… Эх, пан писарь, пан писарь, поздно уже, к полночи дело идет. Звезда Хабар в зенит выкатывается.

Продолжение следует.

Перевод с белорусского автора.





Александр ЛИСНЯК

Про счастье

Про банальность

Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
Павел КОГАН

Уж как сложилось с давних пор —
В природе,
Богом сотворенной,
Люблю лишь красный помидор,
А огурец люблю зеленый.

Мир естества —
Души оплот.
И гордецам науки в пику,
Пусть пахнет дыней желтый плод,
А земляника —
Земляникой.

Кому нужны почет и лесть,
Тот может пыжиться и дуться.
На грушу за укропом лезть —
О землю можно звездануться.

Пока до страшного суда
Не перевернута страница,
Как ни банальна красота,
А сердце только к ней стремится.

Шиповник ал,
Закат багров,
Любовник ждет в ночи подругу…
И сколько ни рисуй углов,
А звезды движутся по кругу.

Сердце песни

Тот прожил, как пробежал сторонкой.
Ну, а тот — как просидел в кустах.

А теперь какой-то песней звонкой
Быть хотят у мира на устах.

До чего ж пострел на славу падкий!
До чего же клан их многолик! —
Тот шуршал, как мышь, в заветной папке.
Тот хвалил болото, как кулик…

То чины копили, то рубины.
Их сберег от жизни липкий страх…
А у песни сердце — кисть рябины,
Что горит открыто на ветрах!

Мы

Сколько подарено истин!
Милости сколько!
Не впрок....
Сыплются дождики, листья —
Плачут природа и Бог.

Дал Он и сушу, и воды,
Все и в земле, и над ней…
Что за талант у народа —
Нет нас на свете бедней?!

Грезилась жизнь?
Или снилась
Русская сказка века?
Въяве лишь Божия милость
Нас сохраняет пока.

Как же мы с нею беспечны —
В мыслях и чувствах покой…

Были б умней и сердечней,
Сдохли б от жизни такой.

Про счастье

Дважды в жизни, если приглядеться,
Птица счастья оставляет след:
Ничего еще не надо — в детстве.
Ничего уже — на склоне лет.
Остальное — трата сил на нервах
В бесполезных битвах и трудах:

Быть и слыть в богатых, славных, первых.
Царевать в умах и городах.
Где ж ты, счастье?
Капля... кроха... малость…
Ищем Синей птицы зыбкий след…
Это если детство забывалось.
Это если мудрости все нет.
Солнце, мама, сердце хлебу радо…
Нет кумиров, времени не счесть…
Было — ничего еще не надо!
Ничего уже не надо — есть!
Многих знаю: лишних дней просили,
Или даже жизнь еще одну…
Мне бы эту до конца осилить,
А вторую я не потяну.

Закавыка
(складень)

1

Одна осталась в жизни закавыка,
И я хотел понять бы, наконец:
Я баловень судьбы иль горемыка?
Великий грешник или молодец?

Искал любви, но погибал в пороках,
А верность разбивалась сплошь о страсть.
И был желанным на любых порогах
Мой Посох, тяготеющий во власть.

Не знал, пацан, я самого простого,
И оттого непросто было жить:
За женщин посох мы сложить готовы,
Они — на нас готовы положить.

По сердцу память рашпилем скрежещет,
Но истину никто не отменял:
О, сколько горя видел я от женщин!
О, как они страдали от меня!

2

Как мать на белый свет являет сына,
Так женщина мужчину создает…
И балерина блудного посыла
Мальчишку заказала наперед.

Я клял ее. А надо бы, чудило,
Поклоны бить от каждого угла:
Продажная, но мысли возбудила!
Распутная, но чувства увлекла!
Судьба неординарная сложилась,
Раскрылась в гармоничной полноте,
Проверена на прочность и на вшивость,
Распята на звезде и на кресте.

От ласки и любви в глазах рябило,
И юность не жалеючи сгубил…
О, сколько дам по гроб меня любило!
О, сколько их я до смерти любил!

3

Плюс с минусом — естественные двое!
Лишь бой — возможность жизни двух рапир.
Исчезни в мире зло как таковое —
И смысл мгновенно потеряет мир.

Предательство в горчайшую минуту,
Презренье в лоб, ложь за спиной — их суть.
До скрежета зубов доводят смуту.
А отомстят — ни крикнуть, ни вздохнуть.

И Посох мой, и мятые котомки
Прошли ряды земных широких Врат.
Все лучшее наследуют потомки.
Во мне грехи умножились стократ.

Но вглядываясь в пройденные дали,
Я вижу среди бед моих лихих:
О, сколько счастья женщины мне дали!
О, сколько же я осчастливил их!

Тихие морозы

Деревеньки в начале зимы
Погружаются тихо в морозы,
Выпуская на волю дымы,
Кислый запах кормов и навоза.
Улизнувшим в комфорт городов
Хорошо в своей теплой квартире
Посудить о деревне
И дров
Наломать в скороспешной сатире.
Ну, а здесь и не знают о том,

Что их судят.
На тракторы лезут,
На колбасный спешат со скотом,
Хоть самим нужен скот до зарезу.
А обратно привозят мазут
Для машин.
Как мозольную смазку.
Хлеб и булки в гостинец везут.
Пофартит, то везут и колбаску.
Нелегко, но деньжата копят,
Есть серьезный для этого повод:
Чтоб девчонок своих и ребят
Было легче устраивать в город…

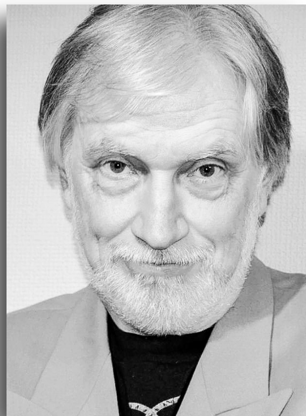
Весеннее обострение

У февраля прилично не хватает,
Не за горами красная весна.
И наше время, как сугробы, тает.
И я не рад весне, и ты грустна.

Повисло солнце на сухой осине,
Спешат ручьи и с песнями, и без…
Журавль растаял где-то в небе синем,
А все синицы возвратились в лес.

Не подсмотреть бы отраженья в луже,
Не вспоминать бы пролетевших лет…
Весна, весна, что быть могло бы хуже.
Но ничего на свете лучше нет.





Юрий ПЕЛЮШОНОК

Десант

Рассказы

Пиявки

Юным предпринимателям 60-х

Двоюродные братья Миша и Юра хорошими учениками не были. Годы, напомню вам, были шестидесятые, когда детей, не похожих на остальных, никто не щадил. А братья были как раз из таких. В Мише пульсировала не по возрасту предпринимательская жилка. Юра обладал не по годам развитым чувством юмора. Таким развитым, что в пионеры Юру приняли, когда его сверстники уже добрых два года носили галстуки. Но в то время, о котором пойдет речь, Юра, может, даже и октябренком не был, а вот брат Миша, родившийся двумя годами ранее, носил октябрятскую звездочку, которую не раз закладывал за копейку во время игры в «тюшку». Но всякий раз звездочку ту отыгрывал и, забрав не только свое, но и чужое, уходил в другой двор «чистить» соседских пацанов.

Как-то, в последний школьный день, перед началом летних каникул, Мишина мама узнает, что Юрин класс едет на экскурсию за город, и желает, чтобы Миша поехал вместе с ним. Юрина же мама, женщина умная, ходящая в спортивных начальниках, понимая, что из этой затеи ничего хорошего не выйдет, соглашается лишь потому, что сестре нужен отдых. Учительница, которая никогда Мишу не видела, дает разрешение. Старший брат при Юре лишним не будет.

В назначенный час экскурсии весь класс собирается у памятника юному Ленину, возле школы. Подкатывает автобус. Расселись. Поехали. Юра с Мишей сидят сзади. Миша всю дорогу серой спичечных головок заряжает самопал. Учительница сидит впереди. Дети смотрят в окна. Юра при старшем брате, чем-то занят. Можно и самой книжку почитать.

Когда вышли из автобуса, Миша выстрелил. Выстрел получился громовой. Из кабины выскочил водитель — посмотреть, не лопнуло ли колесо.

Учительница тут же забрала у Миши спички. А вот самопала Миша не отдал.

Автобус уехал. Класс двинулся изучать родной край. Пройдя через поле васильков, остановились возле маленькой змеевидной речушки, которую, будь она чище, можно было бы назвать ручьем. Расстелили взятые из дома одеяла. Кто-то лег загорать, кто-то стал играть в бадминтон. Юра стал веселить девочек пересказом комедийного фильма. Миша с деловым видом пошел разведать, что вокруг интересного.

Валик, толстый малый, с большой красной бородавкой на носу, привез с собой «Селгу», настроил на «Маяк», и теперь, под звуки музыки, загородная

прогулка стала еще приятнее. Девочки затеяли танцы, услышав песенку про «Манжерок». Валик пацан зажиточный, отец у него ходит в начальниках на ликеро-водочном заводе. В школьном буфете кто-то простоит в очереди и купит морковку за копейку, а Валик без коржика и компота никогда не уходил. Считай, восемь плюс пять — тринадцать копеек. Но и денег на ветер он без толку не бросал. Сегодня из дома привез помимо булочек с изюмом и горы бутербродов трехлитровую банку томатного сока. Эта банка тут же заинтересовала Мишу, который, погуляв по окрестностям, вернулся с какой-то идеей. И говорит ему Миша, что за банку, только пустую, даст ему десять копеек. У Валика в голове своя арифметика. Как-то, следуя школьному заданию: «Посетите места, где работают родители», он посетил папу на его заводе и вынес незаметно в портфеле четыре бутылки водки. Водку вылил в речку Свислочь, чем дал ближайшим лягушкам на час уйти в мир грез, а бутылки сдал. И сорок восемь копеек живых денег положил в карман. Конечно, выгоднее было бы продать водку. Но кто ее купит у пацана? Дадут подзатыльник и заберут. Теперь же, в случае с соком, налицо и польза, и выгода, потому как сок, в отличие от водки, можно выпить. И никогда не сдававший банок Валик соглашается. Единственное неудобство в том, что Мише банка нужна прямо сейчас. Валик, стараясь не дышать, выпивает весь сок до дна. После чего, боясь икнуть, сидит остаток дня на травке, в тени березки, раз от разу исчезая в кустах.

Получив банку, Миша дает знак Юре следовать за ним. Они подходят к затоке, в которую втекает речушка, и Миша говорит: «Знаешь, сколько здесь пиявок? Их в аптеке принимают по двадцать копеек». — «За самок или за самцов?» — шутит Юра. «За тех и тех, — серьезно отвечает Миша. — Но мы отдадим по десять. По десять точно возьмут», — делится он вычислениями, интуитивно понимая, что нужно дать заработать еще и аптекарю.

Начинается ловля пиявок. Их действительно много. Скоро в воде уже полно пацанов и визжащих девчонок. Учительница пытается протестовать, но в ответ летят крики «жарко же», к тому же глубина — курице по колено, и это ее успокаивает.

Проходит час. Миша сам уже пиявок не ловит, а дав указания, как прутиком поддевать их и бросать в банку, следит за работой. Сортирует улов, отбрасывает мелких, принимает только крупных. Пройдет немного лет, и Миша наладит производство поясов «Лэвис». Или «Ливайс», как теперь говорят. Работяги за бутылку будут выносить ему широкую резиновую ленту с «рейтузной фабрики», кто-то за копейки пришьет на кончики ленты пряжки, кто-то сделает трафарет, чтобы прокатывать по ленте краской буквы «Levis». Пояса будут бандеролями рассылаться по всему Союзу. И потребитель за невысокую цену сможет приобщиться к избранным, превратив свои никакие джинсы «Шарик» в весьма приличные «чухассы». А потом пройдет еще несколько лет, и Миша организует пункты балансировки колес. Если колесо насадить на нечто, напоминающее большую катушку от ниток, и раскрутить, то несбалансированное колесо будет отклоняться при вращении в сторону. Грузик на обод повесил — и готово, колесо сбалансировано. И главное, никакого японского или немецкого оборудования с окошками мигающих электронных цифр. «Все по законам физики», — гордо прокомментирует изобретение Миша. По каким именно законам, он не скажет. Но все вокруг заговорят: «Жил бы Миша при капитализме, был бы у него пряничный замок на берегу молочного моря, по которому плавал бы он в золотой ладье с шелковыми парусами».

Юра не претендовал на пиявок в банке. Это была Мишина добыча, это было его хозяйство и его, связанная со всяким хозяйством, проблема. Кое-что на счет индивидуальной собственности в коллективе, где все общее, Юра

усвоил раз и навсегда. Случилось это, когда какой-то человек подбросил к их многоквартирному дому щенка. Видимо, человек надеялся, что милому существу найдется хозяин и его возьмут в дом. И действительно, нашлось с десяток хозяев. Мальчишки и девчонки целый день тискали его, но потом все побежали в соседний двор смотреть, как дяди, что «забивают козла», убивали кирпичом мышь. Ошалевшая мышь металась по детской площадке. Непохожий на остальных Юра смотреть на это не стал, а взял щенка и унес к себе в квартиру. Поступок, продиктованный здравым смыслом, что пора бы щенка покормить и дать ему поспать. Дома он уговорил маму оставить собачку, ну хотя бы ненадолго. Щенку налили в тарелочку молока. Он ел жадно, как поросенок. Но раздался звонок в дверь. На пороге — ватага девчонок и мальчишек. И Ленка из соседнего подъезда начинает обличительную речь, причем взрослыми словами. Из речи этой Юра узнает, что он «собственник-единоличник, присвоивший коллективного щенка». За Ленкой стоит рыжеволосая Вика, девочка на три года старше Юры, известная своей улыбкой и огромными зелеными глазами. И хоть с девчонками позор ходить в кино, но ребята постарше ее приглашали и даже считали за честь быть увиденным с ней, хотя за эту честь кроме билета в кино нужно было купить ей пирожное за двадцать две копейки. В общем, обходилась она недешево. После речи Ленки Юра сам вынес щенка за дверь. Она взяла его и почему-то передала рыжеволосой Вике. Дети еще некоторое время поиграли со щенком во дворе. Но наступил вечер, и все разошлись спать, оставив его под перевернутым ящиком. Юра хотел снова забрать щенка домой. «Не смей», — сказала мать. Щенок долго-долго скулил, затем приехала какая-то машина и увезла его. Это был тот урок, из которого Юра усвоил, что у всего должен быть один хозяин, а если это невозможно, то лучше стараться не желать ничего.

За ловлей пиявок день пролетел быстро. И вот ребята уже идут к автобусу. Миша тащит трехлитровую банку. Пиявок в ней так много, что кажется, в банке нет воды. «С этой гадостью ты в автобус не сядешь», — говорит ему учительница. «Тогда я остаюсь», — отвечает Миша. «Оставайся, скоро ночь», — говорит учительница. В ответ Миша, поставив банку на землю и поправив за поясом самопал, садится на ближайший камень. И вид у него такой, что всем ясно, дитя серым волком не напугаешь. То, что дитя нельзя оставить, понятно и ему, и учительнице. Противостояние долго не длится. Учительница, поднимаясь в автобус, говорит сквозь зубы: «Заходи, неслух».

Он отстоял свое богатство. В разборках девяностых, времени «назначенных собственников» и «собственников-самозванцев», отстаивать богатство будет сложнее. И пока «самозванцы», как Паниковский с Балагановым, катались по полу, вырывая друг у друга свое «богатство», «назначенные» забавы ради проигрывали в рулетку в Монте-Карло «богатство» на порядок большее. Напрашивается вывод: может, начинать нужно было не с пиявок? Ведь коммерческая не то что жилка, а «аорта» била в нем, пульсируя и ища выхода. И если хотел Миша жить в пряничном замке на берегу молочного моря, по которому плавал бы в золотой ладье с шелковыми парусами, то начинать, как потом выяснилось, нужно было с общественной работы. Быть полезным пионерии, комсомолу и так далее по цепочке. Тогда палец о палец не ударив, в эпоху обмена убеждений на сбережения, получил бы он свой кусок. Или, может, миловали его Небеса?

Но это будет потом, а тем временем автобус со школьниками по дороге в город попадает под обильный грозовой дождь и к школе подъезжает умытый и сверкающий. Дети, прыгая через лужи, расходятся по домам. Миша с Юрой направляются в ближайшую аптеку. Она под номером девятнадцать находится в двух минутах ходьбы от школы, на привокзальной площади. Там, поставив

банку с пиявками на прилавок, Миша говорит аптекарше: «Тут сорок штук. За каждую по десять». А чего «по десять», он не говорит. И Юра понимает, что он не говорит слова «копеек», видимо, думая, что могут дать больше. В воздухе повисает пауза. Пауза не тягостная, пауза, можно сказать, деловая. Посетители с ужасом смотрят на банку с кишащими в ней пиявками. Еще не произнося вслух ответа, аптекарша отрицательно качает головой. Миша опережает ее: «Возьмите по пять». Юра, чтобы скрасить следующую паузу, охрипшим за день сидения в холодной воде голосом вставляет: «Копеек». И в ожидании окончательного ответа они, как два мышонка, наблюдающих за хозяйкой из-под метлы, смотрят снизу вверх на аптекаршу, возвышающуюся над прилавком. «И даром не возьму, — отвечает она, — ваши пиявки не медицинские, а конские».

Миша забирает банку, и они выходят на улицу. Юра предлагает пойти в другую аптеку, ему жаль тех десяти копеек, что Миша потратил на банку, но так и не разбогател.

Теперь оставим их у аптеки и перенесемся в то время, когда Мише будет за пятьдесят. Время, нам хорошо уже знакомое. Соединим фантазию с известной нам реальностью и представим необычный парад, на котором могли бы встретиться все герои нашего рассказа. Парад, посвященный двадцатилетию капитализма, когда, согласно накопленному, проходят по проспекту полки богачей. А на трибунах — бюджетники. Те тоже стоят в порядке значимости. И будь там седовласый Юра, бюджетник и юморист, тянул бы шею из последних рядов. Так как это парад «наоборот», то открывает его не пехота, а техника, но вместо танков едут лимузины. Очередность прохождения участников парада зависит не от их вклада в экономику, а от того, кто и сколько может потратить и что себе позволить. И когда над лимузинами проносится стайка частных реактивных самолетов, громкоговоритель китайского производства торжественно вещает под фонограмму маршей: «Люди, сидящие в этих сверхзвуковых лайнерах, могут достичь и захватить любую недвижимость в любой точке планеты».

За лимузинами движется цепочка розовых «Бентли» и «Ламборджини». В них бывшие жены олигархов. Оказавшись на Западе, они развелись со своими мужьями по тамошним законам и теперь чувствуют себя свободными и богатыми. «Любой их каприз исполняется в два раза быстрее, чем у американок!» — летят восторженные комментарии из громкоговорителя. Сквозь окно ближайшей машины сверкает ослепительная улыбка из-под копны рыжих волос, и два зеленых глаза на миг пронзают трибуны.

Далее стройными рядами, чеканя шаг, проходят несколько коробок людей в непроницаемо черных очках. Громкоговоритель никак не комментирует их возможности, а торжественно зачитывает в это время приветственные телеграммы к двадцатой годовщине капитализма, присланные из братских капиталистических стран.

За ними движется рота банкиров. В руках у них надувные шары с названиями банков. Специальная установка во главе их колонны выпускает в воздух тысячи мыльных пузырей. «Владельцы роскошных вилл на Лазурном берегу», — поясняет громкоговоритель.

И вот вдоль трибун идет пестрая группа звезд эстрады, известных композиторов и продюсеров. «Богоподобные куми-и-иры!» — завывает громкоговоритель, игнорируя сразу первую и вторую Заповеди.

Тут же следом, на высоченных каблуках, с раздутыми на пол-лица губами, идут их тайные жены с квартирами в Лондоне и Париже, с семизначными счетами в банках на образование и последующую безбедную жизнь их тайных детей.

Немного погодя аранжированная под духовой оркестр мелодия песни «Мурка» открывает шествие потрепанной, то есть не в полном составе, но все еще в ярких малиновых пиджаках, бригады. «Двадцать лет — срок немалый...» — хрипит громкоговоритель. Посреди колонны несут, будто Ковчег на носилках с длинными ручками, золотой сундук с выложенным изумрудами словом «общак».

Следом, с синими одутловатыми лицами, идут, как характеризует их громкоговоритель: «Потомки тех, кто тайно разбогател еще в эпоху коллективной собственности». Среди общей одутловатости лиц особенно выделяется одно, с большой красной бородавкой на носу.

«Гордость за себя, вот что переполняет сегодняшних участников парада, — вещает громкоговоритель, — чем дальше от головной колонны движется процессия, тем шире веером ее участники держат пальцы».

А вдоль трибун идут уже владельцы непонятных совместных предприятий со счетами «ни там ни сям», за ними те, у кого счета «только там», и замыкают колонну те, у кого счета «тут», коротко, но неясно, ибо нет на них ничего.

Тем временем, посверкивая перстнями на безымянных пальцах, к трибунам подходит необозримая толпа предпринимателей, уже не молодых, но все еще с неисчерпанным потенциалом. То есть людей, покупающих дорогие машины, но не новые, и приобретающих недвижимость за границей, но в виде квартиры в Болгарии. «И то, и другое делается не прихоти ради, а как капиталовложение», — комментирует их возможности громкоговоритель. Они идут ряд за рядом. По количеству это дивизия. Идут молча. Когдатошние призывы «Слава труду!» и ответное «Ура!» воздуха не сотрясают. И вдруг кто-то, проведший ночь в клубе, куда не всех пускают, и даже выпивавший с человеком, который мог бы запросто купить многоквартирный дом, как закричит в сторону трибун: «Я не пальцем деланный!» Это вызывает на трибунах недоумение, потому как зрители уже битый час наблюдают проходящие колонны и не понимают, почему из этой, довольно скромной по возможностям, и вдруг такая самореклама?

На крике этом позвольте закончить репортаж с фантастического парада. И если б шагал рядом с крикуном более чем пятидесятилетний Миша, то спросил бы для начала: «У тебя где дача?» И выслушав ответ, убил бы выскочку фразой: «А у меня рядом с городом, и не одна, а четыре! И это еще не все…»

Теперь отмотаем фильм жизни назад, в тот момент, когда на заре своей предпринимательской деятельности стоит Миша у аптеки с трехлитровой банкой, в которой кишат пиявки. На вопрос Юры: «Пойдем или не пойдем в другую аптеку?» (вопрос, который он, как поросенок Пятачок Винни-Пуху, уже несколько раз повторяет, пытаясь поймать его внимание) — Миша, как бы очнувшись, вернувшись в реальный мир, дает непростой для него ответ: «Нет».

Они идут по привокзальной площади. На город спускаются свежие после грозы сумерки. В каждую лужу на площади они выпускают по нескольку пиявок. И гости белорусской столицы, выбежавшие из вагона, чтобы купить пирожок, или уже приехавшие и идущие с чемоданами, с недоумением смотрят на лужи с клубками расползающихся в разные стороны пиявок. «Мы знали, что это край лесов и болот. Но чтобы до такой степени...»

Они прощаются у привокзального скверика. Дальше им идти в разные стороны. Миша уходит по аллее с пустой банкой. Юра говорит ему вслед: «Жаль, что зря потратил десять копеек». Миша бросает через плечо: «Банка стоит сорок».

Десант

В то время, о котором здесь пойдет речь, пляжи Канарских островов не слышали русского языка. Советские суда заходили в гавани Лас-Пальмаса или Санта-Круса, но моряки на пляжи не шли. Моряки за время увольнения едва успевали обежать магазинчики, где торговали в основном индусы, знавшие несколько русских слов. Суда тем же днем отчаливали, а купленный на маленьких Канарских островах товар можно было затем встретить в комиссионках огромного Советского Союза в отделах радиотехники и ковров, косметики и часов.

Итак, летом тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года в порту Санта-Круса пришвартовался очередной теплоход с серпом и молотом на трубе. Портовый кран опустил в его трюм крюк, зацепил контейнер со спичками и… замер. Забастовка. А это значит — целую неделю гуляй, моряки, по городу сколько хочешь. Правда, свободные от вахты, по трое и в светлое время суток.

В первый день, еще не веря своему счастью, моряки на всякий случай пробежались по индийским магазинчикам, закупили что нужно и лишь тогда успокоились. На второй день огляделись. Заметили, вокруг публика отдыхает. Раскованные, вальяжные дяди и тети сидят в кафе, гуляют по набережной. На третий день кой-кому захотелось уже стать частью этой публики. И тройка в составе моториста, третьего механика и радиста, получив увольнение, двинула на пляж. «Вы представители великой страны, — напутствовал их комиссар у трапа, — чтоб вели себя по-человечески». Справедливости ради следует сказать, что это были не первые представители своей страны, кто отдыхал когда-либо на пляжах Санта-Круса. Бывали там и дипломаты, и известные артисты, но все это была публика, неотличимая от остальной. Однако времена менялись, в стране бурлила перестройка, и на курортах всего мира вот-вот должны были появиться не только баловни судьбы. Все шло к тому, что судьба, наконец, начнет баловать и народ. И гонцом грядущих перемен по трапу спустился первый десант из трех человек.

Светило солнышко, под ногами лежал теплый асфальт. Выйдя из порта и обогнув клумбу с цветами, троица повернула в сторону, где, по их мнению, должен был находиться пляж. К тому же, по пути располагался недорогой продуктовый магазинчик, «пристрелянный» заранее. Его хозяин, не чуждый бизнеса индус, за электробритву «Бердск», поторговавшись для приличия, дал три бутылки бренди «Фантадор». Худо-бедно, но каждому выходило почти по литру. Эти бутылки были тремя дополнительными гирьками, склонившими чашу весов хорошего настроения к гарантии отличного отдыха. Плюс обещанием будущего комфорта у радиста из-под мышки торчало судовое одеяло. «Как белые люди!» — не смог сдержать восторга моторист. На закуску, естественно, не тратились, бутерброды с котлетами, захваченные загодя на камбузе, грелись в целлофановом пакете вместе с глухо позвякивающими гранеными стаканами.

До пляжа было довольно далеко. Но логика подсказывала, что если идти по шоссе вдоль океана, то рано или поздно можно найти место, пригодное для цивилизованного отдыха. Проезжающие мимо городские автобусы притормаживали, водители предлагали подвести. Но денег не было, и маскируя стеснение, приходилось делать вид, что прогулка под палящим солнцем джентльменам в удовольствие. Наконец добрались до пляжа. Это была песчаная коса у океана, по которой женщины ходили в бикини с неприкрытой гру-

дью. Может, потому, что их было больше, чем мужчин, но в глаза бросились именно женщины. С непривычки расстилали одеяло, опустив глаза в песок. И первую бутылку пили, глядя на стаканы.

Когда выяснилось, что забыли взять воду, раньше всех освоился с резавшей глаза наготой третий механик. Он взял пустую бутылку и подчеркнуто небрежно прошелся вразвалку до торчащего из песка крана. Это было место, где отдыхающие омывали ноги, прежде чем сунуть их в шлепанцы. Там он наполнил бутылку теплой водой и там же из горлышка отхлебнул. На этот «выход леопарда к водопою» никто не обратил внимания, но по близстоящим женщинам, как ему показалось, пробежала незаметная глазу электроволна первобытного уважения к реальному самцу. Механик был чемпионом теплохода по поднятию двухпудовой гири, и если убрать начинающий выпирать живот и добавить кучерявую шевелюру, то по пляжным меркам вполне мог сойти за Аполлона. Внешность других членов тройки была не столь броской. Равно плотный моторист больше походил на колобка, сильно уступая механику в росте. Худенький радист с тонкими чертами лица рядом с ними выглядел интеллектуалом, кем, кстати, среди моряков и считался.

Народу на пляже было много, но лежали не густо. Метрах в десяти от одеяла, на котором расположилась наша компания, загорала, лежа на пестром полотенце, рыженькая дамочка лет тридцати. Лишь узкая полоска бикини перетягивала ее загорелые бедра. «Француженка», единогласно, как на судовом собрании, решили все. Причем «единогласно» не для протокола, а от чистого сердца. Именно такой, по всеобщему мнению, француженка и должна быть. С другой стороны на том же расстоянии, что и француженка, солидный седовласый мужчина в полосатом пляжном халате сидел в шезлонге, подставив лицо солнцу. Далее расположилась семья, папа, мама и двое детей, а рядом с ними огромный надувной кит-касатка. «Не знаю, что там думают защитники природы, — сказал третий механик, посмотрев на кита, — а в океане этих касаток, как головастиков. Каждый день их видишь». — «А вот акул не видно», — добавил моторист почему-то со вздохом. После чего все выпили по глотку. Закусили котлетами с камбуза, что дало радисту повод вспомнить, как он пытался поймать акулу в Красном море. В качестве наживки взял на камбузе кусок размороженного новозеландского барана пятидесятых годов. «И что, — догадался третий механик, — акула такое мясо есть не хотела». — «Не хотела», — кивнул радист. И вот в чем парадокс, пища с камбуза вкусная, а акулы ее не едят. «А у нас на севере, — вступил в разговор моторист, — мамонт в вечной мерзлоте пролежал, но собаки ему хобот отгрызли». — «Собаки наши, а акулы не наши», — цокнул языком третий механик. «Так это ж старые собаки, — глотнув бренди, продолжал моторист, — еще царских времен». Француженка, видимо, привлеченная разговором, который становился все громче, приподняла голову и посмотрела в их сторону. Моторист, заметив это, не смог подавить в себе рыцарский порыв и, подняв стакан, кивком пригласил скучавшую, как ему показалось, даму присоединиться. Тем временем третий механик и радист выпили еще по глотку и забыли, о чем был разговор. Лишь слова «царских времен» все еще висели в воздухе. «Вот потому-то революция и произошла», — снисходительно похлопал третий механик моториста по плечу. Рыженькая француженка продолжала с интересом смотреть на компанию. Моторист, не сводивший с нее глаз, снова решил пригласить ее присоединиться. Но как это сделать, не зная ни слова по-французски? Требовался некий международный жест-приглашение. Он поманил ее рукой и вдобавок похлопал ладонью по одеялу, как подзывают любимую собаку.

Но непонятливая француженка опустила голову на полотенце и, закрыв глаза, снова погрузилась в солнечные лучи.

За разговорами и бренди прошло еще полчаса. Разогретая солнцем кожа жаждала морской прохлады, отфильтрованный почками бренди искал выхода. Радист повел глазом по пляжу в поисках туалета. Взгляд его перехватил третий механик и переадресовал в сторону моря. Море всегда несет успокоение человеческому телу. Зайдя в воду и постояв немного с задумчивым видом, троица некоторое время поплескалась, охлаждаясь на мелководье, но ждала начатая бутылка, и как десантники по команде, все разом вышли на берег.

Разлеглись на одеяле с ощущением радости жизни. «Вот бы всегда так», — сказал моторист. «Деньги нужны, — цыкнул зубом третий механик, — электробритва не тот масштаб». — «Да, в следующий раз нужно заченчить что-то посолиднее», — согласился моторист. И вдруг оба подняли головы и уставились друг на друга. Обоих озарила одна и та же мысль. Ведь с постройки судна запасной серп и молот, что красуется на трубе, лежал в машинном отделении, в слесарке. А он из бронзы. А бронза — цветной металл, который можно снести в магазин к индусу, и тогда… Оба громко выругались, не в силах сдержать эмоций. «Что?» — не понял радист. «Серп и молот нужно продать», — пояснил моторист. «В масштабах страны?» — переспросил радист. «В масштабах страны и без нас продадут. А наш судовой вынесем в одеяле, как будто на пляж идем…» — «Нет, это как-то уж слишком», — почесал затылок радист. «Послушай, если не мы, то начальство его точно…» — третий механик снова ввернул крепкое словцо. Сидящий неподалеку в шезлонге пожилой мужчина в полосатом пляжном халате дернул головой. «Мужик не наш, а мат понимает», — тут же заметил третий механик. «Немец, я его давно раскусил», — сказал радист. «Точно, — подтвердил моторист, — и пальцев нет на левой ноге. Явно у нас в войну клешню отморозил. Ну, чтоб неповадно было», — предложил он тост. Поле чего все трое выпили с таким видом, будто это они когда-то загнали обладателя полосатого халата в снега и держали там, не давая поднять головы. «А мадам, что рядом, помоложе его будет, — закусив котлетой, кивнул в сторону мужика в халате моторист. — Опять же, в закрытом купальнике». — «Теперь они моралисты, — кивнул третий механик и громко, так, чтобы слышал обладатель полосатого халата, сказал: — Забыл, как над нашими бабами издевался?!» — «Не ори, пугаешь людей, — остановил его радист. «А все равно никто вокруг ни бельмеса не понимает», — махнул рукой третий механик. Пожилой мужчина пристально посмотрел на троицу. «Все, ша, будем тихо», — жестом успокоил его моторист.

Солнце стояло в зените. Пот градом катился с тел. Пили бренди без тостов. Чтобы восполнить потерю жидкости, периодически ходили к крану за водой. Немец, видимо, крепко испортил настроение третьему механику, и он становился все мрачнее и мрачнее, пока, наконец, не вспомнил, что расстался перед рейсом со своей подругой. Радист решил прийти к нему на помощь и рассеять тяжелые мысли, пока под влиянием бренди они не зациклились и не отравили всем отдых. «Что у тебя с подругой твоей произошло?» Третий механик задумался, видимо, желая выразить все максимально просто, не вдаваясь в подробности. Думал, думал и, наконец, сказал: «Была нормальная женщина, затем что-то щелкнуло в ее голове, и у нее на все появилось свое мнение». Такой ответ радист пропустил мимо ушей и выдал заранее приготовленную фразу: «Что-то я не могу понять твоих страданий. Если ты порядочный человек, то должен был на ней жениться. А если непорядочный, то не должен и страдать». — «Значит, если жениться, то страданий не

будет», — уточнил моторист. «Будут, но иного плана», — сказал радист. И в этих «Фантадором» усиленных словах вдруг почувствовалась всем некая мудрость. И недюжинный ум каждый в себе ощутил. «Нам не чужда философия, — изрек радист, — философия у нас в крови». Все с уважением и даже некоторой благодарностью за эти проникающие в сердце слова посмотрели на него. «Этому упитанному стаду, — радист обвел глазами пляж, — нас не понять». И заметили все трое, как вдруг поглупели лица вокруг, померк лоск пляжных нарядов, уменьшились и сморщились груди и выпучились дряблые животы. «Наших бы барышень сюда», — вздохнул моторист, без всякой философии подытожив то, о чем все подумали.

После второй бутылки захотелось простора. Троица прошлась вдоль пляжа до длинного каменного пирса, вдающегося в океан. От пирса параллельно пляжу тянулся канат с ограничительными буйками, от которого в глубину уходила сетка, защищавшая купальщиков от акул. Но в этом огороженном «лягушатнике» плавать было бы себя не уважать. А таблички, запрещавшие нырять с пирса, и прочие надписи на непонятных языках, как раз-таки подстегнули их поступить наоборот. Вступило в силу правило «запретный плод сладок». Как месяц назад, когда во время стоянки в Касабланке отвезли экипаж на пляж. Это был гигантский пляж, созданный самой природой, где многокилометровые дюны уходили за горизонт параллельно океанским волнам. Но вода холодная, никто не купался. Моряки по одному и группами лишь прохаживались туда-сюда вдоль полосы, где морская пена таяла на желто-оранжевом песке. И тут капитан, завладев всеобщим вниманием, указал на полуразрушенные строения в дальнем конце пляжа. «Местный город воров, — сказал капитан, — туда даже полиция ходить боится». И абсолютно непроизвольно ноги сами собой всех туда понесли. Тогда капитан загнал команду в автобус и увез обратно на судно. Но здесь капитана не было. Моторист, радист и третий механик один за другим нырнули с дальнего конца пирса в открытое, неогороженное пространство океана. Этим они вызвали парочку женских ахов и дополнительный к себе интерес находившихся на пляже отдыхающих. Для всех было загадкой: что на сей раз затеяли люди, пившие на солнцепеке бренди? В то же время никто из троицы не чувствовал, что нарушает какие-то правила, делает что-то не то. Это как швырнуть камнем в бродячего кота. Зачатки воспитания противятся, но проснувшийся инстинкт охотника шепчет: «Не упусти момент». Инстинкт всегда сильнее тех частей мозга, где сидит воспитание. И древний инстинкт, разбудивший в глубинах их душ не то перелетных птиц, не то вольных рыб, погнал всех троих в сторону горизонта. Плыли долго, а когда оглянулись, пляж показался им узкой полоской, по которой мелкими насекомыми ползали отдыхающие. Третий механик кивнул в сторону пляжа: «Лежбище котиков». — «И собачек», — добавил радист. После чего оба долго смеялись. Моторист, плавая вокруг, все не мог понять, что тут смешного. Затем третий механик нырнул и, выставив над волнами ладонь ребром, изобразил подплывающую акулу. Другой рукой он схватил радиста за ногу. Но тот не испугался, а мудро заметил, что акул не боится, ибо наелся котлет с камбуза. Шутка была оценена всеми. Затем моторист, пообещав, что достанет со дна жемчужную раковину, надолго нырнул, но дна, похоже, не достал. Все уже были рады, что вынырнул. Решив всех позабавить, третий механик нырнул, но неглубоко, и, выставив над водой волосатые ноги, изобразил девицу из синхронного плавания. «Смотрите, что я могу!» — попытался привлечь к себе внимание радист, желая тоже продемонстрировать какой-то водный трюк. Но на него долго не обращали внимания, а когда обратили, радист успел обидеться и трюка делать не стал. «Ну почему? — сказал он с досадой,

отплевывая морскую воду. — Сталин говорил тихо, с акцентом и полунамеками, но его все слушали и понимали. А я тут громко кричу нормальным русским языком, но никто меня не слушает и не понимает». Вопрос этот был больше риторическим, и на него никто не ответил, зато все долго смеялись. Но каждый по-своему. «Вот если бы ты был не в плавках, а в мундире и сапогах, мы бы тебя слушали, — выдавил сквозь смех моторист, чем, в свою очередь, рассмешил радиста так, что тот чуть не захлебнулся.

«Пусть бегут неуклюже», — хлопая в такт ладонями по воде, затянул во все горло моторист, наслаждаясь простором и свободой. «Крокодилы по лужам», — подхватили радист с третьим механиком. Но песню перебили хриплые слова, доносившиеся из мегафона подъезжающего катера. Мегафон хрипел, судя по тону, нечто серьезное, из чего всем троим стало ясно, что катер направлялся именно к ним. «Что говорит?» — спросил третий механик у радиста, по долгу службы обязанного знать английский. «Молчим, — сказал радист, — отвечать буду я. А пока делаем вид, что катера не замечаем». В то же время по скоплению народа на пляже у воды было ясно, что появление катера и слова, летящие из мегафона, вызвали там бурный интерес. Покачиваясь из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть происходящее, отдыхающие напоминали колонию пингвинов.

Когда к нашим друзьям вплотную подошел спасательный катер, то на двенадцатиметровое судно с командой из двух моряков и капитаном в рубке никто из них не обратил внимания. Им бросили спасательный канат с поплавком, напоминающий тот, что официально называется на советском флоте «конец Александрова». Не заметить его уже было нельзя. Все трое тут же жестами стали показывать, что в спасении не нуждаются. С катера повторно громко рявкнул мегафон. Делать нечего, пришлось ухватиться за испанский вариант конца Александрова, и минуту спустя троица стояла уже на палубе. Из рубки вышел капитан. Задал вопрос по-испански. «Спик инглиш», — сказал радист и почему-то расправил плечи. Капитан перешел на английский, спросил, кто они и откуда. Радист ничего не ответил, а только указал рукой на пляж. Капитан переспросил, из какой они страны. Радист молчал. Третий механик и моторист плотнее придвинулись к радисту, поняв, что если он не отвечает, то капитан явно спрашивает не то. Понимая, что сопротивление бесполезно, но, чем черт не шутит, каждый мысленно разобрал себе в противники по матросу. Капитана взял на себя третий механик. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным постукиванием мотора. Капитан вынул из кармана и зачитал бумажку, из которой радист понял, что нарушение правил купания грозит им штрафом. «Штраф хочет влепить», — перевел остальным радист. От этих слов третий механик посмотрел на капитана, как Верещагин на Абдуллу после смерти Петрухи. Капитан опустил глаза и за ту секунду, пока их опускал, похоже, прикинул, что из всех троих лишь один говорит по-английски, но явно не англичанин, что происхождение троицы неизвестно, адреса своего они не выдают, но в лицах нечто такое, чего он прежде среди отдыхающих не встречал. И когда вновь поднял глаза капитан, то уже знал, что если еще раз повторить им о штрафе, то придется затем ремонтировать катер, а может, и поднимать его со дна. Какой же он после этого капитан, если допустит порчу вверенного ему судна? В конце концов, что ему, больше всех нужно? Он не пограничная служба, а спасатель. С пляжа отдыхающие приплыли, на пляж он их и вернет.

Их высадили на дальнем конце пирса, по которому они прошли походкой победителей и, будто три альбатроса в колонию пингвинов, снова вернулись на

пляж. Несомненно, они были героями дня. Но тут одна пышная дама бальзаковского возраста, если ее описывать по-местному, по мнению же моряков — перекормленная старая мымра, вдруг, тряся вторым подбородком, заговорила что-то явно негативное на непонятном языке. Моторист хотел ей тут же ответить. «Не уподобляйся», — остановил его радист. Но в основном люди вокруг были приятные. Купаясь во всеобщем внимании, как только что вернувшиеся из полета космонавты, слегка страдая от гравитации, троица дошла до одеяла. Радист и третий механик устало растянулись на нем. Моторист, встав на одно колено, принялся открывать последнюю бутылку «Фантадора». Доверху разлил по стаканам… и тут случилось то, чего никто не ожидал. К ним сама подошла рыженькая француженка и, приложив руку к голой груди, видимо, успокаивая трепетавшее от волнения сердце, залепетала что-то вроде: «Как вы нас здесь всех напугали». Моторист выпрямился в полный рост и широким жестом, мол, что бы вы тут ни думали, а мы люди щедрые, протянул, по ходу коснувшись кулаком ее груди, полный стакан ей под нос. На секунду француженка замерла, затем резко развернулась и, всплеснув руками, будто рязанская баба, ушла, что-то постоянно повторяя. Моторист сел на одеяло, посмотрел на зажатый в руке стакан и сказал, пожав плечами: «Ну и чего ей не хватало?» — «Все женщины одинаковые, — махнул рукой третий механик, от которого не ускользнуло то, как всплеснула руками француженка, — пусть уходит, нам больше будет». — «Что больше, это правда, — согласился радист, — но хорошо б, если бы дамочка пригубила. А еще лучше, если б осталась». Моторист кивнул в знак согласия, почему-то с тоской посмотрел на небо и изрек: «Дама, как говорится, любой компании украшение». — «А такая дама — украшение вдвойне», — голосом Юрия Никулина добавил радист. Хохотали так, что расплескали бренди в стаканах.

До вечера было далеко, и время увольнительной позволяло еще погулять. Но закончилась последняя бутылка, а пляж наскучил своей предсказуемой преснятиной, хоть поначалу и много обещал. Всем троим вдруг захотелось домой, на судно. «Пора, — сказал Жора, — судовая труба зовет». Да и без зова трубы всем не терпелось рассказать по каютам про то, как сегодня «зажигали на пляже». И хоть «сегодня» еще продолжалось, для всех это был уже прожитый день, ибо бренди был выпит и все, что могло случиться, уже случилось, а рассказ моряка всегда увлекательнее жизни. Троица поднялась, вытряхнула, взяв за концы одеяло, подняв мелкую песочную пыль, облачком полетевшую в сторону «вражеского шезлонга». «Кто не спрятался, я не виноват», — подмигнул владельцу полосатого халата третий механик. Затем жестом, обращенным ко всему пляжу, указал на бутылки, мол, кто хочет, может сдать, мы не возражаем, и двинулся в сторону шоссе. За ним медленно, как на третий день свадьбы по сельской улице, пошли, пошатываясь, моторист с радистом, которого моторист поддерживал под руку, ибо того, по его словам, «слегка развезло». Но песня творит чудеса, и как только затянули они в два горла «Море-море», вдруг выпрямился радист и даже стал приплясывать.

У шоссе возле них притормозил автобус. Но по раздраженным жестам можно было понять, что на сей раз ответом водителю было нечто гусарское, вроде: «Че стал? Немытая морда. Баре гуляют!»

Сидящий в шезлонге пожилой мужчина в полосатом халате долго смотрел им вслед. Его спутница, взглянув на уходящую троицу, сказала: «Слава Богу, Алексей, это конец». — «Сомневаюсь, — покачал он головой, — судя по вчерашней почте из Москвы, это только начало».



Дарья ЛЁСОВА

Я только с Небушка сошла…

* * *

Песня моя, песня,
Песня-журавлинка!
Ты в каком прилесье
Спряталась травинкой?
Что же перестала
Мне крылато сниться?
Ты же так летала
Радостной синицей!
А теперь — как ночка.
Вся душа измята.
…О, накрой листочком,
Ласточка, меня ты!..

* * *

Не изменить нам ничего,
Хоть все нам кажется: меняем…
И я лечу вновь без него,
Без друга в стае.

О Мамка! Ласточка-душа,
Не плачь, что я вся — диво…
Я только с Небушка сошла…
О, как же там красиво!..

* * *

Старенькою стала мама
И боится смерти.
В каждом шаге ее — драма,
Слезы, горе сердца.
Отцвела, как отцветают розы,
Ей уже — не до отваг.
Сколько на судьбу ее мороза

И ночей затравленных бродяг!
Ой, беда! И грусть моя, как птица,
Будто песня, что поет Дин Рид.
Где бы на ночь нам остановиться?
Мама плачет, с Небом говорит…

* * *

Стихи… Стихи мои, стихи…
Стихи, как реки, как озера.
То вы в рыданьях, то тихи,
То вдруг — шторм в море!
И я молчу тогда, молчу…
Молчу, не в силах передать я,
Как плачет сердце, как лечу
Туда, где звезды-братья!

* * *

Ах, никто ей не пишет,
Век горюет одна.
Мама — белая вишня,
Что стоит у окна.

Мама, бедная мама,
Как во мне Ты болишь!
И моя судьба — драма,
Тоже — вишенки тишь…

* * *

Бог с вами, девчата,
Бог с вами!
Хочу я остаться в лесу.
И с солнечными борами,
И с солнечною тоской.

Хочу оставаться всегда я,
Как поле, как реченька, луг,
Как Песня из сердца взлетает
К тебе, милый Друг!

Не нужно дурного богатства,
Где нет и в помине души.
Собой бы мне только остаться
И в шуме людском, и в тиши!

* * *

Я Тебе не сказала так много,
Что должна была — через века!
Запылилась моя дорога,
Потемнели от слез луга.

Я стою под открытым небом,
Заметает меня тоска.
Золотой мой, о мой серебряный,
Я — взволнованная река!

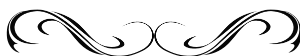
* * *

Мне так хорошо в тишине!
Даже тебя не надо!
Нет теплей этих дней,
Нет милей чудо-сада.

Больше не подходи,
Разные наши пути.
Как же прошло все это?
Ушло за туманы лето…

Поезд-призрак увез
Подальше от слез…
Больше не подходи.
Разные наши пути…

Перевод с белорусского автора.





Анатолий МАТВИЕНКО

Подбросьте меня домой

Рассказ

Огненное действо завораживает, особенно в ночи. Поэтому для казни на костре выбирают темное время суток.

В предутреннем сумраке на площадь Кампо-деи-Фьори проследовала процессия молчаливых мужчин в одинаковых рясах. Капюшоны скрывали лица, придавая фигурам зловещий вид.

Несмотря на ранний час и февральский холод, на площади было людно, так же как и в церквах, где благочестивые служители церкви читали молитвы о спасении грешной души, что вот-вот вознесется к небесам.

Богохульника велено умертвить без пролития крови, ибо такой вид казни открывает дорогу к Божьему престолу. Иными словами, человека сожгут заживо, чтоб страдания искупили грехи.

Еретик не смотрел на палачей и толпу. Молился ли? Неизвестно. Злые языки утверждали, что он почитал не Христа, а некого языческого бога из Древнего Египта.

Костер горел вяло, муки грешника длились не менее часа. Когда пламя охватило одежду, дым заполнил легкие, а чудовищная, нестерпимая боль увеличилась стократ, осужденный вскинул глаза к светлеющему небу с абрисом Луны. Если он о чем-то сожалел, покидая этот мир, так только о невозможности взглянуть на земной шар со стороны, увидеть гармонию небесных тел и тем самым убедиться в правильности своих суждений, за которые отправился на казнь…

…Четыреста тридцать лет спустя двое очень разных людей достигли Луны, но чувствовали себя немногим лучше умиравшего на костре. Корабль «Чанчжэн-Ангара-12» падал на бугристую от кратеров поверхность, беспорядочно кувыркаясь в пространстве. Из командного отсека спускаемого аппарата вырывались остатки воздуха. Командир экипажа Руслан Белько сумел-таки в этой круговерти загерметизировать скафандр и даже помог единственному подчиненному, после чего они в четыре руки попытались выровнять корабль.

Контрольная панель горела красным, словно подсветка стрип-бара. Автоматика управления маневровыми двигателями выдала прощальный импульс, опорожнив полностью бак одного из них, в результате чего посадочный модуль превратился в волчок массой около тридцати тонн.

В отличие от костра на римской площади, все произошло очень быстро. Космонавт с тайконавтом едва успели погасить скорость и перевести отвесное падение в пологое. А разница с мягкими посадками американских и русско-китайских экипажей свелась к тому, что гигантский волчок вспахал борозду в лунном грунте и затих, лишенный тепла, энергии, воздуха. Главное — оставшийся без связи.

Тряхнуло и приложило основательно. Кресла, позволяющие выжить при огромных взлетных перегрузках, строились с расчетом, что пилотов корабля будет плющить только в одном направлении; вариант, что оба окажутся внутри громадной центрифуги, вряд ли кто-то предусматривал.

Через трещину просочилась лунная пыль. Ее кристаллики собрались внизу и поблескивали на уплотнителе иллюминатора.

Командир судорожно сглотнул слюну. От перепадов давления — сначала разгерметизации, потом восстановления из баллонов скафандра — в ушах немилосердно трещало. Следующим звуком был голос напарника:

— Ты цел, кэп?

Он осторожно набрал полную грудь воздуха. Тело отчаянно жаловалось — правый бок как сплошной синяк. Но не было самой опасной — резкой колющей боли, когда сломаны ребра. Значит, жить будем. Долго ли?

— С приездом на Луну, напарник.

Перекошенный от удара люк они открыли, упираясь ногами изнутри. Сапоги скафандров на полпальца ушли в лунную пыль.

— Красиво, кэп.

Точно. Лунный пейзаж потрясает, даже виденный тысячу раз на фотографиях из предыдущих экспедиций. Особенно контрастом ярко освещенных мест и чернильной тени. Даже солнечный диск над лунным горизонтом и уютный шарик Земли в зените выглядят как-то иначе, чем из иллюминатора, обрамленные россыпью звезд, словно драгоценные камни на фоне мелких бриллиантов.

И в этой красоте придется умереть.

— У Робинзона были вода и воздух. Сколько хочешь, — в наушниках отчетливо слышалось, что голос китайца погрустнел. — Если скажешь зваться мне Пятницей, кэп, обзову тебя расистом.

«А у астронавта Марка из «Марсианина» был здоровенный жилой комплекс», — подумал Руслан. Тут же встряхнулся, прикрикнул на себя: нельзя расслабляться. Пока живы, нужно бороться, хотя бы прикинуть шансы на спасение.

— Ладно, Четверг, смотрим, что уцелело.

У обесточенного корабля не спросишь, сколько чего сохранилось в баллонах и контейнерах, какие системы поддаются оживлению. Тем более, часть запасов недоступна. Воздух и воду можно добавить в скафандры через клапаны, а пищу, медикаменты — нет.

И памперсы не заменишь. Если придется сдохнуть — то в ароматной атмосфере засорившегося нужника.

С целеустремленностью луддита тайконавт отодрал панель инструментального отсека.

— Емкости с виду в норме… Кэп! Мне показалось… или бахнуло после того, как мы отошли от «Хуанхэ»?

— Я уж думал об этом… Секунд семь, не меньше. Надеюсь, грузовик не поврежден. Так что есть два пути — достучаться до Земли или заарканить наше сокровище.

Сосредоточенная физиономия Ли едва проглядывала через стекло шлема. Мелкий китаец отличался почти европейскими чертами лица, кроме характерной для азиатов формы глаз.

— И что это было? Метеорит? Самый важный шуруп, что выпал на орбите из предыдущих кораблей?

Руслан пожал бы плечами, если б позволил жесткий крой амуниции.

— Не думаю. Лунное пространство не так загажено по сравнению с околоземным. Что-то рвануло, как на «Аполлоне-13»… Или просто качественная китайская сборка.

— Или русская, — не остался в долгу тайконавт. — Если делали в конце месяца с ядреной мамой и кувалдой вместо отвертки.

Они прекратили соревноваться в националистических предрассудках и убедились: воздуха хватит дней на пятнадцать, при экономии — чуть больше. Если повезет, а после неудачи при посадке их должно просто распирать от удачливости, получится оживить буровую установку и добыть из глубины кристаллический лед. Тогда воды и кислорода хватит. Между партнерами не разыграется драма — умирать двоим либо один пожертвует собой, чтоб продлить жизнь второму.

Помереть предстоит от голода.

Они копались в изувеченном корабле до захода солнца, словно старьевщики в свалке рухляди. Как бы ни тренировались на Земле, перчатки скафандра мешали орудовать инструментами весьма и весьма. Радовало лишь, что выроненный гаечный ключ падал в шесть раз медленнее, и лунные ремонтники наловчились ловить его на лету.

Устраиваясь в кресле для отдыха, Руслан поправил кабель от запасных аккумуляторов, что питали обогрев скафандра. Напомнили о себе ушибы при посадке.

— Ли… Пока работали, я не обращал внимания…

— На что, Рус?

— Не знаю. Где-то за час до заката вроде как померещилось. Выкручивал решетку антенны, чувствую — ты рядом. Поворачиваюсь — нет тебя, ты с другой стороны.

— Словно кто-то третий за нами подглядывает, — резюмировал китаец. — Отличный глюк, кэп. То ли еще будет, когда в мозгах помутится от голода.

Они позволили себе четыре часа сна.

Если надеяться на помощь Земли, нужно спать как можно больше — во сне потребности снижены. Но до Земли около четырехсот тысяч километров, а прямо над головой летает спасение — грузовик «Хуанхэ». По плану, экипаж должен был пробурить скважины и определить место с максимальным количеством подлунного льда. Потом полагалось установить радиомаяк на ровной площадке и посадить «Хуанхэ» в беспилотном режиме. В его контейнерах находится конструктор «Лего» для взрослых — первая очередь постоянно действующей базы в Море Спокойствия на пятнадцать человек.

Когда пара квартирьеров поднялась после короткого отдыха, им не хватало всего двух мелочей: исправного маяка и связи с грузовиком.

В этой части Луны наступила долгая ночь, она длится две земных недели. Эта ночь гораздо светлее земной: родная планета ярче лунного диска, да и звезды сияют ярче, их лучи не увязают в атмосфере. Но уцелевшие солнечные батареи бесполезны, половина аккумуляторов вышла из строя…

— Боюсь, это не последний поганый сюрприз, кэп, — вздохнул Ли по поводу электропитания.

Отработанная на Земле и крайне неприятная ситуация — выживание на безлюдном космическом теле около разбитого корабля — стала для них реальностью.

Руслан отправил команду в количестве одного тайконавта промышлять с бурением, сам вытащил из корпуса изрядно покореженный кар. О поездках

можно даже не мечтать, тем более — расходовать на движение дефицитное электричество из батарей лунохода. Но его радиостанция рассчитана на связь с посадочным модулем с дистанции в полутораста километров.

Столько же до «Хуанхэ», когда его звездочка будет чертить линию в вышине. Скорее всего, надежный трафик сохранится минут десять-пятнадцать, не больше. Нужно успеть задать полетную программу, чтобы грузовик еще раз обогнул Луну и автоматика включила тормозные двигатели до того, как модуль снова войдет в зону уверенной связи.

— Воды ноль-два процента, кэп! — донеслось с противоположной стороны площадки, которую неуправляемый корабль избрал последним пристанищем.

— Неплохо. Бури дальше. Даю тебе еще четыре попытки.

Без солнечных батарей дальше транжирить энергию опасно.

— Как успехи, Рус?

— Передатчик живой. Остается дождаться грузовика. Как ты думаешь, нас далеко унесло на запад?

— Километров полтораста. Плюс-минус пятьдесят, — слышно было сопение Ли, он усердно орудовал буром. — Мы точно не выскочили за Море Спокойствия, там дальше сплошь скалы и цирки.

И где-то к югу лежит посадочный модуль «Аполлона-11». Толку с него… На Луне разбросана техника десятков экспедиций — с экипажами и без. Но нет ни одного герметичного отсека, где можно открыть забрало, перекусить. Да хотя бы спину почесать!

Наконец на внутренней поверхности остекления шлема побежали символы об установлении коннекта с грузовиком. Руслан едва сдержал волнение. Сердце билось, как отбойный молоток, частое дыхание даром сжигало драгоценные литры кислорода…

— Что там, кэп? — бросил работу Ли. Не вмешиваясь в манипуляции старшего, он задрал голову вверх. — Вижу его! Идет с востока, красавчик!

— Не ори под руку… Есть… Вижу интерфейс «Хуанхэ»!

Обеспокоенный длинной паузой, китаец осторожно спросил через пару минут:

— Не томи, кэп. Удалось?

Вместо ответа Руслан подошел к товарищу и положил ладони в перчатках ему на плечи.

— Беда… Комп «Хуанхэ» отвечает — недостаточно приоритета доступа.

Узкие глаза азиата тревожно расширились.

— То есть… Командир, это получается — отдана команда из ЦУПа… На коррекцию орбиты или еще что-то, корабль перешел под управление Земли… Мы его не перехватим! Рус! Мы в ловушке!

— Хуже, — проскрипел командир. Он уже успел прояснить для себя ситуацию. — Нас списали.

— Не может быть! — взвился китаец. — Даже когда беспилотник замолкает, до него неделями пытаются достучаться!

— Вспомни «Челленджер». Когда он рванул, с его экипажем пробовали связаться? Ни разу. Только потом искали обломки, не торопясь. Мы не знаем, что передали камеры «Хуанхэ», какая в ЦУП ушла телеметрия с нашей лоханки. Радиосигнала нет. Визуального контакта — тоже нет. Нас считают покойниками.

Не хотелось верить… До тайконавта постепенно дошел весь ужас ситуации.

— Море Спокойствия со стометровым рубцом от нашей посадки они осмотрят в телескопы, когда его осветит Солнце. Увидят обломки корабля и пропаханную борозду… Место будущего мемориала в честь двух погибших героев. Через тринадцать дней, — китаец впервые за время экспедиции соскочил с английского и выдал эмоциональную тираду на родном языке. Вероятно, не совсем приличную. — Как назло, над головой не пройдет ни один из искусственных спутников Луны!

— Теперь считаем вместе, — подвел к неутешительному выводу командир. — Буксир уже на подходе к околоземной, его нужно заправить, и он вновь готов тянуть корабль к Луне. Но у Земли сейчас нет аппаратов на орбите с посадочной ступенью для Луны! На подготовку внепланового пуска нужно недели две, а команду заправлять ракету дадут только убедившись в нашем здравии. То есть, если не продержимся месяц, на помощь Земли можно не рассчитывать.

Не говоря о том, что при известии о катастрофе все построенные корабли бросятся разбирать по винтикам в поисках возможной причины неисправности. Так что месяц для нового земного корабля — чересчур оптимистичный срок.

— Остается «Хуанхэ»… Но им не решатся рисковать без уверенности, что на Луне ждет наша парочка. Мы в заднице, кэп.

Тем более, грузовик не рассчитан на горизонтальный полет у поверхности. Он сядет на облюбованное ровное место. Подобие радиомаяка изготовить несложно… Но как заставить аппарат сойти с круговой орбиты? Как достучаться до ЦУПа через четыреста тысяч километров с отчаянным воплем «мы живы!»…

С этого часа передатчик лунного электрокара долбил в пространство простейшую комбинацию символов: три коротких, три длинных и три коротких. Мало кто знает азбуку Морзе, но сигнал SOS известен практически всем.

У ранних лунных экспедиций рации были еще слабее. Небесный свод обшаривают чувствительные радиотелескопы — с поверхности и с орбиты. Поймать сигнал с Луны сможет даже радиолюбитель, вооружившись вполне доступной аппаратурой… Если только кто-то пожелает нацелить направленную антенну на Море Спокойствия.

Руслан и Ли теперь практически все время проводили в креслах. Каждое движение, каждый вздох, каждый удар сердца транжирили невозобновимые запасы.

Голод, буквально разрывавший изнутри, скоро поутих. Тела смирились с отсутствием еды.

Покореженный и негерметичный корпус спускаемого аппарата давал какую-то защиту от космической радиации. Скафандры не рассчитаны на пребывание в них неделями, после длительного выхода в открытый космос полагается принимать пилюли, выводящие ионизацию из организма. Впрочем, это была наименьшая из проблем.

Потом Ли сделал отличную штуку, позволявшую смешать внутри баллона питательный концентрат с жидкостью, а раствор подать через клапан в скафандр. Руслан, не желая отставать от подчиненного, сумел добыть из грунта граммов триста воды. Ее можно выпить. Или разложить на кислород и водород, если хватит заряда в аккумуляторах.

С отчаянием обреченных они пытались достучаться до электронных мозгов грузовика и в очередной раз любовались сообщением об отказе. Быть может, в Центре управления полетами когда-нибудь проанализируют файл

бортового компьютера и обнаружат попытки обращения к нему, поймут, что своими руками угробили экспедицию… Но будет поздно.

Понимая, что получает дополнительную и совершенно ненужную дозу жесткого излучения, Руслан без особой причины вылез на поверхность. Шли шестые земные сутки после аварии.

Он присел на раму электрокара. Вокруг ничего не менялось. Без прикосновения человеческих рук — так продолжается миллионы лет. Как обычно синеет Земля в белых завитках облаков, светят немигающие звезды.

Семье, наверно, уже сказали. Вряд ли прозвучало «они погибли». Скорее всего, чиновник Роскосмоса с постной физиономией промычал: «Мы сохраняем надежду, пытаемся восстановить связь, определить местонахождение…»

Каждый космонавт, астронавт, тайконавт, укладываясь в ложемент перед стартом, прекрасно знает: шансов не вернуться у него гораздо больше, чем, например, попасть под колеса, перебегая Московскую кольцевую… Руслан запретил себе думать об этом дальше и вытащил фотографию дочки.

В чипе памяти хранятся тысячи фото, многие часы домашнего видео. Но в каждый полет он брал с собой этот бумажный снимок, где Галочка совсем маленькая, лет шесть. Она стоит, бесконечно гордая, на фоне двух слонов в цирке на Цветном бульваре.

Она уже никогда не спросит, встретит ли ее папка из школы. Потому что не встретит никогда.

Однажды Мария, когда дочка будет в школе, снимет со стены мужской велосипед. Потому что Галочка больше не поедет с папой по Звездному.

Из квартиры постепенно исчезнут его вещи. Останутся, наверно, только фотографии и некоторые сувениры, глубоко спрятанные, чтобы не тревожить рану каждый день.

Он был уверен, что Галочка не забудет его, сколько бы ни прошло лет. Они невероятно близки, связаны невидимо, но чрезвычайно крепко. Это бывает, когда дочь похожа на отца, такая же невысокая, крепкая, чернявая, с упрямо вздернутым маленьким носом.

Она не навестит его могилу, потому что в Звездном похоронят пустой гроб. Вряд ли поколение Галочки застанет частные полеты на Луну.

Глядя на детское лицо между двух хоботов, Руслан остро чувствовал — ему не так страшно умирать самому, сколько оставить навсегда своего ребенка.

Приближение Ли он скорее ощутил, чем услышал: в вакууме звуки шагов не разносятся, а дыхание напарника звучит в наушниках шлема независимо от расстояния.

— Ваши живописцы достигли изумительного мастерства, синьор.

Голос был начисто лишен китайского акцента.

Вот так сходят с ума. От отчаянья, от безысходности, от близости неминуемой гибели.

Возле корпуса разбитого корабля стоял немолодой мужчина в чрезвычайно странной, старомодной одежде. Без какого-либо признака скафандра или дыхательных приборов. В безвоздушном пространстве. При температуре минус полтораста по Цельсию.

Приглядевшись, Руслан заметил, что через силуэт лунного аборигена пробивается свет ярких звезд. Это неожиданно успокоило.

Полупрозрачный, значит — голографический, всего-навсего дурацкий розыгрыш Ли. У китайцев вообще странное чувство юмора. Год назад в Приземелье во время ремонта телескопа в открытом космосе тайконавт протянул

моток синей изоленты. Сказал — бери, я знаю, у русских это самый популярный инструмент.

Если напарник хотел приколоться, то лучше бы пробовал в первые сутки, пока не узнали о проблеме с грузовиком. Сейчас любая шутка выглядит глупо.

— Ли! Подойди ко мне. Срочно.

Пока напарник выбирался из спускаемого аппарата, мужчина стоял недвижимо. Он был одет в кожаный жилет поверх темной сорочки с высоким воротом, на плечи накинут плащ. Короткие полосатые штаны переходили в панталоны, на ногах красовались башмаки с массивными прямоугольными пряжками. Голова оставалась непокрытой, но уместно ли было в этом упрекать незнакомца?

— Да, кэп… А это кто?!

Изумление он воспроизвел вполне натурально, и Руслан вздумал подыграть.

— Да вот, гуляет. Я решил тебя позвать. Вдруг — твой знакомый.

Непонятный субъект снова заговорил.

— Прошу прощенья, синьоры. Надеюсь, не потревожил, не оторвал от трудов? Не будете ли вы так любезны позволить мне на время составить вам компанию?

Его выспренняя и несколько старомодная речь, хоть и прозвучавшая на современном английском, ввела в замешательство обоих.

— Рус… ущипни меня… Или ударь… Кто это? Что это?!!

У командира холодок пробежал между лопатками. Шутка зашла слишком далеко и перестала быть шуткой. Ли не врет.

— Позвольте развеять недоразумение, синьоры. Я не причиню вам зла. Меня зовут Филиппо. Я тут уже давно. Искренне рад, что вы спокойно и смиренно приняли мое появление. Раньше… Это примерно пятьдесят или шестьдесят земных лет… Сюда прилетали другие. Я пытался с ними говорить — тщетно. Они испугались и быстро покинули Луну.

— Ли! Вот тебе и причина, почему американцы заменили съемки на Луне постановочными, а сами свернули программу «Аполло».

— Да, теперь летят на Марс, а не на Луну, — китаец чуть успокоился. По крайней мере, не был на грани истерики.

Руслан глубоко вдохнул дефицитный воздух, чтобы задать следующий вопрос.

— И как вам на Луне, синьор Филиппо?

— Одиноко. Скучно. Безопасно. Располагает к рассуждениям и размышлениям. За четыреста лет привыкаешь ко всему.

«Голограмма» развела руками, собственно, это был ее первый человеческий жест.

Чувствуя себя едва ли не полицейским дознавателем, космонавт продолжил:

— Значит, вы родились здесь четыреста земных лет назад?

— Отнюдь! — на едва различимом усатом лице мелькнула гримаса, которую Руслан затруднился истолковать. — Родился я на Земле. Увы, синьоры, в тысяча шестисотом году меня сожгли на костре.

— Четыреста тридцать… — машинально уточнил Ли. — Сейчас две тысячи тридцатый. Как говорят в Европе — от Рождества Христова.

— А вы не верите в Христа? — живо отреагировал загадочный субъект. — Точно как те, что оставили странные знаки с полосами и звездами.

Они постоянно молились какому-то своему богу, поминутно просили помощи и совета. Вместо «спаси Господи» говорили «Хьюстон, у нас проблема». А вы — веруете?

«Я — нет, — подумал Руслан. — А мой товарищ верит в Святой Юань и в заветы Мао Цзэдуна».

— Ю-ань, — по слогам вымолвил Филиппо. — Никогда не слышал про такое божество. Многое, наверно, изменилось на Земле.

— Я же не говорил… — Ли обернулся к командиру.

Оба поняли — покойник читает их мысли. Это было совсем неприятно. Думать надо потише!

Филиппо разразился пространной тирадой о ложном культе Христа, о великом едином Боге, о котором знали еще египтяне, об откровениях Гермеса Трисмегиста и прочих абстрактных материях, видимо, весьма актуальных в шестнадцатом веке. Но не в двадцать первом. И командир земного экипажа прервал монолог.

— Так вы — еретик, синьор. Неудивительно, что вас сожгли на костре. Как Джордано Бруно.

Широкую улыбку на лице Филиппе различили оба путешественника.

— Воистину лестно, синьоры, что это имя помнят столько веков спустя.

— Вы что — его знали? — При всей своей абсурдности и невозможности, беседа с лунным жителем начала занимать Руслана.

— Мне не нравится прозвище «Джордано». Крещен я был как Филиппе Бруно. К вашим услугам, синьоры.

— Но как вы попали на Луну?! — простонал Руслан.

— В сущности, так же, как и вы. Главным было желание. У вас имелась ракета, поэтому сумели добраться сюда живыми. Перед тем как испустить дух, я обратился к Единому Богу и умолял его… Он мог спасти меня от костра, загасив его ливнем. Но, позволю себе предположить, Всевышний узрел в моей душе более сильное желание, нежели продолжить существование в бренном теле: увидеть Землю с высоты Луны, — Филиппе выдержал небольшую паузу, давая собеседникам возможность впитать услышанное. — Молитва или ракета — не столь значимо, синьоры. Гораздо важнее захотеть. Пусть ценой жизни.

У последней черты, в компании давно усопшей знаменитости, уместно было обсуждать только возвышенные материи.

— Как вы, наверно, знаете, синьор Филиппе, мы тоже близки к оплате самой тяжкой ценой. Мой товарищ одинок, я оставил на Земле жену и дочь. Стоило ли оно того? Вероятно — да. Но у нас были совсем другие цели.

Так, в диалогах с великим еретиком, проходили часы и дни. Ли больше слушал, Руслан подбрасывал реплики. Джордано Бруно вещал. Он пытался выговориться за четыреста тридцать лет!

С дотошностью человека науки призрак тщательно изучил свою «посмертную ипостась». Первые пару столетий он был абсолютно прозрачен, не видел частей иллюзорного тела. Потом начал уплотняться. На глазах у Руслана приподнял мелкий камушек. При попытке прикосновения к покойнику перчатка скафандра проваливалась, практически не встречая сопротивления.

Пару раз Филиппе показывал настоящие фокусы. Он вдруг растворился в сумерках, в таком полупрозрачном виде проник в спускаемый аппарат и вернулся наружу при затворенном люке, впитываясь в стенку, как вода в губку. Без толчка ногами взлетел метров на двадцать и описал почетный круг возле места крушения.

— Если так, вы же, наверно, способны вернуться на Землю, — заметил Ли.

— Не исключено. Но не буду.

— Земля изменилась, — уверил его Руслан. — На месте вашей казни стоит памятник, а католическим властям крайне неловко, что тогда погорячились.

— Властям… Стало быть, Рим по-прежнему под папским игом?

— Нет! — улыбнулся космонавт. — Италия едина. Флоренция, Рим, Милан, Сицилия — теперь это одно государство, управляемое выборными правителями. Папский дворец и площадь Святого Петра стоят на том же месте, только на площади происходят митинги мусульман, их много приехало из Ближнего Востока и стран Магриба.

— Что же требуют мусульмане? — удивился Филиппе.

— Как что? Пристроить к собору Святого Петра минареты и превратить его в мечеть.

— Немыслимо… На это, пожалуй, и я бы не против посмотреть. Даже больше, чем на собственное изваяние. Я на него похож?

— Ни капельки, — признался Руслан.

— Да-да…

Периодически призрак исчезал. В головах пропадало ощущение, что кто-то постоянно заглядывает через плечо.

— Мне трудно поверить, кэп, но этот чудак здорово отвлекает от мыслей о неизбежном, — сказал Ли во время такой отлучки. — Бесконечные диспуты с ним помогают коротать время. Я пытаюсь угадать — вы рассказываете ему про Землю, чтоб отправить в ЦУП с посланием?

— Вряд ли сработает. Представь его размытый силуэт на фоне дисплеев и голос в головах: синьоры, простите великодушно, что потревожил и отрываю от дел, но двое других синьоров ждут вас на Луне.

— Да, кэп. Всю смену отвезут в психушку.

Руслан удобнее устроился в кресле. Скорлупа посадочного модуля стала ненавистной. Они уже считали часы до выхода наружу, в призрачную свободу, ограниченную только тающими ресурсами систем жизнеобеспечения.

— У меня есть идея потоньше. Проблема в том, что дорогой покойник до смерти боится покидать Луну.

— Я заметил, кэп. Умерев один раз, он держится за свое призрачное существование. Говорит — вдруг потеряюсь в пространстве.

— И верит, что некий Единый Бог оставил здесь его неупокоенную душу до какого-то особого условия, поэтому не желает что-либо делать вообще. Хранит статус-кво, сгорая от любопытства увидеть Землю, какой она стала за четыре века. Вежливый и одновременно упрямый, как тысяча ослов! Не удивляюсь, что его сожгли. Вот кончится кислород — будем летать над лунными цирками втроем.

Сказав это, командир зевнул. Пришло время сна.

— Чепуха, — отмахнулся Ли. — Застрявший здесь — большая редкость. Душе полагается идти прямиком на перерождение.

С Руслана слетела дремота.

— От кого я слышу! Ты же коммунист.

— Ну да… Но в первую очередь — китаец. Я верю в реинкарнацию. И в китайского лунного зайца, что дарует бессмертие. У нас первый луноход назвали Юйту, это и есть лунный нефритовый заяц. Каждый, кто меня провожал, просил на Луне внимательнее смотреть — вдруг увижу, как Юйту толчет в ступке волшебное зелье… Удивлен? Скажешь, за это надо сдать партбилет?

— Сначала вернись в партком, верующий.

Во сне Руслан увидел Галочку, ей лунный заяц совал в рот какое-то снадобье, а он, отец, бежал со всех ног и орал: «Не глотай, оно не одобрено Минздравом…» Проснувшись, космонавт устыдился этих бредней и полез наружу, где терпеливо ждал покойный итальянский монах.

— Филиппе, мне неловко вас просить… Видите яркую звездочку, что ползет прямо над головами?

— О да… Это же ваш экипаж, что крутится вокруг Луны.

— И в нем наше спасение. Если нажать любую клавишу на специальной доске, они примерно такие, как у клавикорда, экипаж снова начнет мне подчиняться.

— На расстоянии? Вы много мне рассказали чудесного, до сих пор верится с трудом, — Джордано Бруно примолк на минуту, потом до него дошло, куда клонит Руслан. — Вы желаете, синьор, чтоб я пробрался в небесный экипаж и сыграл на том клавикорде?

— Вряд ли это осуществимо. Грузовик летит с огромной скоростью. С Луны она кажется незначительной. Свыше полутора километров в секунду, быстрее ружейной пули.

Он изучил упрямый характер итальянца. Изысканно вежливый, тот обожал противоречить по любому поводу и с учтивой твердостью разбивать любые аргументы оппонента. Видать, истосковался за века по этому занятию. Поэтому Руслан сделал «ход от противного».

— Скорость — не препятствие, — мягко возразил призрак. — Я никогда не поднимался над Луной высоко. Вас с восточным другом удивляет моя осторожность. Увы, это иллюзорное существование — все, что у меня осталось.

— Cogito, ergo sum. Мыслю, следовательно, существую. Вы правы, синьор. Поэтому не могу вас обременить такой просьбой.

— Но Святой Августин сказал иначе: si fallor, sum, если я ошибаюсь, я существую.

— Я цитировал Декарта. Он жил после вашей… Вашего отлета на Луну.

Филиппе сидел на обломке посадочной опоры в очень человеческой позе, подперев кулаком подбородок, будто голова, полная мыслей, подобных декартовским, обрела значительный вес.

— Четыреста лет я разговаривал только с собой. Наверно, стал мудрее. Порой удивляюсь, как не сошел с ума от одиночества. Старые призраки, что живут в замках Флоренции — те же неупокоенные души, — все как один безумны. Но мудрость в отрыве от единомышленников ущербна. Как же продвинулась научная мысль на Земле!

Понимая, что за науку лунный отшельник принимает философию, а к технике относится не более чем с уважением, Руслан извлек из закоулков памяти остатки знаний из университетского курса, кратко рассказал про диалектику Гегеля и категорический императив Канта.

— К сожалению, Филиппе, здесь, на Луне, нет практически ничего. На «Хуанхэ» большая библиотека. Конечно, не бумажные книги, но их тоже удобно читать. Главные же собрания на Земле.

— На Земле… Там когда-то был мой дом, — в голосе призрака, обычно довольно бесцветном, колыхнулась тоска. — А Луна так им и не стала. Я хотел вернуться домой и гнал от себя эту мысль.

— Вам нельзя туда! Приближение к месту, где стоит ваш памятник, где сохранились частички праха, неминуемо повысит вероятность, что Творец сочтет ваш посмертный путь завершенным.

Руслан снова пытался играть на противоречии. К страстному желанию вырваться из лунной ловушки прибавилось необъяснимое сочувствие к этому потустороннему существу.

У Джордано Бруно не осталось слуха, обоняния, осязания, вкусовых рецепторов. А душа столь же чувствительна, как в ночь, когда ему под ноги кидали вязанки хвороста!

— Я попытаюсь помочь вам, синьор Руслан.

— Вы уверены?

— Нет… Но именно сомнения и ошибки делают меня немного живым. И еще — я хочу увидеть обновленную Землю. Говорите, Италия объединилась? Брависсимо! И вы здесь — вдвоем, из разных наций, из разных государств… Даже в самом трудном положении, на грани гибели, не деретесь за остатки воздуха, поддерживаете друг друга, подтруниваете. Я восхищаюсь вами, синьоры.

— Вы преувеличиваете.

— Ничуть! В мое время многие считали, что Господь за грехи обрек род людской на самоистребление. Вы сумели бросить ему вызов! И заслужили шанс на жизнь… Объясните, что я должен нажать на клавикордах?

…Через сорок часов «Хуанхэ» вдруг сообщил на Землю: «Начинаю торможение и посадку в Море Спокойствия в ручном режиме. Экипаж «Чанчжэн-Ангара-12» чувствует себя нормально. Сбой связи произошел по техническим причинам»…

…Руслан видел свою крохотную фигурку на фоне серо-коричневой равнины через камеры грузовика. Четыре ослепительных рукотворных солнца нависли над головой. Убрав режим «наведение на маяк», космонавт отбежал в сторону. Садящийся «Хуанхэ» поднял настоящую пылевую бурю, а еще через пару минут лунные страдальцы отвинчивали входной люк!

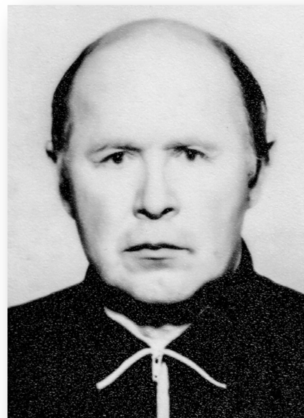
Джордано Бруно, небрежно развалившись, восседал в кресле оператора грузового модуля, будто сам управлял кораблем на посадке.

— Теперь — на Землю, синьоры?

— Вы не поняли, Филиппе! — Руслан был готов обнять и облобызать покойника. — Теперь мы развернем лунную базу. Через три месяца ожидается смена, долгосрочная экспедиция, на их корабле и вернемся. «Хуанхэ» не способен взлететь.

— Ну, три месяца — не четыреста лет. Вы же подбросите меня домой?





Евсей ЛОПУХИН

Поступь утра

Длиннее становятся ночи

Грустное

Какая печальная осень!
Откуда берутся дожди?
Ведь люди их вовсе не просят, —
Откуда так много вражды?
Все хлещут по спинам, по лицам,
Тоской заселяют сердца.
Ну, сколько дождям этим длиться?
Я им не предвижу конца.
Откуда берутся туманы?
С каких приползают болот?
Суставы болят, словно раны,
Но осени это не в счет.
Длиннее становятся ночи...
Короче становятся дни.
Мне страшно: вдруг кто напророчит —
И вовсе исчезнут они?

Боюсь я...

Боюсь я холостой строки!..
Как много в ней я вижу лени!..
Пред нею падать на колени
Мне, стихотворцу, не с руки.
Она не просится в мой стих,
А, строя глазки, нагло лезет,
Ножом по сердцу будто режет —
Стиху б без жительниц таких!
Как ими чувства передать?!
Они, как люди, что нейтральны:
Частенько судьбы их печальны…
Иду метафоры искать!

* * *

Оглянись, пожалуйста, взгляни —
Что тебе движенье это стоит?
Ты души моей услышишь крик:
Мечется, бедняжечка, от боли.
Только что тебе вот этот зов?
Быстрые шаги. Уходишь смело.
…А была ж любовь! Была ль любовь?..
Если ты уйти вот так сумела?..

Дела, дела...

Опять рассвет. Опять начало дня.
Каким он будет: радостным иль грустным?
Быть может, задохнусь от бытия
Я в этом деревенском захолустье?
Дела, дела... В столице и в селе:
Одни в поту, другие ленью дышат.
...Мои дела покоятся в столе.
Покоятся? Нет, поступь утра слышат.

* * *

Тишина... Только шелест листвы.
Тишина... Только эти шаги.
Что они, словно воздух, легки,
Знаю я и не знаете вы.
Я счастливец: в весеннем саду
Я шаги теплым взглядом веду —
Я слежу, не нарушилась чтоб
Эта поступь девчоночьих стоп.





Рене БАРЖАВЕЛЬ,
Оленка де ВЕЕР

Дни мира[*]

Роман

* * *

Бракосочетание состоялось в церкви Отей. Томас относился к англиканской церкви. Несмотря на нежелание, ему пришлось, перед тем как стать католиком, чтобы иметь возможность жениться на Полине, пройти курс катехизиса, который ревностный викарий заставил его выучить наизусть. Элен, переставшая понимать хоть что-либо в происходящем, даже не смогла выразить протест в связи с этим обращением в иную веру. Но бракосочетание в церкви не могло состояться без этого. Не могло быть и речи, чтобы Полина де Ром, дочь Поля де Рома, сочеталась гражданским браком. Весь Париж тогда воспринял бы этот брак как сожительство. И сочетаться браком в протестантском храме тоже было невозможно. Конечно, велись разговоры то тут, то там, что она выходит за бедняка, но жених был кузеном сэра Генри Ферре и, через кровь Плантагенетов, родственником короля Англии и всех королей Европы. Он был высоким и красивым, а она красивой и хрупкой, и оба юны. Это в значительной мере оправдывало этот безумный союз, позволяя рассматривать его как одно из событий парижской жизни, не имеющее особенного значения, но все же вспыхнувшее ярким огнем в числе других происшествий сезона.

На небольшой центральной площади городка Отей и на соседних улицах припарковалось десятка два автомобилей. Их пассажиры приняли участие в церемонии. Стояла необычно холодная для ноября погода, и водители топтались на месте, чтобы согреться, обсуждая прихоти погоды, принявшегося за старое императора Гийома и суд, оправдавший мадам Штейнхейл. Никто не смог доказать, что она была невиновна или виновна, хотя можно было считать, что она способна совершить то, в чем ее обвиняли. Возможно, занималась проституцией, но такая красивая женщина не могла убить свою мать, а заодно и своего мужа.

Свидетелем со стороны Полины был сэр Генри Ферре, а со стороны Томаса — Леон. Он приехал на небольшой коляске, в которую был запряжен Тридцать первый, и заполнял все пространство в своем экипаже. Когда он в распахнутой медвежьей шубе, в огромном цилиндре на голове и с бородой, закрывавшей грудь, сошел на землю, потрясенные зеваки решили, что это русский боярин или, по меньшей мере, ближайший родственник болгарского царя. Он привязал Тридцать первого к газовому рожку, чмокнул его в морду и посоветовал стоять спокойно. Под шубой на нем был взятый напрокат костюм зеленого бархата, черные брюки и громадный красный галстук, полностью скрывшийся под бородой.

---

[*] Окончание. Начало в № 7, 9 за 2018 г.

Праздничный обед состоялся в местном ресторане. Поль де Ром заказал великолепное меню, но для узкого круга приглашенных. Присутствовали кроме новобрачных их родители, оба свидетеля и два самых близких друга Поля де Рома и сэра Генри со своими женами, а также два банкира, Виндон и Лабассьер. Подавалось восемь блюд. Вначале — икра и балтийский лосось, а как финал — традиционный торт «Сент-оноре», то есть торт с кремом, украшенный флердоранжем и свежей земляникой, облитой карамелью. Для этого времени он выглядел необычно и весьма утонченно.

Небольшой круглый стол был накрыт в уютном салоне, из которого вынесли диван и частично прикрыли зеркала зелеными растениями. Ирен Лабассьер сидела между новобрачной и ее отцом. Томас не узнал ее, но она его не забыла. Она не затаила на него обиду за поведение на балу у сэра Генри. В своей жизни, до того, как стала супругой банкира, она встречалась с более серьезными проблемами. А этот юноша, как она поняла, был совсем невинным и все еще интересовал ее. Во время обеда ее нога, прикрытая шелковым платьем, несколько раз касалась ноги Томаса, но тот не знал о подобных методах общения и решил, что эти прикосновения были случайными. С другой стороны ее нога коснулась ноги Поля де Рома, и этот контакт не был отклонен. Они хорошо знали друг друга. Сэр Генри оказался рядом с Леоном, так как мужчин собралось за столом больше, чем женщин. Леон, чувствовавший себя весьма непринужденно, потребовал пива вместо шампанского, которое не любил. Выпив огромное количество пива, он принялся рассказывать о животных. Окружающие, и прежде всего женщины, старались не показать, что шокированы запахом лошади. В то же время, сэр Генри с удовольствием услышал, что Леон прекрасно знаком с пони из Коннемары. Леон даже выдал ему несколько практических советов, касающихся выращивания лошадей, и пригласил сэра Генри посетить круглый дом. Со своей стороны, сэр Генри пригласил Леона на рыбалку в Донеголе. Он был очарован необычным общением. Ему давно не встречался столь живописный и эффектный собеседник. Банкир Лабассьер дремал. Он все с большим и большим трудом воспринимал обильные застолья. Элен выглядела черной ледяной глыбой.

Она надела поверх своего самого нового платья гарнитур из кружев с мелкими точками, заказанный ее дедом Джонатаном для своей юной супруги в год ее переезда в Ирландию. Это было изделие из двух кружевных манжет и большого воротника, на изготовление которого ушло два с половиной года работы старой служанки, устраивавшейся или возле окна во время бесконечных белых ночей летом, или возле горевшего в печи торфа, или же возле свечи, осенними вечерами зажигавшейся почти сразу после полудня.

Элен прикрепила к корсажу большую эмалевую брошь с изображением белого единорога на синем фоне. Под вставшим на дыбы животным помещался семейный девиз: «Я ВЕРНУСЬ!», пронесший через века никогда не ослабевавшую надежду Фулька Рыжего после бегства его супруги-феи. Из поколения в поколение эти два слова поддерживали у его потомков неясную ностальгию, неопределенную надежду на возвращение чего-то иного, чего-то легендарного, что должно появиться однажды в волшебном свете Ирландии, спустившись с гор с вечно юным божеством Агнусом Огом; или же оно могло прибыть с моря на судне с разорванными парусами, пронизанными солнцем и туманом.

Для Элен этот девиз принял явный смысл, олицетворявший обещание, данное самой себе для себя и для ее сына: я вернусь на остров, Я ВЕРНУСЬ! Целеустремленность, с которой она добивалась выполнения этого обещания, позволяла надеяться, что никому и ничему не удастся отменить возвращение.

Она сразу же, за несколько жутких минут, поняла, что Томас предавался с этой девушкой акту, который не может оправдать даже замужество. Что девушка была беременна и что сын обязан жениться на ней. Томас! Ее малыш, такой прекрасный, такой чистый… В это невозможно поверить. Но это было правдой. Это не только казалось ей отвратительным, но самым серьезным образом мешало его будущему. Нельзя заводить семью в девятнадцать лет, если собираешься сделать карьеру. Это прекрасно понимал Генри, который до сих пор не женился. Сколько лет было ему? По меньшей мере, лет сорок, может быть, даже сорок пять… Конечно, он должен жениться в ближайшие годы, ведь он единственный сын в семье и обязан обеспечить наследование. Но он не торопился… И был совершенно прав… И Элен подумала о Томасе: «Он должен был подождать, пока я не умру…»

У нее мелькнул проблеск надежды, когда узнала имя девушки, завладевшей сыном, ее адрес и положение в обществе ее отца. Он должен был обладать солидным состоянием. С приданым можно надеяться… В конце концов, этот брак мог стать подарком судьбы, каким бы горьким ни оказался его вкус.

Но ее беседа с Полем де Ромом, вежливым и общительным, лишило Элен каких-либо иллюзий. У Полины не будет приданого. И не будет никакого наследства. У него не было недвижимости. Особняк на улице Дю Буа одолжил ему приятель-американец (она не знала, что это была приятельница), а вилла в Трувиле предоставлена в его распоряжение банкиром Лабассьером. У него не было денег даже на приобретение мебели. Полина смогла взять с собой в качестве приданого трюмо, один стул в стиле Второй империи из черного дерева, инкрустированного перламутром, да еще кровать Рекамье[1] из красного дерева.

Господин Виндон сообщил Элен, что отец Полины был очаровательным джентльменом, со множеством достоинств, из блестящей семьи, но с очень небольшим доходом. Если бы друзья не приглашали так часто на обед, ему, возможно, пришлось бы устроиться на работу…

Поль де Ром чувствовал себя счастливым. Он сидел между Элен, замкнувшейся в молчании, и Ирен, пытавшейся разговорить новобрачного, и не пытался поддерживать разговор, размышляя о своем будущем, так как получил наконец-то свободу, избавившись от тяготившего его присутствия дочери. Разумеется, он любил ее, но она все же весьма существенно мешала ему. Он рано вывел дочь в свет в надежде, что та быстро найдет мужа. Естественно, богатого. Она была достаточно красива, и ее красота — единственный шанс на дальнейшее безмятежное существование. Он даже тактично подталкивал ее к своему другу сэру Генри, но завлечь в сети брака старого холостяка гораздо труднее, чем поймать лису. А в итоге она выбрала бедняка…

Она не была глупышкой, но все же… Ах, эти июльские вечера!.. Если бы он оставался в Трувиле, тогда, может быть… Но не мог же он постоянно контролировать дочь… Да, во всем виноваты эти аэропланы… В конце концов, она сама решила свою судьбу… Ничего, она постепенно освоится…

Этим же вечером Поль де Ром должен уехать во Флоренцию. У него было полно друзей в Италии. Он не любил проводить зиму в Париже. Сейчас у него еще было достаточно времени, чтобы собрать вещи. Кроме того, он должен устроить гувернантку в хоспис в Бизерте. Собирался сам отвезти ее. Он был весьма обязательным человеком.

[1] Кушетка, предмет мебели будуаров и гостиных во Франции, ставший модным с начала XIX века. Получил название по имени известной светской дамы мадам Рекамье. Считается отдельным типом кресла-кровати.

Томас много пил. Полина была не в состоянии проглотить хотя бы кусочек. Они сознавали, что оказались в жестокой ловушке, замаскированной музыкой, поздравлениями, букетами цветов и белоснежными платьями невесты. Но ощущали на своих лодыжках сталь кандалов. И это было навсегда.

С каждым бокалом Томас становился все более бледным. Он пытался пробудить в себе радость при мысли, что через несколько часов окажется с Полиной в постели. Но при этом сразу же вспоминались ее рыдания, ее крики, кулачки, которыми наносила ему удары и которые он пытался остановить. И это была она же, такая нежная в его объятиях… Вся в белом, почти теряющаяся в этой белизне, с потухшими глазами, тонкими руками, белыми, словно цветы в букетах…

У Полины болело сердце. Ее подташнивало. Этого не должно было случиться. Но она не могла думать ни о чем другом. Нужно держаться. Это ее свадьба.

Господин Уиндон пытался разговорить Элен. Но он не мог задать ей ни одного прямого вопроса. Ему очень хотелось узнать, есть ли у нее новости о ее сестре Гризельде. В соответствии с инструкциями из Лондона он завел специальное досье на Гризельду. Похоже, она каким-то образом была замешана в опасной деятельности своего мужа.

* * *

За два года Гризельда организовала три поисковых экспедиции в Гоби. Их финансировал князь Александр Т. Князь познакомился с Гризельдой на приеме в ее честь, когда она приехала в Москву. Он был неожиданно охвачен страстью, оказавшейся, благодаря его возрасту и к его величайшему сожалению, совершенно бескорыстной. Ему было столько лет, что его возраст перестали упоминать; он отощал и высох, словно бамбук, но при этом сохранил юношескую подвижность.

Его седые брови, прикрывавшие глаза густыми зарослями, соединялись на щеках с бородой. Зимой, надев шубу и папаху из волчьей шкуры, он полностью скрывал лицо, и для постороннего взгляда доступной оставалась только растительность. Ему принадлежали бескрайние земли, его состояние не поддавалось оценке; он постоянно путешествовал, как по России, так и за границей, в сопровождении интенданта, казначея, врача, священника и целой армии слуг, насчитывавшей обычно не менее трехсот человек. Кроме этой оравы с ним всегда путешествовали его любимые лошади и привычные для него предметы обстановки.

Когда во время автопробега пропал английский автомобиль и он узнал о планах госпожи Шеридан отправиться на поиски мужа, князь предложил ей помощь с использованием всех доступных ему материальных возможностей. И он решил сопровождать женщину в должности ангела-хранителя.

Во время первой экспедиции в качестве охраны использовалась команда казаков, которых жара и невероятная сухость очень быстро превратили в бойцов, способных выдержать любые условия, вплоть до получения питьевой воды из камней. Две следующие экспедиции позволили отобрать из этой группы людей и лошадей, созданных из железа.

Князь не привык отказывать себе даже в мелочах, и пустыня не смогла отучить его от этой привычки. Его караван был обеспечен водой, достаточной для орошения земель и снабжения питьем большой деревни на протяжении всего лета. На верблюдах перевозился полный набор мебели из салона Людовика XV, предназначенный исключительно для приемов, устраиваемых Гризельдой, рабочий кабинет князя с письменным столом, за которым он принимал своего интенданта, и огромная кровать из красно-

го дерева в викторианском стиле, доставленная в Россию из Лондона. Он спал в палатке размерами десять метров на шесть из верблюжьих шкур, продублированных парчой. Ежедневно на кухне для него выпекался свежий хлеб, к которому он привык в Париже, откуда захватил в экспедицию лучшего пекаря. Водка для него охлаждалась льдом, привозившимся из Сибири в специальных коробах, обшитых десятком слоев шерсти и фетра.

Разумеется, этот комфорт устраивал Гризельду. В ее распоряжении имелись удобная кровать, трельяж и ванна. Она спала в большой палатке, где хватало места и для Молли. Для сына Гризельды выделялась отдельная палатка с двумя слугами и несколькими казаками для охраны.

Появление подобной процессии в Гоби привлекло внимание множества кочевников, сопровождавших караван, подобно тому, как птички-волоклюи сопровождают буйвола. Они пользовались крохами со стола князя и разными доступными им мелочами.

С помощью китайца-переводчика Гризельда опрашивала местных обитателей, показывая фотографии автомобиля, шофера и его помощника. Но единственным результатом всегда были непонимание и смех удивленных туземцев. Эпопея пересечения пустыни повозками без лошадей обросла множеством фантастических подробностей и должна была вскоре превратиться в легенду. О ней все слышали, а кое-кто даже утверждал, что видел автомобили, но к описанию машин обычно добавлялись верблюжьи горбы, рога буйволов или даже крылья и пасти, извергавшие огонь. Утверждалось также, что повозок без лошадей было невероятное множество; во всяком случае, больше, чем имелось одновременно пальцев на руках и ногах у рассказчиков…

В ряде случаев, когда сведения казались Гризельде достаточно надежными, она направляла караван для их проверки. В результате терялось много времени и сил, а за прошедшим караваном оставались погибшие лошади и верблюды, сломавшиеся повозки, пустые бочки и ящики, а также множество брошенных предметов, которые кочевники тут же подбирали.

Вторая и третья экспедиции были организованы гораздо лучше первой; возможно, сказалось и существенно уменьшившееся количество участников, что позволило сделать экспедиции более мобильными. Князь продолжал худеть с каждой очередной экспедицией, сохраняя при этом свою активность. Он считал климат пустыни наиболее подходящим для своего здоровья; действительно, он приспосабливался к нему, словно засохшее дерево.

В очередной раз Гризельда выбрала отправной точкой для поисков место, где «Золотой призрак» и его команда провели последнюю перед их исчезновением ночь. Этим местом оказалась китайская телеграфная станция. Она устроилась для ночлега во дворике перед домиком телеграфиста, там, где, как она была уверена, спал Шаун. Она долго слушала вечернюю песню розовой птички, когда в потемневшем небе одна за другой зажигались бесчисленные звезды. Ей долго не удавалось заснуть, и она, в конце концов, обратилась к Шауну:

— Укажи мне путь к тебе, Шаун, будь моим проводником… Где бы ты ни оказался, я приду к тебе…

Пичуга не деревце испустила длинную трель, потом свистнула три раза с большими перерывами и замолчала.

На следующее утро караван двинулся в направлении, указанном телеграфистом. Через два дня путешественники достигли города с золотыми храмами, запретного для женщин. Князь с помощью переводчика расспросил монахов, но ничего нового узнать от них не удалось. Покинув город,

караван продолжал двигаться на север, но Гризельда, обнаружившая едва заметную тропу, направила караван на северо-запад. Именно здесь в свое время сменил направление Шаун, и Гризельда, не зная об этом, двигалась дальше точно по его следам. Еще через пару дней опережавшие основной караван разведчики наткнулись на котловину, окруженную черными скалами.

Никаких следов происходившего здесь сражения не сохранилось. Татары подобрали тела погибших соотечественников и брошенное оружие, убрали покалеченных и погибших в схватке лошадей. Ветер набросил на кровавые следы девственно чистое песчаное покрывало.

Ночевка была устроена возле оврага. Пока слуги ставили палатки, Гризельда решила осмотреть низину, чтобы отыскать наиболее пологий спуск. На следующий день она собиралась спуститься вниз. Не исключала возможность падения машины с обрыва.

Поблизости она наткнулась на юрты нескольких монгольских семейств и подошла к ним вместе с князем и переводчиком-китайцем. Она уже встречала этих людей и расспрашивала их во время второй экспедиции, но на этот раз решила показать им фотографии и задала ставшие традиционными вопросы. Мужчины улыбались и разводили руками. Они ничего не знали. Женщины не участвовали в разговоре, занимаясь приготовлением ужина на костре из сушеного навоза. Внезапно Гризельда заметила…

Поблизости от них две женщины доили кобылу. Стоявший под животом лошади предмет блеснул в лучах заходящего солнца. Одна женщина доила животное, другая подставляла под пенную струйку желтый сосуд, бросавший яркие отблески. Он выглядел сильно помятым коротким цилиндром из желтой латуни с какими-то странными отростками и небольшими отверстиями, замазанными глиной. Сначала Гризельда подумала, что это миска китайского производства, и только через несколько секунд догадалась о его истинном назначении. Она едва не закричала, сильно стиснув руку стоявшего рядом князя. Ведь давно ожидала это событие и не могла поверить, что оно, наконец, случилось. Глубоко вздохнув, Гризельда заставила себя успокоиться, после чего заговорила с князем.

— Смотрите, Александр! Вы видите, что держит эта женщина? Там, где они доят кобылу… Это же автомобильный фонарь!.. Фонарь автомашины моего мужа!..

— Да, вижу… — отозвался князь. — Не смотрите на нее так пристально, лучше отвернитесь, иначе она встревожится… Я сейчас разберусь с этой находкой…

Они говорили, как обычно, на французском. Переводчик-китаец не знал этого языка, но это ничуть не обеспокоило его. Он хорошо понял приказ, который князь отдал на русском языке сопровождавшему его казаку. Он заволновался и стал расспрашивать князя, в то время как казак кинулся бегом к своим товарищам.

— Если ты не замолчишь и встревожишь местных монголов, я прикажу отрезать тебе нос, уши и все остальное!

Эта фраза, произнесенная спокойным тоном с легкой улыбкой, не насторожила местных жителей, продолжавших с интересом рассматривать фотографии, передавая их друг другу.

Внезапно послышались крики, топот лошадей, и отряд казаков в несколько мгновений окружил лагерь монголов, направив на его обитателей заряженные винтовки. Перепуганные монголы стали оправдываться, что они ничего не видели и ничего не знают о пропавшей машине. Что касается сосуда из латуни, то они не знают, что это такое. Нашли его в пустыне…

— Где именно?

— Там, в той стороне…

— Что это за место?

— Мы не знаем. Обычное, как везде в пустыне…

Эти уклончивые ответы привели князя в бешенство. По его приказу казаки схватили одного из монголов, связали ему руки и ноги и длинной веревкой привязали к седлу лошади.

Дрожавший от страха переводчик перевел монголам слова князя:

— Если ты не расскажешь мне все что знаешь, эта лошадь сейчас поскачет галопом, потащив тебя за собой. И скачка будет продолжаться, пока от тебя не останется один скелет.

Солнце к этому моменту уже опустилось за горизонт, и темнота стала быстро сгущаться. Зубчатые контуры далеких гор резко выделялись на фоне багрового заката; небо в зените приобрело темно-синюю, почти черную окраску. Костер, в котором медленно горел сухой помет, распространял вокруг себя запах горящей соломы. В небольшом болотце в центре долины все громче и громче звучал лягушачий хор. Старик, сидевший перед огнем, заговорил, сопровождая свои слова медленными жестами рук и не отводя взгляд от огня. Перед ним стояла сотрясаемая нервной дрожью Гризельда. Подошедший к ней князь слегка обнял ее за плечи, стараясь поддержать и успокоить. Сидевший у костра монгол рассказал о сражении, развернувшемся в долине между пришедшими с востока татарскими воинами и двумя западными людьми. Это были мужественные бойцы, два героя, и их повозка без лошади сражалась вместе с ними. Они уничтожили всех нападавших, после чего сели в свою повозку и помчались прямо к обрыву. Налетевший на них огненный дракон схватил их, и они исчезли, унесенные драконом

Поднявшись, старик отвел Гризельду и князя к обрыву в нескольких сотнях метров от стойбища. Казаки, сопровождавшие их, осветили факелами пирамиду из камней, точно такую же, как множество других пирамид, постоянно встречавшихся в пустыне по сторонам от тропы.

— Вот отсюда их и унес огненный дракон, — сказал монгол.

Следующим утром, едва рассвело, они спустились в долину по тропинке, вившейся по крутому склону. В том месте, куда рухнула машина, сгоревшая растительность буйно разрослась. Гризельда, ползая на коленях, принялась раскапывать песок вокруг кустов, обдирая руки, но не нашла ничего, кроме нескольких осколков стекла и каких-то ржавых железок. Отчаявшись, она расплакалась, сжимая в руках кусок автомобильного бампера.

Немного успокоившись, приказала привести к ней сына, с которым долго сидела возле каменной пирамиды на краю оврага. Она сказала сыну:

— Мы должны помолиться за твоего отца, и не имеет значения, жив он или погиб. Но ты обязательно должен знать, кем был он и кем станешь ты. Это полагалось рассказать отцу, но ты все узнаешь от меня.

Его звали Рок О’Фарран, но для меня он был Шауном. Под этим именем я узнала его и полюбила… Через своего отца ты являешься потомком королей ирландского Донегола, с моей же стороны ты потомок графов Анжуйских и английских королей. Ты часто мог слышать о том, как давно страдает Ирландия. В твоих жилах течет кровь как угнетенных, так и угнетателей. Но моя семья давно стала как ирландской, так и гэльской, и мой дед израсходовал все наше состояние, чтобы спасти от смерти во время великого голода множество ирландцев. Они признали его и полюбили, как своего соотечественника. И ты носишь его имя. Ты не Шеридан. Ты Джонатан О’Фарран…

Твой отец всегда боролся за свободу Ирландии, даже в то время, когда мы жили в Индии или в какой-нибудь другой стране. И я участвовала в его борьбе. Другой возможности любить Ирландию не существует. Я когда-нибудь расскажу тебе, как узнала его, как спрятала его раненого и вылечила, после того как он был ранен в сражении у Гринхолла, как мы вместе покинули Сент-Альбан… Я расскажу тебе об острове…

Я не верю, что он погиб… Этого не может быть… Он слишком любил жизнь… Но он не оставил следов… Его путь обрывается здесь, словно его действительно унес огненный дракон… Мы с тобой должны идти дальше… Через три дня тебе исполнится пятнадцать лет… Ты мужчина… Мы будем продолжать борьбу за свободу нашей страны, будем помнить о Шауне… Если повезет, мы сможем встретить его на пути, ведущему к свободе Ирландии…

Джонатан слушал мать нахмурившись. Он походил на отца светлыми глазами в густых черных ресницах. Но в его волосах играли отблески материнского огня. Впалые щеки и изгиб носа заставляли вспомнить об Индии.

Она обняла сына за плечи и притянула к себе. Они долго сидели, повернувшись к заходящему солнцу. Гризельда сказала:

— Шаун, это твой сын Джонатан, он продолжит твое дело… Если ты там, возле нашего Бога, помоги ему, наставь на путь истинный… Если ты жив, откликнись…

Позади них караван убирал палатки, складывал багаж среди обычной перед дорогой суеты, в криках людей и животных. Поиски закончились.

Шаун находился рядом с ними, не дальше чем в нескольких метрах.

Когда татары вернулись на место схватки, они подняли на плато обгоревшие тела своих противников, выкопали для них могилу и похоронили их рядом, лицом к их далекой стране. Они воздвигли над могилой каменную пирамиду, как всегда делали для своих героев и своих богов.

На другом краю света, под другим туром из валунов, воздвигнутом на Белом острове, на краю Европы, королева Маав продолжала, вот уже на протяжении двух тысяч лет, неустанно призывать к схватке за свободу своих воинов, живых и мертвых.

С момента исчезновения Шауна Гризельда заподозрила, что здесь не обошлось без длинной руки англичан. Рассказ старого монгола подтвердил это предположение. То, что он описал, выглядело как хорошо подготовленная засада. Получалось, что целое племя татар было отправлено для нападения на двух людей. Это не могла быть попытка грабежа.

До сих пор Гризельда боролась за Ирландию вместе с Шауном. Отныне она должна сражаться против Англии одна, как женщина, которой нужно отомстить за страшное преступление.

Князь Александр владел самой большой и самой красивой в мире яхтой, передвигавшейся как под парусами, так и с помощью парового двигателя. Подняв все паруса, она походила на большое белоснежное облако, которое гнало над поверхностью океана дыхание Господа. Когда начинали работать машины, яхта неслась по волнам быстрее, чем самые быстрые военные корабли Англии или Японии. Судно называлось «Федор». Название это носили многие славные предки яхты. Князь Александр лично разбил в Севастополе о форштевень судна бутылку шампанского, полученного из винограда с его крымских виноградников, поднялся на яхту, внимательно осмотрел ее и приказал произвести более сотни мелких, средних и крупных модификаций. Спустившись на землю, он больше ни разу не использовал яхту для своих путешествий, так как предпочитал передвигаться по суше. Тем не менее, где бы он ни находился, судно сопровождало его по морю, всегда находясь как можно ближе к хозяину, чтобы быть «под рукой» в

случае необходимости. Если князь перемещался из Сибири в Испанию, «Федор» совершал маршрут огромной протяженности из Владивостока до Гибралтара. Тем не менее, поскольку князь очень часто менял свои планы и то и дело оказывался весьма далеко от первоначального пункта назначения, он редко встречался со своим кораблем.

Когда Гризельда узнала о существовании этого замечательного судна, она сразу сообразила, как его можно использовать, и высказала желание совершить плавание на его борту. Это было летом, вскоре после окончания третьей экспедиции. «Федор» тогда находился в Санкт-Петербурге. По приказу князя на судно были доставлены мебель, ковры, обои, картины, статуи, меха, собаки, кошки, музыканты, танцоры, зимний сад с клумбами цветов и деревьями. Гризельда, поднявшаяся на борт, оказалась в волшебной сказке. Ее сопровождал князь, что всем показалось совершенно необычным.

Большую синюю яхту после этого видели во многих портах Британской империи и даже в некоторых гаванях Великобритании. Судно находилось в Лондоне во время торжественных похорон короля Эдуарда VII. Когда вспыхнула забастовка шахтеров Уэльса, судно оказалось в Кардиффе.

Князь Александр в эти годы превратился в жизнерадостную тростинку, вокруг которой ветер развевал его слишком просторные одеяния. Он уже не знал, была ли Гризельда его супругой, дочерью или богиней. Это смятение, давно возникшее в его голове, он добровольно поддерживал, чтобы оправдать возможность любить ее, выполнять любое пожелание и ощущать счастье общения с ней. Во всем остальном он полностью сохранял ясность ума и властность. Иногда с невероятной вежливостью просил у Гризельды разрешения перебраться к ней в постель, как это бывало вечность тому назад с княгиней Софией, его женой. Гризельда соглашалась с улыбкой и открывала ему свою дверь, будучи защищенной от пяток до кончиков волос множеством слоев кружевных накидок и прочих одеяний. Князь появлялся у нее, облаченный в одежды от наиболее легкого халата до горностаевой мантии, в сопровождении слуг с подносами, нагруженными изысканной едой и напитками. Они выпивали и закусывали, играя в карты. После того как князь проигрывал годовой бюджет небольшого города, он начинал разоблачаться, но освобождался далеко не от всех слоев, опасаясь, что под последним покровом окажутся одни кости. Потом ложился в постель, заранее утопая в экстазе, чтобы наблюдать, как, в свою очередь, раздевается Гризельда. Она небрежно разбрасывала по каюте предметы туалета, от которых избавлялась: ленту здесь, вуаль там, серебряный поясок на стуле, что-то прозрачное на диване… Он замечал то сверкнувшее запястье, то белоснежное плечо… И мирно засыпал.

Тогда Гризельда спокойно ложилась на диван. Она действительно очень любила князя. Но всегда, с тяжелым вздохом, вспоминала Шауна. Где он был сейчас? Когда они смогут встретиться?

Князя не интересовало, что делала Гризельда с деньгами, которые она зарабатывала для него и которые ему удавалось дарить ей. Она прекрасно знала, что среди приглашенных на яхту в составе русской команды яхты наверняка находились агенты британских секретных служб, поэтому действовала с максимально возможной осторожностью, привлекая в качестве помощников только Джонатана и Молли. Она возобновила контакты с сетью борцов за независимость Ирландии, созданную Шауном по всему миру, и финансировала ирландских и индийских подпольщиков, никогда не участвуя в разработке их планов и действиях. Бунт шахтеров в Уэльсе оказался неожиданностью для Гризельды. Ее плавание в Кардифф имело целью всего лишь встречу с ирландским рыболовецким судном, уже три дня ожидавшим яхту в устье Бристольского канала. Здесь «Федор» бро-

сил якорь, и капитан рыболовецкого судна поднялся на яхту с корзинкой свежей рыбы. Вернулся он на свое судно с почти таким же грузом фунтов стерлингов, замаскированных в корзинке пучками водорослей. Когда яхта причалила к берегу в кардиффском порту, в долинах Ронда и Обердейла разразилась забастовка шахтеров. Для Гризельды местные жители были кровными братьями ирландцев. Она решила поддержать их, и этот поступок оказался первым прямым действием против Англии. Молли сошла на берег под предлогом встречи со своим родственником. Через пару дней все булочные округа заявили о поставке бесплатного хлеба семьям бастующих шахтеров, пока продолжается забастовка. Поэтому бастующие не боялись, что их семьи будут голодать, и забастовка продолжалась, внося неразбериху в снабжение углем английской экономики. Гризельда хорошо усвоила уроки Шауна.

Молли вернулась на яхту потрясенная.

— Мадам, знаете ли вы, что они сделали?

— Кто они?

— Англичане!.. Они прислали сюда из Лондона полицейских, которые перекрыли устья шахтных стволов и запретили шахтерам спускаться вниз.

— Ну и что, это же замечательно!

— Что вы, мадам! Шахтеры вот уже неделя как прекратили работу и поднялись на поверхность, но ведь лошади остались внизу!.. Шахтеры ежедневно спускались в шахты, чтобы кормить лошадей и ухаживать за ними… А теперь они не могут заботиться о них! В шахтах осталось около четырехсот лошадей, и если забастовка затянется, они все погибнут от голода и жажды!

— Понимаю, — пробормотала Гризельда.

Она действительно хорошо представляла масштабы возможной трагедии, и очень скоро случилось то, о чем догадывалась: шахтеры попытались силой прорваться в шахты. Стычки с полицией оказались самыми серьезными за всю историю английской промышленности. Но полиция не отступила, а поэтому шахтерам пришлось прекратить забастовку, чтобы спасти лошадей.

— Моя дорогая, что мы делаем в этих унылых краях? — поинтересовался князь. — Здесь так мрачно, и все время льет дождь…

— Вы же знаете, Александр, что моя горничная хотела повидать кузена…

— И она повстречалась с ним?

— Да, они виделись.

— Может быть, тогда мы покинем это печальное место? Сейчас самое подходящее время, чтобы посетить Лазурный берег… Я приобрел в Каннах большую виллу с окрестными холмами и целым лесом акаций. Сейчас они цветут… Вы не хотите полюбоваться этой красотой? И я уверен, что заодно вы обязательно испытаете свою удачу в Монте-Карло…

— Александр, вы настоящий ангел, но неужели забыли, что обещали принцу Райя присутствовать на празднике света?

— На празднике света? По-моему, здесь достаточно эффектный свет… А кто такой этот принц Райя?

— Вы встречались с ним на похоронах Эдуарда VII в Лондоне. Наверное, сейчас он сам стал королем, так как его отец скончался месяц назад…

— Но он король какого государства, моя царица?

— Как же вы забыли, Александр, что он король Сиама!

— Сиама! Господи, но ведь это на другом конце света! Вы уверены, что мы должны побывать там?

— Мы никому ничего не должны, но если вы не поедете туда, это будет не вполне корректно…

— Ах, вот как…

— А потом нам нужно побывать в Бангкоке…

— Он в Сиаме?

— Да, именно в Сиаме.

— И вам очень хочется увидеть Бангкок?

— Да, Александр, очень…

— Значит, мы отправляемся туда!.. Но мне до ужаса надоел этот корабль! Мне нужно чувствовать под ногами твердую землю! Я хочу охотиться на дикое зверье! Спать в палатке! Бродить по лесам и подниматься в горы!

— Все это вы сможете делать в Бангкоке, Александр!

— Разумеется! Нет, я слишком бестолков… Мы немедленно отправляемся в Бангкок, моя дорогая!

Гризельда долго беседовала в Лондоне с принцем Райя, наполовину европейцем. Она знала, что Сиам серьезно интересует Англию и что притязания англичан на эту страну не были реализованы только из-за сходных намерений Франции. Прежний король Сиама был вынужден уступить часть своей территории на западе страны соседней Бирме, то есть фактически Англии, а на востоке — Индокитаю, то есть Франции. Ставший королем, Райя очень не любил Англию, так что с его помощью можно было начать весьма перспективную игру против Лондона…

Таким образом, Гризельда странствовала по всему миру, как когда-то мечтала подростком, забираясь в пещеру на берегу Сент-Альбана. Она часами любовалась океаном, надеясь, что из-за горизонта обязательно приплывет сказочный принц и заберет ее с собой…

Но, как ни странно, этот волшебный принц раздвоился. Первый двойник действительно увез ее на старом судне в туман и тайну, чтобы вовлечь в мятежную жизнь, приправленную любовью.

А второй бросил к ее ногам сказочный корабль и осыпал золотым дождем. Но князь Александр был всего лишь призраком мужчины, скелетом в роскошных нарядах. Ах, Шаун, Шаун, где ты? Что ты делаешь далеко от меня? Найду ли я тебя на краю света?..

При этом она никогда не забывала, что по сравнению с князем Александром принц Райя был настоящим красавцем…

* * *

У Томаса не было ни денег, ни времени, чтобы позволить себе свадебное путешествие с Полиной. Леон предложил ему оформить нижний салон как спальню для первой брачной ночи. В любом случае, это лучше, чем маленькая комната на втором этаже, отделенная тонкой стенкой от комнаты матери.

Когда новобрачные вошли в круглый зал, Томас улыбнулся. Мраморная лестница начиналась прямо перед большой кроватью, в начищенных медных деталях которой отражались огни трех каминов. Леон убрал солому, подмел пол, спрятал клетки со змеями, задрапировал красной тканью поршень лифта, установил большие вазы с цветами возле кровати и на рояле и притащил в зал громадный серебряный канделябр, высокие свечи которого вместе с каминами создавали теплую интимную обстановку.

Перед одним из каминов был накрыт стол. Возле деревянной кадки, обложенной сосновыми ветками и стоявшей возле камина, в огромной медной кастрюле кипела сотня литров воды.

Попугаиху Флору пришлось отнести в другое помещение. Леон решил, что хотя птица была просто очаровательна, но она могла в самый неподходящий момент закричать: «В чем дело? В чем дело?» Постель застелили простынями из шелка бежевого цвета, оставленными возлюбленной Лабассьера, не захотевшей забрать их вместе с другими ценностями, и укрыта шкурами медведя и пантеры.

Полина скользнула в постель, напряженная, скованная, путающаяся в слишком длинной для нее рубашке. Томасу с большим трудом удалось избавить ее от этого одеяния, чтобы с радостью обнаружить светящуюся наготу, такую теплую и желанную под его руками. Он нежно говорил с ней и долго ласкал, прежде чем перейти к любви, но ему так и не удалось вернуть доверие и подарить ей радость.

Проснувшись ночью, она была поражена окружавшей ее экзотической обстановкой; естественное беспокойство человека, оказавшегося в незнакомой среде, утихло, когда она обратила внимание на игру золотистых и красных отблесков от слабо светившихся в трех каминах углей. Рядом с ней лежал обнаженный мужчина… Ее муж… Она улыбнулась, прикоснулась к нему, придвинулась ближе, потом поцеловала, и этот поцелуй разбудил Томаса…

Когда они расстались, Полина сразу же уснула, словно накормленное дитя. Шкуры животных валялись на полу, простыня сбилась комом у них в ногах.

Полина лежала на спине, вытянув одну ногу и согнув в колене вторую. Одна рука находилась под головой, другая же, лежавшая на груди, казалось, защищала ее. Пышные волосы ореолом разлетелись вокруг головы, закрывая плечи. Ее тонкая фигурка могла принадлежать ребенку…

Томас впервые увидел ее такой.

Он поднялся, добавил поленьев во все три камина, затем включил освещение и зажег все свечи. Вернувшись к жене, с восторгом стал любоваться ее бледно-розовым телом на темных простынях.

Он никогда до сих пор не замечал, какая она красивая. Полина казалась ему прекрасней, чем любая тропическая птица, чем цветущее дерево, чем куст дрока, усеянный распустившимися цветами, чем даже Тридцать первый.

Не желая терять время на одевание, он взлетел в голубятню, схватил краски и холсты и спустился вниз, щелкая зубами от холода, но не сознавая, что замерз. Элен, так и не сомкнувшая глаз с вечера, с трудом удержалась, чтобы не выглянуть из дверей и не спросить у сына, в чем дело. У нее возникла безумная надежда, что Полина умирает; потом ей стало стыдно, что подобная мысль родилась в сердце, и она попросила Господа простить ее и позволить полюбить невестку. Помолившись, она уснула. Томас занимался живописью остаток ночи, охваченный сумасшедшей радостью. Каждый раз, когда Полина шевелилась, меняла положение чудесных частей своего тела, он видел ее еще более прекрасной и начинал новый холст.

Наконец, остановившись, Томас проглотил половину цыпленка и плюхнулся на постель рядом с женой, нежно чмокнул ее в щеку и грудь, натянул на нее медвежью шкуру и заснул.

Его разбудили дикие крики. Открыв глаза, он вскочил. Судя по освещенности, день приближался к середине. По салону металось белое пламя. Это была Полина, пытавшаяся содрать с головы вцепившуюся ей в волосы фурию, долбившую голову ударами мощного клюва. Он узнал Шаму и заорал:

— Шама!!!

Перепрыгнув через кресло, Томас схватил птицу за шею и сжал ее. Он готов был оторвать ворону голову, убить его, растерзать… Но удержало мелькнувшее в голове воспоминание о прежней дружбе. Он отшвырнул бьющегося в руке ворона в сторону, не обратив внимания на то, что тот разодрал ему руку когтями. Шама попытался взлететь, но упал на пол. Томас пинком вышвырнул его на улицу.

Потрясенная Полина рыдала, упав на постель. Томас обнял бедняжку. Она, захлебываясь слезами, рассказала, что проснулась, встала и, накинув на себя халат, подбросила полешко в камин. Потом очистила апельсин и распахнула дверь, чтобы полюбоваться туманом. В этот момент на нее набросилось чудовище.

Это был страдавший от ревности Шама, долго ждавший возможности отомстить…

— Он не злой, — сказал Томас. — Это белый ворон. Совсем ручной… Ты увидишь, он такой забавный… Вы станете друзьями…

— Какой ужас, — содрогнулась Полина.

Томас попытался склонить ее к любви, но она оттолкнула его, забилась в объятьях, вывернулась и вскочила, чтобы выкупаться. Возле камина, где в большой кастрюле грелась вода, лежал медный ковшик с длинной ручкой. Она взяла его, но рука дрогнула, и она выронила ковшик. Поднимая его, она зацепилась за дужку кастрюли и опрокинула, отчего дико заорала, а тут еще по ее голым ногам скользнули змеи.

Снаружи Шама с вывихнутой шеей свирепо пялился на закрытую дверь и кричал, пытаясь выразить словами свое отношение к произошедшему. Когда он повернул голову, в шее что-то громко хрустнуло. Он потряс головой и с трудом выпрямился. Встрепенувшись, расправил крылья, но не стал взлетать, а пошел прочь пешком. Слегка прихрамывая и что-то ворча, он быстро исчез в тумане.

* * *

Полина дышала, двигалась, что-то ела, в общем, существовала в состоянии легкого отупения. Она давно поняла, что замужество должно изменить нечто в ее жизни, в ее привычках, но никогда не могла подумать, что будет жить так, как жила теперь. Она неожиданно очутилась в мире, о существовании которого даже не предполагала. Это случилось так неожиданно, как если бы паркет и ковры особняка, в котором она провела столько лет, внезапно провалились под ногами и она очутилась в подвале.

Разом исчезли все повседневные стороны ее жизни; пропали слуги, исчезла машина, прекратились легкие беседы с изысканно одетым отцом, знавшим весь Париж и с юмором обсуждавшим его привычки; куда-то пропали приятные незначительные дела и восхитительные пустяки, заполнявшие короткие дни и длинные сезоны…. Осталось то, что было необходимо, сухое, жесткое, мрачное, размеренное.

В трех куцых комнатах, одна из которых, принадлежавшая Элен, всегда была заперта и в которых почти все пространство было заставлено мебелью, между стенами с портретами незнакомых людей, чьи взгляды скрещивались на ней, словно удары шпаг, она тягостно ожидала конца бесконечно тянувшихся дней. Время медленно колыхалось вокруг нее, словно мертвая вода в гниющем болоте.

Иногда Полине хотелось закричать, сорвать портреты со стен, убежать отсюда… Но куда? Она не представляла, где находился ее отец, он ни разу не прислал ей даже открытки…

Он не оставил ей ни одного су. Томас тоже не давал денег, мысли об этом не приходили в его голову. Она не могла даже нанять фиакр, чтобы доехать из Пасси до центра города.

Когда она смотрела на парк из окна комнаты, видела только черные ветви зимних деревьев, блестевшие под дождем. Дождь лил, лил, лил без перерыва, заливая зловещий мир. Она не видела земли возле дома. Догадывалась, что пространство вокруг нее было занято самыми разными ужасными животными, из-за которых не могла выйти на улицу. Небо над ней всегда оставалось безнадежно серым.

Томас приносил ей завтрак в постель, перед тем как убежать на работу. Он был счастлив и жизнерадостен. Быстро чмокал ее в щеку, добавлял брикетов в камин и исчезал, что-то напевая. Потом уходила Элен. Полина оставалась одна в тихой комнате и тихом доме. Она казалась себе заключенной, оставшейся в одиночестве за бесконечно толстыми стенами, когда тюремщики ушли играть в карты.

Она лежала, свернувшись, в постели, погружаясь в пустоту полного отсутствия мыслей, не уснувшая, но и не бодрствующая. Вернувшаяся домой на завтрак Элен часто находила невестку в постели. Ей приходилось подавлять желание потрясти ее и плеснуть холодной водой; она переносила негодование на кастрюли, грохот которых на кухне напоминал артиллерийскую пальбу. Потом кричала: «Если вы хотите позавтракать, все на столе!»

Однажды утром Элен, готовая исчезнуть, вся в черном, в шляпке и перчатках, швырнула на постель перепуганной Полины эмалированный тазик с картошкой и небольшой кухонный нож.

— Когда вы почистите картошку, — сказала она, — сварите ее в большой кастрюле. Не забудьте добавить ложечку соли. Я, когда вернусь, добавлю к картошке рагу.

Инструкция была произнесена нейтральным, сухим тоном, полностью исключающим возможность дискуссии. Подобные фразы вполне мог произнести один из висевших на стене портретов.

Дверь захлопнулась за Элен. Полина села в постели, посмотрела на картошку, потрогала ее пальчиком и заплакала. Сначала едва слышно, но вскоре громко зарыдала, захлебываясь в слезах.

Когда вернувшаяся домой Элен открыла дверь, ей в лицо ударила волна едкого дыма. Обуглившиеся картофелины потихоньку тлели в кастрюле, поставленной на слишком большой огонь. Элен бросилась к плите, выключила газ и распахнула окно, громко проклиная на английском языке это нелепое существо, не только завладевшее ее сыном и заставлявшее терпеть плоды своего позорного поведения, но и оказавшееся неспособным сварить картошку. Нет, нужно было сказать этой девчонке все, что она о ней думает! Элен всегда сдерживалась из-за Томаса, но на этот раз ее терпение кончилось… Перевести в отбросы столько картошки… Может быть, даже кастрюля испорчена!

Она ворвалась, не постучавшись, в комнату Томаса, открыла рот, но не закричала. Она увидела Полину, лежавшую на постели, с лицом, закрытым простыней в пятнах крови. В крови было даже покрывало; тазик оказался опрокинутым, на постели и на полу повсюду валялись картофельные очистки.

— Полина!.. О Боже мой!..

Элен осторожно сдвинула с лица Полины простыню, заранее леденея при мысли о том, что она может увидеть.

Полина села. Ее лицо распухло, глаза заплыли. Она подняла руку и протянула ее к Элен. Указательный палец был обмотан носовым платком,

испачканным запекшейся кровью. Она пробормотала, словно маленькая девочка:

— Я немного порезалась…

Элен воздела руки к небу, плюнула и вернулась на кухню. Ситуация оказалась — хуже некуда. Сплошные потери… Вот для чего эта девчонка появилась в ее жизни: чтобы испортить как можно больше всего необходимого для их существования. Она не умела ничего, ничего, ничего!.. Она оказалась неспособна воспользоваться ножом для чистки картошки, но смогла заставить ее невинного сына сделать ей ребенка…

Чтобы пролить столько крови, она наверняка порезалась до кости, безмозглое создание…

И Элен вернулась, чтобы заняться перевязкой. Больше она никогда не пыталась добиться от Полины какой-либо помощи.

* * *

— Шама, — сказал Леон, — ты плохо вел себя.

— Кррр-оакс! — ответил белый ворон.

— И ты продолжаешь упорствовать!.. Я видел, как ты стучал в окно сегодня утром… Ты же знаешь, что не должен… Ты пугаешь молодую даму…

— Крррр! — буркнул Шама.

— Нет, совсем не «крррр», — возразил Леон. — Это очаровательная дама, совсем юная, а ты пожилой господин, который должен показать свою воспитанность. Поскольку не умеешь вести себя, я отправлю тебя на некоторое время путешествовать. Трио Франсетти вместе с мадам Сарой Бернар собираются в турне по Соединенным Штатам. Ты отправишься вместе с ними. Ты знаком с Полем Франсетти, уже работал с ним, вы хорошо понимаете друг друга… Ты будешь звездой… Затмишь Сару… Но тебе нужно поработать над английским, чтобы с блеском представить номер со зрительницей… Этого будет достаточно… Но придется поработать… Ну-ка, скажи мне: Beautiful!

Леон поднял сжатый кулак в прочной кожаной перчатке.

Шама, сидевший на спинке кресла, раздулся, словно индюк, встряхнулся и раскрыл огромный клюв, из которого раздалось протестующее карканье.

— Иди сюда! — твердо потребовал Леон.

— Кррао! — сказал Шама, что означало: «Нет!»

Вспорхнув, он три раза облетел салон, сильно хлопая крыльями, спланировал к лифту, испустил протяжный вопль агонии: «Кроааа!» — и сел на ожидавшую его руку Леона.

— Вот именно, хватит ломаться, — сказал Леон. — К чему эти твои фокусы…

* * *

Уже много дней подряд шел дождь. Уровень Сены поднялся. К Новому году Элен приготовила индейку с каштанами и пудинг. Это был повод не приходить домой в полдень целую неделю. Полина могла обедать, по крайней мере, несколько дней. В кладовке, где не было отопления, еда сохранялась достаточно долго. Элен брала с собой в сумочке яблоко и кусочек хлеба с чуточком масла или топленого свиного сала. Она завтракала в музее или на вокзале, а иногда даже стоя в большом магазине, — в зависимости от того, где находилась.

Это позволяло ей проводить весь день вдали от создания, вклинившегося между ней и Томасом, то есть между ней и ее надеждами. Иногда, на несколько минут, во время урока или работая педалями велосипеда, ей удавалось забыть о невестке…

Полина питалась холодной индейкой и подсохшим пудингом на протяжении пяти дней. Для нее не имело значения, что она ела. Ей постоянно хотелось есть. Она грызла и глотала все, что могла найти съедобного. Ее обычный образ жизни исчез; теперь Полина подчинялась наиболее низменным инстинктам. Когда Элен не было поблизости, она ела руками, перед открытой дверцей шкафчика для продуктов.

Поднявшись утром, она перебиралась из комнаты в комнату, не причесываясь и не одеваясь, перелистывала старые газеты или английские книги, которые безуспешно пыталась понять. В ее голове безостановочно вращались два объекта, вызывавших у нее злобу и страх: Элен и ее ребенок.

Иногда Полина прижимала руки к животу, едва заметно увеличивавшемуся… Там находилось оно… То, что таким страшным образом изменило ее жизнь… Это существо обосновалось у нее в животе и питалось ею… Ей не удавалось представить лицо ребенка, мальчика или девочки, и осознать, что она была матерью ребенка. Полине не удавалось установить связь с этим существом. Она чувствовала себя жертвой несчастного случая, наглого вторжения в нее чего-то постороннего. Эта вещь проникла в нее и росла в ней. Потом она должна была выйти наружу, разорвав ее. И снаружи она будет занимать еще больше места, чем внутри, она свяжет ее на всю жизнь. Иногда Полине чудилось, что чьи-то руки касаются ее желудка, и тогда ее тошнило.

Через несколько часов после полудня она начинала готовиться к возвращению Томаса. Полина перенесла свой трельяж, антикварный стул и кровать Рекамье в небольшую комнатушку, служившую чуланом для хранения ненужных вещей и неиспользуемой одежды. Ее скупо освещало небольшое круглое оконце. После торопливого умывания на кухне, где зажженные газовые горелки создавали ощущение тепла, Полина набрасывала на себя теплый платок и садилась перед трельяжем. Она зажигала свечи в двух тройных канделябрах, смотрела в овальное зеркало и улыбалась появившемуся в золотой рамке знакомому лицу, похожему на нее… Открывая выдвижные ящички, она перебирала хрустальные флаконы с вербеной, мелиссой, сандалом, розовой водой и молочком ириса; доставала пилки для ногтей, гребни, щетки, комочки ваты, баночки с кремами для рук и лица, бумагу с нанесенной на нее пудрой, в общем, все инструменты и вещества для алхимии, позволявшей ей стать самой собой.

Она долго расчесывала волосы, возвращая им гибкость и живой блеск; ее глаза начинали светиться, щеки розовели, она укладывала волосы и постепенно начинала узнавать свое отражение в зеркале.

Полина никогда не носила корсет. Ей до сих пор вполне годились платья, которые она носила до замужества; по крайней мере, они не казались ей тесными в поясе. Несколько иначе обстояло дело с заметно увеличившейся грудью; тем не менее, чтобы чувствовать себя в лифчике удобно, ей пришлось всего лишь сделать ножницами несколько небольших разрезов по бокам. Она ежедневно меняла свой наряд к возвращению Томаса, прежде всего потому, что ему это нравилось, а также потому, что это приводило в бешенство Элен.

Томас оставлял ее утром сонную, согревшуюся в их общей постели, и вновь находил ее вечером, элегантную и грациозную, но никогда не спрашивал о том, как она проводила время между его утренним уходом и вечерним возвращением. Она никогда не жаловалась, так как знала, что Томас все

равно не смог бы понять, какой несчастной она чувствовала себя. Ее жизнь становилась более или менее сносной, когда он находился рядом. Он оставался для нее совершенно чужим человеком, но, по крайней мере, был красивым и веселым. Он вносил жизнь, краски, смех в ее унылое существование в этом странном месте, в котором она очутилась. Иногда она ощущала себя даже счастливой, преимущественно по ночам, благодаря ему. Она не сердилась на него из-за того, что он сделал ее беременной. Это был всего лишь несчастный случай. Он оказался для нее совершенно неожиданным, словно летний дождь, когда у тебя новая шляпка и нет с собой зонтика… Ты готовилась к теплу и солнцу, а тут на тебя внезапно обрушивается буря…

* * *

Много дней лил, не переставая, дождь. Прохожие начали останавливаться на набережной, чтобы посмотреть на Сену. Серые волны, тяжелые и могучие, с каждым днем поднимались все выше и выше. Они разбивались об опоры мостов, образуя огромные водовороты. Небольшие кораблики, все лето бороздившие Сену, исчезли.

Утром в воскресенье небо посветлело, на нем появились синие провалы. Томас предложил Полине взять фиакр и отправиться в Булонский лес. Она вскрикнула от радости, но сразу же погрустнела. Она не могла появиться на аллее акаций в прошлогоднем наряде…

Томас рассмеялся. Конечно, он ничего не понимал… Но он не стал настаивать, рассчитывал иначе использовать затишье…

Подойдя к окну, он раздвинул шторы, рассеивавшие солнечный свет, добавил брикетов в камин, чтобы Полина не мерзла, разбросал укрывавшие ее простыни и одеяла, стащил с нее ночную рубашку, водрузил посреди комнаты мольберт, скромно пылившийся в углу, и в очередной раз принялся рисовать ее. Красота Полины, сияние ее обнаженного тела сводили его с ума. Она заметно хорошела с каждым днем. Изгибы тела делались более округлыми, оставаясь по-прежнему гармоничными; двигалась ли она, или была неподвижной, ее тело оставалось грациозным, чего она не осознавала, как не осознают свое совершенство цветок, газель или кошка. Полина ослепляла его, и ощущение этого было, возможно, сильнее, чем его любовь.

Она с любопытством смотрела на его первые картины, удивленная и разочарованная тем, что не узнавала себя. Он смеялся и говорил, что сходство не имеет значения.

Обнаженная, она стояла перед картиной, на которой он сделал несколько исправлений; ее спина, ягодицы, ноги приятно согревались камином. Она спросила:

— Но почему ты сделал у меня это… голубым?

Она коснулась своего изображения.

— Ты имеешь в виду грудь?

Она слегка покраснела. Слово «грудь» было запретным, его нельзя громко произносить. Она тихонько повторила его и бурно покраснела от лица до пяток, как спереди, так и сзади.

— Моя грудь… Почему она синяя? Она у меня совсем не синяя!

Она взяла свои груди в руки и с нежностью посмотрела на них.

— Это тень, — ответил Томас. — Тень синяя…

— Да? Между прочим, у меня плечо совсем не желтое!

— Конечно, оно на самом деле совсем не желтое!.. Нужно смотреть все в совокупности… Понимаешь, цвета влияют друг на друга… Плечо кажется желтым потому, что здесь много зеленого…

— Но у меня нет зеленых простыней!

Томас рассмеялся, поцеловал ее и перестал спорить. Она была прекрасна, для него в ней воплотилась красота всего мира… Как можно объяснить ей живопись? Он не мог объяснить ее самому себе. Томас был художником…

* * *

Ночью их разбудили крики и стук в дверь.

— Мсье Леон! Мсье Леон! Вода! Сена вышла из берегов! Наводнение!

Шум подняли сторожа. Их домик находился у ворот парка; у них на первом этаже вода поднялась уже на метр.

Томас вскочил, зажег лампу и поспешно оделся. Полина, разбуженная шумом, ничего не понимала.

— Что случилось? Куда ты собрался?

— Наводнение!.. Ты что, не слышала? Я должен помочь Леону… Нужно спасать зверей…

Она встала на колени на постели и закричала:

— Не уходи! Не оставляй меня одну!

Элен со свечкой в руке молча смотрела, как Томас торопливо спускался по лестнице. Снаружи доносился глухой шум взбунтовавшейся реки.

Сену обычно держали в берегах набережные, воздвигнутые двадцать лет назад по проекту архитектора Белграна, но река нашла на левом берегу плохо защищенное понижение для железной дороги, ворвалась через него мощным потоком и быстро добралась до вокзала Орсэ. Отсюда вода распространилась по улицам в низине, обнаружила стройку линии метро север — юг, обрушилась грохочущим водопадом в туннель, проходящий под Сеной, образовав, таким образом, изящную петлю с самой собой, выбралась на поверхность на станции метро Сен-Лазар, затопив окрестности, и ушла в канализационную систему, повсюду снова вырываясь на поверхность гейзерами через колодцы. Набережная на правом берегу была затоплена от площади Конкорд до Сен-Дени, а низко расположенные кварталы вода залила на территории всего Парижа.

Пять мужчин прежде всего спасли пантеру Лауру. Ее клетку перевезли на тележке к цирковым лошадям в конюшню, расположенную выше остального парка и оставшуюся сухой. Присутствие опасного хищника лошадям явно не понравилось.

Леон надел намордник на медведя Талько и отвел его в круглый салон, привязав цепью к основанию лифта. Жена сторожа в это время устраивала в салоне двух своих детей, постелив им солому перед камином, где грелись змеи.

Слону Цезарю в это время вода уже была по колено; другого, достаточно просторного сухого укрытия для него не нашлось, и Леон, по пояс в воде, снял с него путы и отвел в самую высокую часть парка, где оставил животное на свободе. Слон был старым и спокойным, он плохо видел и был совершенно не опасен, несмотря на три своих бивня.

Вода в бассейне для тюленей поднялась на метр.

— Где Наката? — спросил Томас. — Похоже, она удрала…

Наката была очаровательной самкой морского льва, редкой пятнистой окраски.

— Не волнуйся, она не сможет преодолеть стену и сетку вокруг парка. Пусть позабавится ловлей рыбы между деревьями… У нее давно не было свежей еды…

К рассвету они закончили самые срочные дела. Томас вернулся домой, промокнув до костей, грязный и голодный. Элен просушила его, завернув в простыню, и заставила выпить литр горячего чая с бутербродами. Он быстро переоделся, поцеловал Полину, свернувшуюся калачиком в постели, и скатился вниз по лестнице. Несмотря на стихийное бедствие, он должен был успеть в банк к началу работы.

Выскочив на металлический мостик, он остановился. Из-под ворот на улицу Рейнуар каскадом струилась вода, постепенно затоплявшая парк.

Он вернулся к матери.

— Улица Рейнуар залита водой… Но ведь это очень высоко над уровнем Сены! Откуда взялась эта вода?

Элен подвела его к окну столовой. В нижней части парка вода прибывала на глазах. Она уже залила основание конюшни и теперь подбиралась к дому.

— Господи, я не смогу попасть в банк…

Он напялил на себя мокрую одежду и спустился вниз помогать мужчинам.

Они смастерили из ящиков, балок и принесенных водой бревен нечто вроде плота, на который взгромоздили клетку с пантерой. Накрыв ее брезентом, привязали плот к столбу ворот. Лошадей перевели в салон. Им пришлось оставить в конюшне жирафу Камиллу, в надежде, что животное спасет ее высокий рост. По крайней мере, крыша в конюшне укрывала ее от дождя. Вода доходила жирафе выше колена, и ее наколенники намокли.

— Она заработает жуткий артрит! — огорченно воскликнул Леон. — Будет хромать на все четыре ноги!

Он обмотал ей шею и грудь соломой, закрепив ее веревками, как делают с деревьями, чтобы защитить их от заморозков. Больше он ничего для нее сделать не мог. Вода к этому времени подступила к дому и уже лизала нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на крыльцо.

Выбраться из дома можно было только через мостик. Вода, лившаяся с улицы Рейнуар, образовала незначительный поток, появившийся неизвестно откуда и быстро стекавший вниз по уклону улицы.

После полудня Томас смог добраться до банка. Многие сотрудники отсутствовали. Мистер Уиндон отправил Томаса с деньгами к его кузену, сэру Генри Ферре. Улица Сен-Гийом была затоплена одной из первых. Сэру Генри пришлось спасаться из особняка на лодке. Сейчас он находился в отеле «Риц».

Когда Томас вернулся в Пасси, подъем воды прекратился. Она остановилась, дойдя до третьей ступеньки. Полина, бледная, непричесанная, бросилась обнимать его. Она была в ужасе. С нижнего этажа доносились стук копыт, запах животных. крики детей и их матери. Время от времени гремел бас Леона, заставлявший всех затихать на несколько минут. Элен еще не вернулась; подача газа прекратилась, а уголь в доме почти закончился. Запасы съестного, в том числе картошки, оказались в затопленном погребе. Обстановка напоминала конец света или, по меньшей мере, кораблекрушение.

Томас успокоил Полину. Ничего страшного не случилось, все скоро наладится. Вернулась Элен со спиртовой лампой и пирогами. Ей удалось заказать два мешка брикетов у угольщика на улице Пасси. Их обещали доставить завтра утром. Для них нашлось сухое место в чулане.

Уровень воды в Сене начал медленно понижаться. Газеты сообщили, что это было самое большое наводнение с XVII века, случившееся в 1658 году, когда Людовику XIV было всего двадцать лет.

Время от времени в парке можно было видеть морскую львицу Накату; она громко звала Леона, желая сообщить ему, как замечательно оказаться

на свободе, хотя и довольно относительной. Другие животные отнюдь не радовались. Слон Цезарь стоял по колено в грязи, и вода показалась ему слишком холодной. В салоне на первом этаже все было перевернуто кверху ногами животными и детьми.

Шама в это время находился по дороге в Америку.

* * *

Сэр Генри захватил с собой, когда спасался в «Рице», несколько самых любимых картин. В самый последний момент, перед тем как спуститься в лодку, он забрал полотно, больше других интересовавшее, раздражавшее и интриговавшее его. Это была картина, написанная Томасом в Трувиле и оставленная им в комнате, куда его поселил управляющий. Когда сэр Генри вернулся из Кале, управляющий передал ему с кислой гримасой эту картину. Она поразила сэра Генри. Он привез ее в Париж и время от времени подолгу рассматривал. В ней было что-то… Нечто необычное… Возможно, Томас действительно был художником. Или не был…

Когда наводнение закончилось, к сэру Генри заглянул его приятель Тюрье, торговец картинами, пытавшийся всучить ему очередной шедевр. Они пили чай и обсуждали принесенное Тюрье полотно Сера. Картина была весьма яркой, хотя и со следами некоторой спешки. Это был этюд с персонажами будущей «Гранд-Жатт»[1] — женщина с красным зонтиком и маленькая девочка в белом. Сэр Генри находил картину замечательной, но несколько дороговатой.

Взгляд Тюрье неожиданно остановился на картине Томаса, прислоненной к стене. Он встал, поднял ее и подошел к окну. Всмотревшись в картину, он спросил:

— Что это такое?

Сэр Генри улыбнулся.

— А, это картина одного моего знакомого, молодого парня…

— У вас есть другие его картины?

— Нет, только эта…

— Он много рисует?

— Думаю, да…

— Вы видели другие его картины?

— Нет… К чему?..

— Вы не правы. Мне нужно посмотреть их…

* * *

— Моя дорогая, — сказал князь Александр, — если в ближайшее время не увезете меня отсюда, вы рискуете потерять меня навсегда.

— Не говорите глупости, Александр, — возмутилась Гризельда. — Ничто не может заставить вас потеряться.

Нельзя не сказать, что князь действительно страдал. Уже два часа они стояли в толпе, ожидавшей похоронную процессию короля Калабулонга, и хотя давно наступила осень, жара стояла более невыносимая, чем в пустыне Гоби. Было ли связано ощущение такой свирепой жары с повышенной влажностью, или просто с тем, что возраст князя достиг критического рубежа? Князь отбросил эту неприятную возможность. Если он действительно состарился, то это должно было проявиться достаточно давно. Он

[1] Имеется в виду знаменитая картина Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт».

снял колониальный шлем и вытер платком вспотевший лоб. Струйки пота сползали у него с бровей и терялись в бороде. Между прочим, он никогда раньше не потел…

Для высоких гостей не предусмотрели ничего, даже какой-нибудь низкий помост. Тем более, отсутствовали сиденья. Князю пришлось раздать пригоршни серебряных монет, чтобы пробиться вместе с Гризельдой в первый ряд зрителей, смеявшихся и галдевших, словно стая попугаев. Они с раннего утра ожидали процессию с телом скончавшегося короля и своим новым королем. Какое-то время князю и Гризельде удалось постоять в тени забавного дерева, похожего на пучок больших розовых опахал, но тень перемещалась вместе с солнцем, и как они ни работали локтями, чтобы перемещаться вместе с тенью, вскоре оказались на солнцепеке.

Князь вздохнул.

— Нам было бы гораздо приятнее находиться на яхте… И мы вполне могли немедленно направиться… Скажем, к полярным льдам…

— И это говорите вы, человек, который, оказавшись на корабле, мечтает сойти на землю, чтобы поваляться на траве.

— Здесь нет ни травы, ни земли! Только заросли бамбука и лужи повсюду! И слишком теплая вода для питья!.. Если вы действительно хотите увидеть короля, я приглашу его на яхту!..

— Подождите немного, Александр, они приближаются…

Послышалась пронзительная музыка оркестра, загремели гонги, зазвенели колокольчики музыкантов, двигавшихся перед кортежем. Толпа затихла. Воздух был заполнен запахами перца и кардамона; иногда они забивались волнами сладковатого аромата цветущих деревьев. В розовых кронах галдели невидимые птицы, а вниз то и дело падали белые капельки помета.

С противоположной стороны улицы, на ступеньках небольшого храма со стопкой расположенных друг над другом рогатых крыш, стоял рыжий массивный англичанин, возвышавшийся над толпой. Он следил за Гризельдой с помощью бинокля. Она не знала его, но англичанин прекрасно знал ее. Он не смог задержать ее в Лондоне и Кардиффе, но, наконец, смог настичь здесь. Это был Эдвард Лайонс, оборвавший путь Шауна из Пекина в Европу; теперь он собирался остановить его слишком настойчивую вдову. Он истекал потом, его костюм был в мокрых пятнах. Лайонс мечтал об уютном садике виллы в Йоркшире, о божественно прохладном дождике, сыплющемся с неба триста шестьдесят дней в году, и о ледяном тумане в оставшиеся пять дней. Он направил бинокль на дальний конец улицы. Приближался кортеж; во главе колонны маршировала королевская гвардия, наряженная в красные и синие европейские мундиры с легкой белой накидкой поверх мундиров в знак траура.

Гризельда ожидала появления принца Райя. Сегодня наследником должен был стать не он, а его брат Райявамуд. Его место в кортеже соответствовало будущему влиянию при дворе нового короля, а поэтому логичным было рассчитывать на него.

После гвардии прошла небольшая группа детей, подростков и юношей, даже самые маленькие из них были одеты в официальные мундиры, соответствующие английской колониальной моде.

— Что это за детский сад? — поинтересовалась Гризельда. Князь Александр смахнул капельки пота с бровей.

— Это, очевидно, дети короля…

— У него столько детей?

— Думаю, они здесь не все…

Гризельда с тревогой присмотрелась к колонне. Все ли она предусмотрела? Разумеется, она узнает принца. Его невозможно забыть, даже если видел его лишь однажды.

Его родителями были только что скончавшийся король и жена крупного чиновника английского консульства, умершего от оспы. Король принес свои соболезнования вдове, юной блондинке, вместе со шкатулкой драгоценностей. Через несколько дней, когда вдова собиралась вернуться в Европу, она попросила аудиенции у короля, чтобы передать ему ответные подарки. Король принял ее во дворце, и она осталась там навсегда.

Смесь рас обеспечила принцу Райя необычную красоту. Он был выше, чем большинство жителей Сиама, а стройностью фигуры напоминал английского подростка. Матовый цвет кожи, высокие скулы, черные волосы и огромные синие глаза делали его похожим на изображения на римских или византийских фресках. На смуглом лице глаза казались окнами, распахнутыми к свету. Рисунок его губ выглядел в самых серьезных ситуациях и даже во сне так, словно он слегка улыбался. Сначала воспитанный матерью, а затем получивший образование в Англии, принц походил манерами и сложением на коренного англичанина.

Нет… Его не было среди детей короля, переодетых в европейские одежды, выглядевшие на них маскарадными костюмами. В этот момент мимо Гризельды проносили катафалк, который несли слуги. На платформе, накрытой белоснежными коврами, горели тысячи свечей, язычки пламени которых заставляли сверкать бриллианты и разноцветные драгоценные камни, усеивавшие большую золотую урну. Внутри находилось в сидячем положении забальзамированное тело короля. Он в последний раз направлялся в свой дворец, откуда должен выйти только через несколько недель, чтобы отправиться на погребальный костер в ходе еще более грандиозной церемонии.

Гризельда почувствовала на лице тепло от горевших свечей, и до нее долетели запахи горячего воска и сандалового дерева.

— Господи! — пробормотал князь. — Им недостаточно солнца!

За катафалком двигалась большая группа юных красивых девушек в белых одеждах.

— У короля дочерей явно больше, чем мальчиков, — сказала Гризельда.

За ее спиной прозвучала произнесенная на английском языке фраза:

— Их шестьсот, мадам. Но это не дочери короля, это его вдовы…

Гризельда обернулась. За ней стоял европеец; его смуглое лицо свидетельствовало о десятилетиях, проведенных под южным солнцем. В шевелюре можно было заметить редкие седые волоски. Его акцент показался Гризельде немецким.

Он извинился… Что позволил себе… Впрочем, это была его профессия…

— Герхард Нейман, агентство печати Гамбурга… Я знаю вас, мадам…

Гризельда непроизвольно насторожилась. Похоже, что журналист заметил это и улыбнулся с легкой иронией.

— Я знаю, что вы вдова Шеридана, знаменитого автомобилиста, пропавшего во время автопробега… К несчастью, я не смог находиться в то время в Пекине, меня отправили в Марокко, наблюдать за высадкой французских частей. Но Шеридан давно интересовал меня… Очень интересовал… Я знаю о ваших экспедициях… Но широкая публика плохо представляет, чем закончились ваши поиски в пустыне… Если бы вы позволили побеседовать с вами… Мои читатели были бы счастливы…

Он был слишком назойлив. От него нужно было избавиться любой ценой. Гризельде нельзя было становиться объектом внимания публики. Она повернулась к кортежу, отделавшись несколькими неопределенными словами. Она не хотела пропустить принца. И увидела его…

Белый поток королевских вдов заканчивался. Вслед за ним появился новый король, сидевший на троне, который несли несколько силачей в окружении дворцовых чиновников. За ним несли невероятно высокую богиню с обнаженной грудью. В двенадцати руках ярко раскрашенной богини были цветы и птицы. Между новым королем и богиней шел в гордом одиночестве принц Район в траурном белом костюме с золотым шитьем и в небольшой золотой шапочке на черной шевелюре. Он прижимал к груди обеими руками саблю умершего короля, символ надежной защиты королевства от всех врагов. На его лице светилась улыбка, которую Гризельда воспринимала как вызов англичанам. Она, впрочем, как и многие другие, хорошо знала чувства принца. Именно поэтому Гризельда общалась с ним в Лондоне и собиралась встретиться в Бангкоке. Ей требовалась помощь принца на юго-востоке Азии, и она не сомневалась, что сможет получить ее. Район не мог забыть прием, оказанный его матери, когда она решила покинуть Сиам и вернуться на родину. Если принц, учившийся в Оксфорде, дружил с многими английскими студентами и нередко приглашался на приемы в самые известные семьи, то все двери, открывавшиеся перед ним, были закрыты перед его матерью. Он был принцем, тогда как его мать всего наложницей туземного короля, то есть, не больше чем проституткой в постели туземца… Когда Район понял это, он немедленно оставил учебу и вернулся вместе с матерью в Сиам, навсегда сохранив в своей душе ненависть к лицемерной и жадной Англии. Он с радостью вернулся к спокойной жизни в условиях терпимости и доброжелательного отношения к ближнему. Но его мать долго страдала от тоски по родине.

Бинокль Эдварда Лайонса в очередной раз задержался на Гризельде и князе Александре. Между ними, немного позади, можно было видеть лицо Герхарда Неймана. Он то и дело обращался к Гризельде, а та холодно и сдержанно отвечала ему. Но журналист продолжал говорить… Лайонс хорошо знал, кем был немецкий журналист и почему он находился именно там. В то же время, Нейману не нужен был бинокль, так как он прекрасно знал, где находился Лайонс. И он был посвящен в планы англичанина.

* * *

Раздалось несколько выстрелов с большими интервалами, потом прозвучала серия выстрелов, следовавших один за другим. Молли ворвалась в помещение и раздраженно крикнула по-гэльски:

— Ты закончил сходить с ума?

Длинный коридор с облицованными металлическими листами стенами заполнял дым, пахнущий порохом. Джонатан в белой куртке заполнил очередную обойму патронами и ответил Молли:

— Я почти закончил!

Он положил карабин на столик. Это был американский автоматический винчестер, предназначавшийся для охоты на бизонов. На столике лежали также два револьвера, французская винтовка Лебеля и карабин Маузера, применявшийся в немецкой армии.

Молли продолжала ворчать:

— Профессор ждет тебя целых полчаса, уж не знаю, что там он должен тебе преподавать… Он не решается войти сюда, так как боится получить случайную пулю… Давай, иди же к нему!

— Молли, Молли, не нужно нервничать! — промолвил Джонатан. — У меня хватит времени на все!

В его улыбке оставалось еще нечто детское. Но мечтательный взгляд сразу же стал жестким, когда он взял третий револьвер, протянутый ему графом В., старшим охотником князя Александра. Он шесть раз нажал на курок; мишени шесть раз зазвенели в ответ на выстрелы. Одна из них изображала медведя, другая — волка. Специальный механизм заставлял их неравномерно перемещаться.

— Хорошо, — согласился граф. — Good, good…

Он не очень хорошо владел английским, но был известен как великий убийца волков.

Молли чихала и кашляла; ее горло плохо переносило дым и запах пороха. Ей вообще не нравилась сама идея огнестрельного оружия…

Джонатан присоединился к «преподавателю» — это был французский пианист из оркестра князя. Он как раз исполнял этюд Листа, создавая больше шума, чем Джонатан со всеми его револьверами и винтовками. Весело приветствовал своего ученика, захлопнул крышку пианино и схватил стоявшую на этажерке бутылку портвейна с полоской золотистой бумаги. Он терпеть не мог водку, обжигавшую ему желудок. Выглядел профессиональным борцом и никогда не пропускал возможности сразиться с кем-нибудь на ярмарке. За очками на его лице скрывался острый ироничный взгляд. Он наполнил два стакана, хотя Джонатан никогда не пил спиртное. Это не очень волновало преподавателя, так как он с удовольствием выпивал оба стакана.

— Что за страна!.. Нам нужно освежиться, погрузившись в поэзию Вергилия…

И он протянул Джонатану сильно потрепанный томик в кожаном переплете с изданием «Энеиды».

Гризельда попросила его улучшить французский своего сына. Так как он обладал знаниями во всех областях науки и человеческой деятельности, его уроки французского постепенно распространились на латинский, русский и немецкий языки, на искусство, историю, математику, астрономию, астрологию, политику и даже на игру на пианино.

Он очень нравился Джонатану.

— От тебя несет порохом, как от старого артиллериста! Это отвратительно!

— Кто такой артиллерист?

— Это солдат, стреляющий не из ружья, а из пушки.

— Я стреляю из винтовка…

— Из винтовки. Это женский род.

— Из винтовки и револьверы…

— Из револьвера. Он мужского рода.

— Почему так нелогично? — удивился Джонатан.

— Не знаю, — довольно ухмыльнулся педагог. — Так должно быть во французском.

— В английском винтовка и револьвер одного рода. Это гораздо проще…

— Английский придуман для людей с очень маленьким мозгом…

— Со своим маленьким мозгом англичане выигрывают все войны!

— Умные люди не воюют. И когда им объявляют войну, они проигрывают… Таким образом англичане захватили половину мира…. Чтобы выиграть войну, надо знать один простой секрет: там, где у противника один солдат, у тебя должно быть два!

— А вы, французы, считаете себя умными?

— Да, конечно!

— Значит, вы должны были проиграть все войны?

— Нет… Время от времени мы вспоминаем эту простую вещь и выигрываем одно или несколько сражений. Понявший это Наполеон добрался до Москвы. Правда, он не подумал о русской зиме…

— Вы собираетесь воевать с Германией?

— Об этом много говорят, но, надеюсь, все сильно побаиваются войны. Правда, на этот раз мы будем втроем: Франция, Англия и Россия.

— А если Россия объединится с Германией?

— Тогда мы просто не станем воевать и позволим Германии самой объявить нам войну. Итак, мы еще раз окажемся идиотами.

— Что это — идиот?

— Это грубое выражение. И это одновременно нечто замечательное, что ты можешь использовать, не называя его.

— Не понимаю…

— Поймешь позже… Открой книгу на странице сорок три… Ты собираешься завтра охотиться на тигра?

— Да, конечно.

— Тебе нравится убивать животных?

— Не знаю… Я никогда никого не убивал… Но иногда приходится делать то, что тебе не нравится…

* * *

Писатели всегда обсуждают одну и ту же книгу, художники — одну и ту же картину. Убийцы совершают всегда одно и то же преступление. С вариантами, так как все они разные. Когда Эдвард Лайонс узнал, что принц Райя пригласил Гризельду и князя Александра на охоту на тигра и что сын Гризельды и убитого в Гоби мужчины тоже будет участвовать в охоте, он обрадовался. У него неожиданно появилась возможность покончить одним ударом со всем гнездом врагов его страны. Уничтожить их будет труднее, чем расправиться с двумя людьми, оказавшимися в безлюдной пустыне, но нужный результат все же вполне достижим. Чтобы организовать охоту на тигра, требуется несколько дней. Для организации охоты на человека необходимо примерно столько же времени. Эдвард Лайонс связался со своим информатором во дворце, человеком по имени Анг Энг. Он был вожаком небольшой банды кхмеров, назвавших свою организацию именем древнего воинственного короля, которая несколько месяцев назад спустилась с гор на равнину, где грабежи давали более существенный результат.

У Герхарда Неймана были информаторы среди китайских торговцев, все покупающих, все продающих и знающих все. Выслушав его, он испросил аудиенцию у принца Райя.

* * *

Электрический вентилятор крутился под потолком, лениво перемешивая вязкий воздух. Гризельда сидела прямо под ним в длинной рубашке без рукавов из нежного индийского хлопка, весившего не больше, чем половинка птичьего пера. Молли укладывала ее волосы на ночь.

Через открытые иллюминаторы, защищенные от москитов сеткой, каюта заполнялась запахом цветов, пряностей и кухни плавучей деревни в близком порту, состоящей из множества небольших лодок, тесно прижавшихся друг к другу. Вместе с запахами в каюту влетали смех, песни, крики, музыка. И запах ила. И пение громадных лягушек, населявших притоки. И голоса больших странных ночных птиц, охотившихся за лягушками.

Негромко и равномерно билось надежное сердце судна. Это был работавший на угле механизм, никогда не выключавшийся, чтобы непрерывно снабжать корабль электричеством. Молли ворчала, словно терьер, у которого мастиф отнял любимую косточку.

— Вы сошли с ума! Брать с собой ребенка, чтобы участвовать в охоте на тигров! Вы просто свихнулись!

— Это уже не ребенок, Молли… Ой! Не дергай! Осторожнее!..

— Я дернула вас за волосы, и вы вскрикнули!.. А если тигр сожрет его или оторвет ему руку? Наверно, тогда будете кричать громче, чем сейчас!

— Глупая! Мы ведь будем на слонах, а вокруг нас охотники с ружьями… Скорее всего, мы даже не увидим тигра… Ты же знаешь, что мне нужно поговорить с принцем Райя!..

— Вы будете разговаривать с ним на слоне? Разговаривать и стрелять из ружья?

— Молли! Не прикидывайся дурочкой!.. Я встречусь с ним накануне вечером, во время стоянки… Как это называется? Не могу запомнить эти нелепые названия…

— Все это делается только для того, чтобы продолжать войну с Англией!.. Но ведь вы англичанка!..

— Я сражаюсь за Ирландию!.. Ты упрекаешь меня в этом?

— К чему все это приведет нас? Мой Ферган погиб! Мистер Шаун погиб!

— Они не погибли! — закричала Гризельда.

— Тогда где они? Вы можете сказать это мне?

Молли сильно дернула за прядку, которую укладывала в этот момент.

— Ай! Оставь меня! Иди к себе, ложись спать!..

— Нет, я не пойду спать! Я не хочу спать!.. Мне снятся одни кошмары… Прошлой ночью видела сон, что каменная пирамида королевы Маав вспыхнула, словно порох, а потом раскололась пополам, и внутри нее находился дьявол с лицом этого проклятого капитана МакМиллана, который повесил Брайана О'Маллагина, умершего совершенно голым, словно свинья, и, конечно, попавшего в ад, где он и будет жариться до конца дней! А капитан держал в руке вилы, размахивал ими и кричал: «Иди ко мне, мой красавчик! Иди скорее!» А вы знаете, кто прибежал к нему? Джонатан, мой ангелочек! А вы, его мать, бежали сзади и кричали: «Скорее, скорее! Мы должны поторопиться!» Вот куда вы ведете своего ребенка! Я прекрасно понимаю, вы хотите, чтобы он отправился в Ирландию сражаться с англичанами. И что мы имеем с тех пор, как заварилась эта каша? Все наши парни, оставшиеся на родине, были расстреляны или повешены, и это было во времена наших дедов и прадедов, и с тех пор мы ни на шаг не приблизились к своей цели… Сколько наших было казнено… А теперь этот кошмар ждет Джонатана, моего малыша, моего ребенка!

— Замолчи, Молли!

— Конечно, вы всегда можете говорить все что хотите!.. Но я тоже имею право хоть один раз сказать все что думаю!.. Пока с нами был мой Ферган, мой мужчина, он знал, что нужно делать, и я молчала! Но теперь со мной остался малыш Джонатан, и я больше не могу молчать!.. Боже, неужели он тоже очутится в этом аду? Да, это вы родили его, но он всегда был на руках у меня, здесь, возле моего сердца, и я имею право сказать все… Я не хочу, чтобы он отправился на эту проклятую охоту! Я не хочу, чтобы он участвовал в сражениях! Он не должен сражаться ни с тиграми, ни с англичанами, которые хуже тигров! Я не хочу, не хочу!..

Она зарыдала, и ее слезы падали на волосы Гризельды. Гризельда встала, поцеловала Молли, усадила на постель рядом с собой, высушила ее лицо и заговорила с ней тихо, нежно, убедительно.

— Что касается тигров, то здесь нет никакого риска, клянусь тебе, охота для него будет всего лишь развлечением. Кроме того, не будет многих тигров, а всего лишь один старый беззубый тигр… А в Ирландии мы должны продолжать борьбу, ты хорошо знаешь это, моя Молли, мы с тобой и Джонатан тоже, когда станет старше. Сейчас не время останавливаться. Ирландия будет свободной, это последние сражения, Шаун был уверен в этом…

— И к чему, мадам, его привели эти мысли вместе с моим бедным Ферганом? Чем закончили эти двое несчастных? А вы никак не можете остановиться, скитаясь по миру с сыном, который никогда не видел своей родины!.. Ах, мадам, если бы вы только захотели… Это так просто!.. Принц такой прекрасный человек!.. И такой богатый!.. Он смог бы выкупить для вас остров… Мы вернулись бы туда… Вместе с Джонатаном… Мы позвали бы туда ваших сестер… Вместе с их детьми… И, может быть, Эми — она наверняка еще жива… К нам вернется и лис Уагу со своим белым хвостом… Мы были бы счастливы, мадам, очень счастливы… Может быть, вернулся бы и Ферган вместе с мсье Шауном… Вы правы, возможно, они и не погибли, не может быть, чтобы они оказались мертвы, не может быть!

Она снова заплакала, скорчившись на стуле, закрыв лицо обеими руками. Гризельда молча стояла возле нее, глядя вдаль, и слезы текли по ее щекам. Было слышно, как волны негромко плещутся о корпус судна. Где-то пел ребенок тихим нежным голосом. Может быть, это пела женщина, баюкавшая ребенка. Она вскоре замолчала.

* * *

Князь Александр не стал вставать. Конечно, он с удовольствием принял бы участие в охоте на тигра, но одна только мысль, что для этого придется бродить по влажным душным джунглям, вызывала у него отвращение и слабость в коленях. Гризельда пообещала ему, что они уедут из Бангкока после того, как вернется с охоты. Отсутствовать она собиралась не больше недели, поэтому он немедленно начал собираться.

Гризельда, Джонатан и граф В. уехали на повозках из бамбука, в которые были запряжены горбатые буйволы, передвигавшиеся почти с такой же скоростью, как лошади. Их сопровождала кавалькада всадников на лошадях. В последний момент перед отправкой эскорт по приказу принца Райя был увеличен в два или три раза.

Пунктом сбора для охотников был назначен монастырь, размещавшийся в подземных галереях, вырытых в склоне холма из красного песчаника на краю джунглей. Они прибыли в монастырь поздно вечером, и их встретили монахи в желтых одеяниях, с гладко выбритыми головами. На деревьях собралось множество обезьян, взволнованных появлением такого количества гостей. Гризельду с сыном и графа привели в небольшую круглую комнату; ее стены украшали многочисленные небольшие изображения, вырезанные на каменных плитах. На полу, в связи с отсутствием столов, монахи расстелили скатерти и расставили чаши с дымящимся рисом и блюда с фруктами. Масляные лампы, сильно дымившие и наполнявшие помещение запахом прогорклого жира, были расставлены вдоль стен и весьма скудно освещали комнату.

После ужина гостей развели по небольшим комнатам без окон и дверей, вырубленным в толще песчаника. К Гризельде пришел совсем юный монах, что-то пытавшийся объяснить ей на непонятном языке и непрерывно жестикулировавший. Она поняла, что ее куда-то приглашают. Монашек

привел ее в громадный зал, высокий свод которого терялся в темноте и казался черным небом. Судя по размерам зала, он должен был занимать чуть ли не все недра холма. В зале возле стены лежала гигантская статуя Будды, вырубленная из песчаника непосредственно на месте. Голова Будды опиралась на согнутую в локте руку; глаза его были закрыты, и казалось, что он спит вечным сном. На то, чтобы пройти от ног спящего до его головы, Гризельде потребовалось около минуты. Вокруг спящего гиганта толпились, словно придворные вокруг властелина, небольшие статуи стоящих или сидящих будд самых разных размеров, казавшиеся лилипутами рядом с Гулливером.

Повсюду горели масляные лампы. С потолка то и дело срывались капли сконденсировавшейся влаги, напоминая редкий дождь. Возле головы великана находилась сидящая статуя Будды, очевидно, покрытая слоем золота. На коленях у него лежала охапка свежесрезанных цветов. Небольшие полированные белые камешки изображали широко открытые глаза Будды; в них были вставлены зерна халцедона, изображавшие радужку, а в их центре находились черные алмазы, соответствовавшие зрачку. Трепещущий свет масляных ламп дрожал на золоте статуи, отражаясь от пристально смотревших на гостью глаз.

На пьедестале статуи сидел принц Райя, державший в руке золотой цветок, взятый им у Будды. В царившем в пещере полумраке его глаза казались такими же яркими, как и глаза Будды.

* * *

Гризельда ошиблась, посчитав, что объектом охоты будет старый дряхлый тигр. Нет, для такого охотника, как Райя, был выбран могучий хищник, поселившийся в выступе джунглей, глубоко внедрявшемся в просторную лесостепь, за которой начинались обрабатываемые земли. Ночью тигр выходил из леса, чтобы похитить из ближайшей деревни очередную жертву — буйвола или, иногда, крестьянина.

Разбухшее солнце медленно поднялось над горизонтом, отражаясь в воде рисовых полей. Загонщики заняли исходную позицию между деревьями.

Накануне Гризельда долго беседовала с принцем Райя. Он обещал ей помощь, как деньгами, так и непосредственным участием. Они договорились о пунктах встречи и средствах связи по всему миру.

Сейчас Гризельда находилась рядом с принцем на спине громадного слона. Они были в белом — он в куртке и широких сиамских брюках, она — в длинном белом платье и большой соломенной шляпе, к которой прикреплялась вуаль. На соседнем слева слоне сидел Джонатан, в сапогах и красной одежде в русском стиле. Как объяснил ему портной на «Федоре», это был цвет сражения, цвет победы. Вместе с ним на этом слоне находился граф В. в сером охотничьем костюме, недовольно поглядывавший на мальчика в красном, так как, по его мнению, красный цвет мог отпугнуть зверя. Но он слишком плохо владел английским, чтобы объяснить причину своего недовольства.

На остальных четырех слонах размещались попарно лучшие стрелки из королевской гвардии. Перед слонами и позади них гарцевали всадники охраны, сплошной цепью окружившие слонов, когда процессия приблизилась к массиву джунглей, где находилось логово хищника. В соответствии с обычаем, слон, на котором сидел Райя, считавшийся главным охотником, находился во главе колонны.

Разумеется, такое количество ружей против одного тигра было излишним. Но Райя собрал столько стрелков не против тигра, а в связи с инфор-

мацией, полученной им от немецкого журналиста. Он не сомневался, что журналист рассказал правду. Не знал, каким образом будет организовано нападение бандитов; в то же время принцу казалось маловероятным, что оно состоится, когда все охотники будут готовы действовать непосредственно перед появлением тигра. Он считал более вероятным, что нападение произойдет из засады на обратном пути, когда усталые участники охоты смогут расслабиться. Так или иначе, но нужно было постараться предвидеть наиболее возможный вариант. Тем не менее, произошедшее оказалось для него совершенно неожиданным…

По данному начальником сигналу загонщики, отрезавшие выступ джунглей от остального леса, подняли страшный шум и двинулись к оконечности массива, где находился тигр.

При первых звуках гонга, сопровождаемых звоном колокольчиков, грохотом барабанов и ревом больших труб, над джунглями поднялась стая перепуганных птиц. Спавший в укрытии тигр вскочил и с рычанием бросился навстречу загонщикам, но быстро отступил перед их шеренгой. Создаваемая загонщиками какофония напугала его и заставила двигаться навстречу охотникам.

Пройдя около двухсот метров, загонщики столкнулись с неожиданностью: они обнаружили три больших клетки из стволов бамбука с открытыми дверцами. Было понятно, что их доставили сюда по недавно проделанной в джунглях просеке. Начальник загонщиков внимательно осмотрел клетки; их появление и сильный запах тигра вызывали у него тревогу. Но охота началась, и ничего не оставалось делать, как продолжать ее. Начальник приказал загонщикам продвигаться дальше, увеличив шум насколько это было возможно.

Охотники напряженно вслушивалась в приближающийся шум, не сводя глаз с опушки джунглей. Сейчас к звукам инструментов добавились пронзительные крики загонщиков, старавшихся вызвать у тигра панику.

— Вот и он! — негромко сказал Райя.

Из джунглей на открытое место вышел тигр. Увидев перед собой цепь охотников, он гневно зарычал и попытался вернуться в заросли, но адский шум, выгнавший его из леса, стал совершенно невыносимым. Он прижался к земле и двинулся вперед, готовый к прыжку.

— Какое красивое животное! — воскликнула Гризельда. — Неужели его нужно убить?

— Это убийца, — ответил принц. — Он нападал на местных жителей и убивал их, как взрослых, так и детей.

Подняв ружье, он следил за тигром, ожидая, когда тот покажется во весь рост. Второе ружье принц передал Гризельде, но та положила его рядом с собой, явно не собираясь стрелять. Два охотника на находившемся слева слоне тоже следили за тигром, держа его на мушке. Они должны стрелять только в случае, если принц промахнется, что было маловероятно, но все же возможно. Гризельда посмотрела направо, на слона, на котором находился Джонатан. Юноша опустил ружье, но был готов в любой момент спустить курок. Внезапно Гризельда почувствовала страх за сына. Зачем только она взяла его с собой? Да, Молли была права… Она схватила ружье и прицелилась в тигра.

Хищник замер, выпрямился, потом присел, готовясь к прыжку. От слона с принцем и Гризельдой его отделяло всего несколько метров.

Послышались крики. Кричали охотники на лошадях, с трудом справлявшиеся со словно взбесившимися животными, беспорядочно метавшимися и встававшими на дыбы. На открытом пространстве появилось еще несколько тигров; их было много, не меньше пяти или шести. Они выгля-

дели непривычно: тощие, грязные, со сбившейся комками шерстью, явно голодные… У двух тигриц, оказавшихся в этой стае, были видны сильно набухшие соски, свидетельствовавшие о том, что они отделены от тигрят в течение нескольких последних дней. Тигрицы сразу же кинулись на охотников, и голодные самцы присоединились к нападающим.

Первый тигр прыгнул; Гризельда выстрелила, получив сильную отдачу прикладом в плечо, и сразу же поняла, что промахнулась. Отвлеченный криками поблизости Райя тоже выстрелил, запоздав на секунду, и попал тигру в живот. Перехваченный пулей в прыжке, тигр извернулся и обрушился на погонщика слона, которого мгновенно растерзал. Гризельда ударила тигра ружьем, словно дубиной; раненый тигр зарычал, распахнув огромную пасть с чудовищными клыками. Райя выпустил прямо в пасть тигра одну за другой несколько пуль. Голова тигра разлетелась на куски; слон тут же схватил его хоботом, сбросил на землю и растоптал. Погонщик слона свалился на землю, оставив за собой кровавый след. Гризельда несколько раз выстрелила в тигров с левой стороны, где на слоне находился Джонатан.

Со всех сторон загремели выстрелы, и Райя понял, что целью для стрелков были не только тигры, но и он с Гризельдой. Кхмеры Анг Энга, воспользовавшиеся беспорядком, вызванным неожиданным нападением целой стаи тигров, открыли с тыла стрельбу по охотникам.

Часть бандитов прятались в высокой траве; им на помощь неслись стрелявшие на ходу всадники. Сопровождавшая охотников конная охрана, старавшаяся успокоить своих напуганных тиграми лошадей, не успевала организовать достойное сопротивление нападавшим сзади бандитам. Многие из эскорта уже были сбиты пулями с коней. Только слоны, возвышавшиеся как крепости над полем сражения, позволяли своим наездниками вести результативную стрельбу как по атакующим разбойникам, так и по тиграм. Четыре тигра уже были застрелены, остальные продолжали убивать охотников и оказавшихся поблизости от схватки загонщиков.

Джонатан, лежавший на спине своего слона, который повернулся к нападавшим, спокойно, словно в тире, стрелял в нападавших, сбивая с коня одного бандита за другим. Граф В., раненый или убитый, упал со слона.

В этот момент хладнокровие изменило Джонатану. Он выпрямился и выкрикнул приказ слону на языке, который усвоил с самых юных лет, проведенных в Индии. Слон, которого раздражали то и дело задевавшие его пули, испустил боевой рев и атаковал нападавших с высоко поднятым хоботом. Джонатан продолжил стрелять, по-прежнему так же метко, погонщик слона быстро заряжал ружья. Он яростно выкрикивал на гэльском языке проснувшийся в нем и, по-видимому, скрывавшийся в его памяти боевой клич древних гэльских воинов. За возникшим неизвестно откуда красным дьяволом устремились остальные слоны; уцелевшие охотники вели беглый огонь. Через несколько минут тигры были уничтожены, лошади успокоены, остатки эскорта присоединились к атаке на бандитов. Не ожидавшие такого поворота нападавшие бросились врассыпную, пытаясь скрыться. Но теперь их встретили жители двух соседних деревень, бросившиеся на помощь принцу. Вооруженные серпами, вилами, дубинами и ножами, крестьяне ломали ноги лошадям, выпускали у них кишки, приканчивали оказавшихся на земле всадников, извлекали из зарослей спрятавшихся стрелков и уничтожали их.

Все закончилось очень быстро. Старосты двух деревень привели к принцу захваченного в плен Анг Энга. Предатель упал на колени и коснулся лбом земли. Потом выпрямился, ожидая кары. Долго ждать ему не пришлось — Райя уложил его пулей в лоб.

Потрясенная случившимся Гризельда, с ужасом наблюдавшая избиение людей и животных, попыталась оторванной от шляпки вуалью вытереть руки, выпачканные в крови тигра и погонщика слона. Она отбросила шляпу, ее волосы волной рассыпались по плечам. Ее корсаж тоже был в крови.

Жители деревни торжественным гимном отмечали победу.

* * *

Гризельда сидела в небольшой повозке, пред которой трусил запряженный в нее горбатый буйвол, и с ужасом вспоминала кошмар, который довелось пережить. Больше всего ее потрясло неожиданное перерождение Джонатана, вспышка у него бойцовского темперамента. Через плечо возницы она видела сына, во всем белом, сидевшего в передней повозке. Время от времени он оборачивался, чтобы улыбнуться матери. Каким образом этот почти ребенок смог превратиться в отважного бойца с железными нервами, более решительного, чем находившиеся рядом мужчины?

До сих пор Гризельда плохо представляла реальности борьбы, которую вела рядом с Шауном, преимущественно из-за любви к нему. Шаун испытал поражение в этой борьбе; но она пока ни разу не проиграла. За схваткой у Гринхолла она, наряженная в бальное платье, наблюдала с балкона, воспользовавшись светлой ночью Донегола. Это сражение она воспринимала как своего рода фейерверк… Теперь, после сражения с тиграми и бандой кхмеров, Гризельда хорошо понимала, что такое настоящая схватка… Она словно видела со стороны свое лицо, искаженное яростью, льющуюся вокруг кровь, рваные раны от когтей тигра… Она видела Джонатана, стоящего с ружьем на спине слона, Джонатана яростного, неистового…

Это и было настоящим сражением, схваткой… Неважно, за Ирландию, или за что-нибудь другое. Именно ярость схватки превращала человека в тигра. И эта ярость превратила в тигра Джонатана… И она же могла превратить его в бездыханное тело. Теперь она не могла продолжать подталкивать его к участию в войне с англичанами… Но могла ли вместе с Джонатаном перестать участвовать в борьбе, могли ли они отказаться от движения к цели, поставленной перед ней Шауном, живым или мертвым?

Все смешалось у нее в голове, в ее сердце. Она должна была спокойно обдумать случившееся, оставив его позади, обретя покой и способность трезво мыслить, когда окажется на судне в открытом море.

Было и другое основание покинуть сушу как можно скорее. Оно заключалось в волнении, которое вызывали у нее отношения с принцем Райя. Она вспоминала свое общение с Шауном во время их первых встреч. Сейчас возникло такое же ощущение влечения и одновременно — боязнь потерять свободу. В случае с Шауном она в конце концов сдалась, сдалась с радостью. И ей ни о чем не пришлось жалеть. Но она не хотела повторения… Теперь жаждала остаться свободной перед всем миром…

После охоты, оказавшейся такой страшной, такой кровавой, принц Райя сказал ей поздно вечером в монастыре, что надеется еще раз увидеть ее, прежде чем она покинет Сиам. И Гризельда обещала ему это. Ее должны ждать во дворце послезавтра… Но она решила попросить князя Александра поднять якорь уже завтра.

Когда она оказалась в порту, ее удивила большая толпа на набережной. Из воды извлекали утонувшего европейца. Крупный рыжий мужчина, он был, скорее всего, англичанином. Ей даже почудилось, что она где-то уже

видела его, — вероятно, во время церемонии королевских похорон… Но сейчас ее беспокоило другое… Как Гризельда ни всматривалась в заполнившие гавань суда, многочисленные барки и джонки, несколько английских и немецких торговых кораблей, она нигде не находила того, что искала взглядом: яхта «Федор» исчезла.

* * *

Через пару часов после того, как Гризельда отправилась на охоту, князь Александр получил письмо из русского консульства в Бангкоке. Это письмо уже несколько месяцев гонялось за ним по всему свету, каждый раз оказываясь в том месте, которое он уже покинул. Оно было написано его старшим сыном, и в нем говорилось о его внучатном племяннике, студенте московского университета, к великому огорчению его семьи и всей Святой Руси, связавшегося с анархистами. Недавно он бросил бомбу в карету горячо любимого народом царя Николая II! К счастью, он промахнулся, и царь не пострадал, но при покушении погибли три человека. Офицеры, сопровождавшие царя, застрелили на месте юного безумца. Полиция не стала сообщать прессе сведения о преступнике. Таким образом, фамильная честь рода была сохранена. Но для всех членов семьи случившееся стало предметом сильных переживаний и великого стыда.

Прочитав письмо, князь решил немедленно вернуться в Россию. Его подгоняло чувство долга. Он, как старший в семье, хотел немедленно, не теряя ни минуты, упасть на колени перед царем и попросить у него прощения. Он уже и так опаздывал на полгода, а до его возвращения в Россию пройдет еще несколько недель, прежде чем он сможет оказаться перед царем; тем не менее, все решала энергия, с которой он спешил вернуться. Отдав приказ о подготовке судна к выходу в море, он написал большое письмо Гризельде. В письме говорил, что она была и остается великой любовью в его жизни, и объяснял причину своего срочного возвращения на родину. Извиняясь, он просил ее принять скромный подарок.

В качестве подарка прежде всего упоминался небольшой дворец из розового мрамора, который князь успел купить и обеспечить слугами. Кроме того, он оставил Гризельде чемодан, набитый валютой Сиама и фунтами стерлингов, а также портфель из медвежьей шкуры с аккредитивами, которые можно было предъявить в Лондоне, Париже, Берлине и Нью-Йорке. Здесь же находились необходимые документы на русском языке с его вычурной подписью. Следует еще упомянуть шкатулку с драгоценностями и штабель чемоданов с мехами, различными предметами искусства, бутылками водки, саблями и другим оружием для Джонатана. Все это было доставлено в розовый дворец и находилось под наблюдением Молли. Последним подарком оказался Жан О, оставшийся, чтобы продолжать воспитание своего юного ученика; он получил заработную плату за десять лет вперед.

Князь знал, что его поведение могло показаться недостаточно корректным со всех точек зрения; тем не менее, он написал, что не сможет жить, пока не получит от Гризельды письмо, в котором она простила бы его. Князь оставлял для себя надежду когда-нибудь снова увидеть ее. Он тысячу раз целовал ее руки…

«Федор» покинул Бангкок в тот же день, проложив себе дорогу среди множества расцвеченных во все цвета радуги джонок, благодаря которым гавань выглядела яркой цветочной клумбой. В качестве прощального привета он обдал ее дымом с мелкой угольной пылью.

* * *

— У тебя все в порядке? Ты уверена?

Полина не ответила. Она только слегка пожала плечами, не повернув головы. Она сидела на плетеном стуле возле окна и смотрела, как на бесконечное поле свеклы, только что выпустившей первые листочки, непрерывно льет дождь. На обочине дороги с полными воды канавами стояла тачка, задравшая свои тощие руки к небу.

Томас целый месяц не посещал жену, и сейчас с ужасом увидел, как она изменилась за сравнительно короткий срок. Огромный живот, раздувший серое платье, которое перешила ей Элен из какого-то старья, расплывшееся лицо, свисающие на плечи наполовину распущенные прядки волос… Казалось, что она уже много дней не причесывалась. Жилье с полным пансионатом нашла для нее Элен с помощью агентства, специализировавшегося на предоставлении кормилиц; кроме того, оно имело в своем распоряжении адреса, куда можно было отправить «для отдыха» нечаянно забеременевших молодых девушек или жен с подозрительно ранней беременностью. Обычно женщины возвращались в город через несколько месяцев, оставив ребенка на воспитание у местной няньки. Гораздо реже они привозили с собой новорожденного неопределенного возраста. Так или иначе, но честь семьи сохранялась.

Именно то, что рождение ребенка ожидалось в апреле, тогда как свадьбу сыграли в октябре, было существенным для Элен. Конечно, никто не мог сопоставить даты, если не считать Леона и сторожей при животных… Но этого было достаточно для возникновения чувства стыда…

Элен сама отвезла Полину в деревню и помогла ей устроиться в комнате на втором этаже большого фермерского дома, прямо над кухней. Стены комнаты были оклеены коричневыми обоями с желтыми цветами, расположенными по прямым линиям как по горизонтали, так и по вертикали. В комнате ничего не было лишнего: деревянная кровать, шкаф, ночной столик, два стула и ведро с водой для гигиенических процедур. Все чистое и ухоженное. Уборкой занималась жена фермера, женщина неопределенного возраста. Кроме трех детей у нее был огромный живот, почти такой же большой, как и у Полины, но он не мешал ей ежедневно мыть пол в комнате квартирантки. Улыбчивая, розовощекая, с волосами, убранными в высокий шиньон, она всегда оставалась жизнерадостной и говорила очень громко, привыкнув иметь дело с детьми и животными. Полина плохо понимала речь жительницы северной части страны и поэтому не всегда отвечала на ее вопросы. Впрочем, хозяйку это не смущало. Она принесла в комнату квартирантки всю библиотеку, имевшуюся на ферме: «Миньону»[1] и несколько томиков «Пардальянов»[2].

Деревенская акушерка часто появлялась, чтобы осмотреть Полину. Она заметила, что беременная слишком располнела, и посоветовала ей чаще гулять. Она была такой же жизнерадостной и говорила так же громко, как хозяйка. На подбородке у нее размещалось несколько больших бородавок с пучками жестких волос. Крестьяне говорили, что дети, к счастью, рождаются с закрытыми глазами, иначе, увидев лицо акушерки, они тут же кинулись бы назад в то место, откуда только что появились…

---

[1] Миньона — персонаж романа Гете «Вильгельм Мейстер», девочка, присоединившаяся к труппе странствующих актеров.

[2] Серия из 10 авантюрных романов, написанная журналистом и писателем Мишелем Зевако (1860—1918).

Однажды солнечным днем Полина решила выйти на улицу для прогулки. Но не осмелилась пройти через двор, на котором в грязи валялись свиньи. Она вернулась в свою каморку и больше не пыталась гулять. Полина проделывала несколько шагов от постели до окна и обратно, смотрела на одни и те же поля, потом прочитывала несколько страниц из первой попавшейся на глаза книги и тут же забывала прочитанное. На следующий день она начинала читать с той же самой страницы, что и накануне. Поэтому одну книгу могла читать вечно, и у нее не было гарантии, что когда-нибудь доберется до конца. Она существовала вне времени, вне обычной жизни. Немного оживлялась она в обед, когда на ее столе оказывались суп, сосиски, отварной картофель или бобы. У нее всегда был прекрасный аппетит, ей все нравилось, и она обычно с нетерпением ожидала обеда или ужина; других примечательных моментов в ее жизни не было.

После низвержения из шикарного отеля на улице Буа в три комнатушки для горничных в Пасси второй этап унизительного падения добил ее окончательно. Полина пыталась сопротивляться отчаянию с помощью совершенно животной пассивности. Она уже не была живым организмом, в котором зарождалась новая жизнь, а превратилась в нечто вроде автоматически действующей фабрики, о которой можно не заботиться. Она старалась избавиться от слишком болезненных воспоминаний о своей прошлой жизни. В ее сознании возникло все увеличивающееся пламя раздражения, готового перерасти в ненависть. Она не ставила в вину Томасу свою беременность, но не могла простить ему эту ссылку на край света, в одиночество среди полей свеклы и луж со свиньями. С ней обошлись не лучше, чем с каторжниками Кайенне. Полина догадывалась, что Элен наказывала невестку за то, что она обеспечила ее сыну дитя не в положенное время.

Она ждала Томаса каждое воскресенье, но он появился только через месяц. То есть, слишком поздно. Теперь все закончилось… За прошедший час она не сказала ему ни слова. Он пытался оправдываться, пытался объяснить, почему не приехал раньше. Объяснение оказалось не слишком правдоподобным. В субботу после обеда в расписании не оказалось поезда; он едва успевал туда и обратно с воскресным поездом. Глупо было столкнуться с такими хлопотами из-за подобной ерунды.

— Но с тобой все в порядке? Ты здорова? Ты уверена, что все хорошо?

Полина ничего не отвечала. Она смотрела на тачку.

В комнату вошла хозяйка с двумя тарелками, заполненными картошкой с салом. Она прижимала их к своему огромному животу. За ней появилась кошка. Белая кошка тоже была беременной, ее живот едва не волочился по полу. Томас с ужасом увидел перед собой три существа с огромными животами. Он схватил шляпу и молча удалился. Ему нужно было успеть на вокзал к своему поезду.

Полина наблюдала, как Томас уезжал на велосипеде в дождь и туман. Постепенно он становился все меньше и меньше, пока не растворился в тумане среди свекольных полей.

* * *

В это воскресенье сэр Генри решился на визит к Томасу, чтобы познакомиться с его живописью. Он постарался, чтобы его интерес не выглядел главной целью. Застал одну Элен. Обрадовавшись его визиту, она, разумеется, предложила чаю. Он отблагодарил ее комплиментом: обычно у французов такой плохой чай…

— Ваши дети отсутствуют?

— Да, Томас уехал к жене, она сейчас отдыхает в деревне… Видите ли… Возможно, что… В общем, не исключено, что я этим летом стану бабушкой…

— Ах, вот как! Замечательно!..

— Как поживает ваша матушка Августа?

— Все такая же активная!.. Она продолжает охотиться на лис!.. Кстати, разве Томас…

— А остров? Вам известно, кто там живет сейчас?

— Не очень… Думаю, никто… Решетка на дамбе остается запертой… Не могу сказать вам, кому он сейчас принадлежит… Кстати, Томас продолжает рисовать?

Она удивилась; неужели сэра Генри, человека, занимавшего высокое положение в обществе, могли интересовать подобные пустяки?..

— Как-то он сказал мне, что иногда занимается живописью… Мне хотелось бы взглянуть, что у него получается… Может быть, вы покажете мне парочку его полотен? Что-нибудь из самых последних… Разумеется, я не хотел бы показаться нескромным…

Элен с ужасом подумала, что он увидит портреты обнаженной Полины, которыми увешаны стены в голубятне, и сказала…

— Он перестал рисовать.

— Совсем перестал?

— Да, совсем… Уже давно… Он стал серьезным человеком… Сейчас заботится о своем будущем… В особенности это важно теперь, когда он собирается стать отцом… Мой дорогой Генри, у вас ведь есть связи, не могли бы вы обеспечить ему место в лондонском отделении банка? Вы ведь знаете, какой он умный юноша… Он станет ценным сотрудником… Только в Лондоне он может сделать настоящую карьеру… Еще чаю?

— Спасибо, с удовольствием…

— Таким образом он стал бы ближе к нашим родным местам… Мы обязательно вернемся туда, рано или поздно… Когда я вспоминаю о Сент-Альбане, мне иногда кажется, что остров разбивается на куски, словно под воздействием какого-то катаклизма, а потом отдельные куски снова объединяются, чтобы восстановить остров…

— Чудесный образ… Действительно…

— Мы вернемся туда, Генри, можете не сомневаться…

— Я и не сомневаюсь, Элен… А у вас нет новостей… Никаких вестей от Гризельды?

— Никто не знает, где она сейчас…

— Очень странно, очень… И очень жаль… Я подумаю, что можно сделать для Томаса… Вы знаете, эти банкиры не любят принимать во внимание дружеские отношения… Настоящие финансовые акулы!.. Ха-ха-ха!

Он посмеялся, потом встал и откланялся. Элен подумала, что отец был прав, когда говорил, что Генри был чудесным ребенком, но с довольно посредственным интеллектом. И он считал, что она, то есть мать Томаса, была весьма скромной женщиной… Может ли сын такой незаметной женщины быть художником?

Когда он ушел, Элен с ужасом подумала, что Генри может попросить Томаса показать ему картины, и Томас вполне способен продемонстрировать ему свою жену обнаженной… Художники не видят обнаженную женщину голой… Для них это всего лишь живопись…

Элен нашла в комнате Томаса все картины, которых насчиталось семнадцать, разрезала их ножницами на куски и сожгла в камине. Они хорошо горели цветным пламенем, образуя пузыри краски на холсте. Но после них оставался неприятный запах, а также жесткая черная масса, и женщине пришлось раздробить ее, чтобы окончательно избавиться от картин. Ей

понравилась эта процедура, позволившая очистить комнату сына. Последний месяц она снова жила с одним сыном, к ней частично вернулось почти забытое ощущение счастья. Сжигая образ Полины, она представляла, что прогоняет ее из своей жизни.

Томас вернулся очень поздно, мрачный и неразговорчивый. Она приготовила ему омлет из нескольких яиц и лапшу. Сын был очень голодный. За столом ничего ей не рассказывал.

Она смотрела на Томаса, стоя возле стола. Потом спросила:

— Как там Полина?

— Она стала громадиной… Невозможно представить, что женщина может стать такой толстой…

Неожиданно он взорвался:

— Ты отправила ее в жуткое место!.. Мне показалось, что не выдержу там ни одного часа!.. Почему ты не оставила ее прямо в куче навоза?

Она сухо ответила:

— Разумеется, есть более уютные места… Но за них нужно много платить!.. И раз уж она оказалась в такой сложной ситуации, нужно уметь смиряться с некоторыми неудобствами…

Теперь, когда он удовлетворил голод, проснулось его обоняние. Он принюхался, нахмурившись.

— Какой здесь странный запах… Что здесь случилось? Надеюсь, не было пожара?

Элен спокойно рассказала, как привела в порядок его комнату, не упоминая про визит сэра Генри.

Томас вскочил, его трясло. Сначала с удивлением, потом со страхом она наблюдала, как исказилось его лицо и как его охватила ярость.

Он заорал:

— Ты пошла на такое! Чудовищный поступок! Ты не понимаешь? Никогда, никогда, НИКОГДА я не смогу восстановить свои картины! Я никогда не смогу повторить их! Никогда! Сумасшедшая! Чудовище!

Он схватил стул и с грохотом обрушил его на стол. Стул разлетелся на части. Его лицо было искажено гневом, в глазах светилось безумие, взъерошенные волосы торчали во все стороны. Элен показалось, что сейчас он убьет ее. Похоже, он сам осознал, что способен на самое страшное. Он немного успокоился и отбросил ножку стула, которую сжимал в руке. Его руки все еще тряслись. Томас провел руками по волосам, потом прижал их к телу, пытаясь успокоить. Теперь он полностью взял себя в руки и стал холодным, как глыба льда. Он сходил на кухню взял с камина эмалевую коробку с надписью «Рис», в которой, как он знал, мать держала деньги. Вернувшись в столовую, он высыпал содержимое коробки на стол перед бледной, оцепеневшей Элен. Теперь дрожь охватила ее. Она ошеломленно следила за сыном, не понимая причин его бешенства, не понимая, что и зачем он делал.

Перед ней на столе лежала кучка луидоров и несколько банкнот. Он взял половину монет и несколько бумажек и сказал:

— Я ухожу. Мы больше никогда не увидимся.

И он ушел. Элен слышала, как гремит металлическая лестница под его ногами. Потом хлопнула дверь, выходящая на подвесной мостик, и все стихло.

* * *

Ночью Элен ни на минуту не смогла закрыть глаза. Она отчаянно вслушивалась в тишину: Томас должен был вернуться… Другие варианты невероятны, невозможны… Конечно, он вернется… Прогрохотал фиакр

по улице Рейнуар… Он должен был остановиться!.. Нет, он проехал, не останавливаясь… Заскрипел, раскачиваясь, мостик: это он!.. Нет, это был ветер…

Прошла страшная ночь. С дневным светом к ней неожиданно вернулась надежда: конечно, он подошел к дому через парк и теперь давно спал внизу, у Леона. Он не решился подняться к ней, чтобы попросить прощения.

Элен вышла на лестницу и прислушалась. Было слышно, как рано вставший Леон вошел в салон, но ни с кем не заговорил. Она поняла: он не хочет будить Томаса, еще слишком рано, пусть поспит…

Она провела ночь, не раздеваясь, и поэтому могла немедленно спуститься вниз. Услышала голос Леона, низкий, теплый, доброжелательный. Ее сердце подпрыгнуло от радости, и она быстро преодолела последние ступеньки… Оказавшись в салоне, она помертвела: Леон разговаривал с животными…

Без десяти девять она уже ждала на противоположной стороне улицы у банка. До девяти часов в банк один за другим вошли все служащие. В половине десятого Томас так и не появился. Без четверти десять она ушла. В десять часов у нее должен начаться урок. Что бы ни случилось, ей нужно соблюдать обязанности.

Элен вернулась к банку за полчаса до конца рабочего дня. Она видела, как ушли все служащие; последним ушел директор. Потом внутри здания погасли все огни, на улицу вышел сторож и запер двери на все замки.

Может быть, пока она ждала здесь, он уже вернулся домой?

Элен помчалась на велосипеде, едва не разорвав себе сердце, потом, словно безумная, бросилась бежать по мостику. Квартира оказалась пустой и холодной. Все еще чувствовался запах сожженных картин.

Она села в столовой, не зажигая лампы. Через окно в комнату вливался серый, постепенно слабевший свет, и предметы в комнате виделись все менее отчетливо. На полу валялись обломки стула. Опрокинутая коробка с надписью «Рис» все еще лежала на столе, и перед ее открытой пастью попрежнему были разбросаны деньги.

Съежившаяся на стуле небольшая темная тень оставалась неподвижной в сгущавшейся темноте. Дойдя до дна своего несчастья, Элен пыталась понять, что же она сделала, чтобы вызвать такую ярость сына. Наверное, все началось в тот вечер, когда они с мужем покинули Сент-Альбан, в кошмарную брачную ночь… Она вздрогнула. Но, по крайней мере, благодаря этой ночи на свет появился Томас… Вчера Томас ушел, обругав ее, и теперь в ее жизни больше ничего не могло произойти, ничего… Серый свет сменился темнотой. Все вокруг стало черным. Элен не шевелилась. Она спала сидя, раздавленная усталостью и горем, черный силуэт в черноте ночи.

* * *

Почему он так разозлился? Почему ушел? Элен не могла понять, какое отчаяние вызывает у творца уничтожение его творений, каждое из которых уникально и не может быть повторено. Конечно, он может расстаться со своими произведениями, но при этом знает, что они будут жить и без него. Он даже может сам уничтожить свои работы, если, двигаясь дальше по творческому пути, найдет их неудачными, несовершенными. Но знание того, что его картины с еще не просохшей краской были разорваны и сожжены и что он никогда не сможет повторить их, так как с каждым днем становится иным, более зрелым, более опытным, причинило Томасу боль, сравнимую только со страданием матери, на глазах у которой убивают ее ребенка. И нужно еще учитывать, что художник является одновременно

отцом и матерью картины — отцом по сознанию, позволившему задумать произведение, а матерью благодаря рукам, с помощью которых осуществилось рождение задуманного.

Элен могла представить только одну причину, заставившую Томаса с такой яростью реагировать на гибель своих картин; она была уверена, что этой причиной было то, что на них изображалась Полина. Она оскорбила Полину, и этого он не мог ей простить. Таким образом, эта мерзкая особа продолжала причинять ей вред, даже находясь вдали. В конце концов, она добилась того, что Элен потеряла сына.

Но теперь она знала, где он находится, — возле нее! Он кинулся к ней, и теперь, возможно, увезет ее куда-нибудь в другое место… Нет, это невозможно в ее состоянии… Она может родить ребенка в любой момент… Сейчас они находятся вдвоем на ферме; ради нее, ради этой бесстыжей девки он бросил работу, погубил свое будущее, оскорбил мать… И как они собираются жить дальше, не имея средств к существованию? Он сошел с ума… И в этом виновата Полина…

Элен потребовался целый день, чтобы отказаться от уроков на ближайшую неделю. Она приготовила две сумки — одну с вещами Томаса, так как он не взял с собой ничего — ни рубашки, ни даже носового платка. Во второй тоже находились вещи Томаса, которые он носил, когда был младенцем. Господи, ей казалось, что это было вчера… Она забрала всю одежду малыша, когда уходила от мужа. Как оказалось, она поступила весьма предусмотрительно… Теперь эти вещи окажутся весьма кстати…

В ожидании рождения своего ребенка она приготовила множество восхитительных мелочей… Пеленки из шерсти мериноса и из нежнейшего египетского хлопка, кукольные рубашки из батиста, такого тонкого, что он казался совершенно прозрачным, слюнявчики с вышитыми на них листочками ирландского трилистника, небольшие белые чепчики с кружевной оторочкой, подгузники, распашонки и даже шпильки для волос кормилицы…

Она найдет своего сына и своего внука и вернется с ними домой. Полина поедет с ними, если захочет… Но бывает, что женщины умирают во время родов, особенно в деревенской глуши…

Ей стало стыдно при этой мысли, но Элен не могла избавиться от нее. Конечно, она не желала ей этого, нет, ни в коем случае… Но подобное вполне могло случиться, ведь так случалось очень и очень часто …

* * *

Все пространство было затянуто тонкой завесой тумана, легкого и белого, словно платье новобрачной. Весеннее солнце пробивалось сквозь туман, освещая все, до чего дотягивались его лучи, даже черное платье и черную шляпу Элен, выглядевшие более светлыми, чем в действительности; даже темный велосипед казался в его лучах не столько черным, сколько тенью белого. Поднятые оглобли повозки влажно блестели, и металлические детали на их концах сверкали над тонким слоем тумана, становившимся все более тонким и прозрачным благодаря солнцу.

Когда Элен вошла во двор, она услышала крики. Эти крики всегда узнает любая женщина. И это кричала Полина, а не фермерша, Элен не могла ошибиться. Она появилась в нужный момент. Томас будет доволен. У нее потеплело на сердце. Так захотел Всевышний.

В камине на первом этаже пылал огонь. Фермерша развернула на длинном столе скатерть. На полу возле стола стоял большой таз с горячей водой. На скатерти она разложила множество идеально чистых и хорошо

проглаженных полотенец, достаточно мягких для нежной кожи только что появившегося на свет ребенка.

Фермерша радостно встретила Элен. Гостья появилась так вовремя! Хозяйка недавно отправила мужа и детей в деревню к своей сестре. Акушерка уже пришла и находилась наверху возле Полины. Ребенок должен был родиться в самое ближайшее время… С Полиной все шло нормально, но с первым ребенком женщина всегда тревожится сильнее… «У меня этот будет четвертым», — с гордостью заявила фермерша.

Послышался крик, более пронзительный, чем предыдущие, потом все стихло.

— Мне нужно подняться наверх, — сказала фермерша.

Не успела она шагнуть к лестнице, как послышался детский плач.

— Вот и все! Все в порядке! Поздравляю, вы стали бабушкой! Присядьте здесь…

Взволнованная Элен села возле подготовленного для ребенка стола. Но где же тогда…

— А где отец? — спросила она у хозяйки, поднимавшейся по лестнице со скрипевшими под ее тяжестью ступеньками.

— Отец? — с недоумением обернулась та.

— Да, где мой сын, отец ребенка?

— Муж дамы?

— Да, я спрашиваю именно о нем!

— Его здесь нет… Он приезжал сюда в воскресенье и очень быстро уехал. Он даже не стал обедать с нами…

Элен оцепенела. Томаса не было возле Полины… Но тогда… Где же он?

У нее не было времени терзаться вопросами. Сверху спустилась фермерша, прижимая к своему огромному животу и теплой груди маленький белый сверток, из которого раздавалось попискивание. Элен вскочила.

— Это девочка! — воскликнула фермерша. — Какое замечательное дитя!

Она положила ребенка на стол и развернула сверток, в котором лежало розовое дитя, болтавшее короткими ножками и пытавшееся тереть сморщенное личико сжатыми кулачками.

Элен почувствовала, что у нее подгибаются ноги, и была вынуждена сесть. Господи, это же была копия Джона! То есть Томаса! Именно таким он появился на свет… То же личико, тот же розовый цвет… И даже возле пупка точно такая же родинка... Только у Джона она была справа, а у девочки слева…

Фермерша опустила ребенка в тазик и принялась обмывать его, осторожно, как это делают матери, держа одну руку под головкой ребенка.

— Акушерка сейчас приводит в порядок роженицу… У нее небольшое кровотечение, но это мелочи, ничего серьезного… Так было и с моим первым ребенком… Кстати, как вы собираетесь назвать эту прелесть?

Элен об этом не подумала… Она была уверена, что будет мальчик… Тогда она назвала бы его Джонатаном, в соответствии с семейной традицией. За Джоном всегда следует Джонатан, за Джонатаном Джон… А тут, оказывается, девочка…

Она сидела возле окна, за которым солнце продолжало рвать на клочья туман. Небо было молочного цвета.

— Думаю, ее можно назвать Бланш, — промолвила она. — Если отец не станет возражать…

Со двора заявилась белая кошка, проникнув через кошачий лаз. Она держала в зубах только что родившегося котенка, голого, словно червяк. Крики в доме напугали ее, и она разродилась на соломе в хлеву. Теперь

успокоилась и вернулась в дом. Уложив котенка в специально приготовленный для нее ящик с тряпками, она вышла за следующим.

Элен открыла сумку с детскими вещами и принялась помогать фермерше одевать ребенка. Закончив, она взяла на руки маленькое нежное существо и принялась медленно, осторожно баюкать его в колыбельке из своих рук, прижав дитя к груди, закрытой черным платьем.

* * *

Горизонт на картине, казалось, достигал пределов пространства; выше всего устремлялось бурное небо, серое с зеленым. На море весь свет сбежался в тонкую рваную линию, на которой едва виднелся миниатюрный белый парус. На первом плане протянулся рыжеватый пляж со стоящими на песке отдыхающими, пока только намеченными, и с лежавшей на животе, засунув руки по локоть в кучу красного песка, девочкой в лиловом платье, обшитой белыми крылышками кружев шапочке, черных чулках и туфлях с острыми носами.

Сэр Генри посмотрел на настоящее небо, на котором собиралась разразиться гроза с ливнем, громом и молнией, и на совершенно пустой пляж. Художник стоял к нему спиной. Он трудился над первым планом своей картины, разбрасывая по полотну красные, желтые, белые и бледно-розовые пятна. Контраст между трагичностью моря и неба и сияющим весельем первого плана заставил сэра Генри поморщиться. У художника, несомненно, имелся талант, но ему явно недоставало уравновешенности. Ему стоило еще многому научиться. Рисовать и рисовать без отдыха… Он сидел на ящике; мольберт воткнул перед собой в песок. Городской костюм на нем выглядел измятым и грязным, на голову он нахлобучил большую крестьянскую шляпу из потемневшей соломы, грязную и потрепанную.

Сэр Генри осторожно шагнул вбок, чтобы разглядеть лицо художника, и узнал в нем Томаса, несмотря на сглаживавшую его черты бородку. Он попятился и тихонько удалился; не хотел общаться с Томасом, не обдумав как следует разговор с ним. Он знал от господина Виндона, что Томас ушел из банка, никого не предупредив, и что его мать не смогла или не захотела сказать, где его можно найти. В том, что он оказался в Трувиле, не было, по сути, ничего удивительного. Он уже был здесь раньше и почувствовал вкус света, что было настоящей приманкой для художника. А Томас был художником, несмотря на то, что говорила о нем Элен, эта милая приятная старушка… Впрочем, не такая уж и старушка… Сколько ей могло быть лет? Сэр Генри не представлял этого.

Где он жил? И на что? Несмотря на бородку, было заметно, что он сильно похудел. И необходимые ему краски стоили достаточно дорого… Скоро начинался дачный сезон, и сэр Генри хотел привести в порядок свой дом до того, как в нем начнут появляться друзья. Он вполне мог встретить Томаса случайно… И предложить ему поселиться в одной из комнат… Но ему ни в коем случае не стоило вмешиваться в проблемы Томаса!.. Ему достаточно было иметь крышу над головой и еду… Он мог даже заплатить за картину, нарисованную в прошлом году… Конечно, скромную сумму… Художникам нельзя давать слишком много денег, иначе они решат, что достигли совершенства, и превратятся в свои бесплодные копии… Кроме того, не исключено, что эта картина ничего не стоила… Но ему нужно дать денег хотя бы потому, что он, как-никак, был родственником… Он рисует что-то интересное, но его картины смущают… Но все равно это любопытно, очень любопытно…

Через пару недель Томас обосновался на вилле. Он отказался от предложенной ему комнаты и предпочел заброшенную, никем не занятую кладовку, над которой находилась мансарда, где давно перестал спать кучер. Небольшое окно над его постелью и широкая дверь не препятствовали входить к нему небу и морю.

Он потребовал, чтобы кузен никому не говорил о нем, в особенности матери и господину Виндону. Генри пообещал молчать.

Все лето Томас рисовал, рисовал без перерыва. Иногда он рисовал, стоя лицом к горизонту, иногда поворачиваясь к нему спиной. Всегда в своей старой шляпе. Где он ее раздобыл? В дождливые дни, в бурю, в сильный ветер он устраивался в комнате перед открытой дверью и набрасывал одну картину за другой. Почти на каждом полотне можно было видеть жизнерадостную девочку в розовом, иногда в желтом или красном платье, всегда в черных чулках, лодочках с острыми носками и в кружевной шапочке, похожей на фантастический цветок.

Сэр Генри обеспечивал Томаса полотнами и красками, навещая время от времени, но старался не касаться в разговоре его семьи и живописи. Он всматривался в его картины, всегда чувствуя растерянность, разрываясь между безумным восхищением и состоянием шока, хотя и не представлял почему.

Томас ни с кем не разговаривал, кроме своего кузена, с которым обычно обменивался несколькими короткими фразами. Он никогда не спрашивал Генри, что тот думает о его картинах. Занимался живописью, потому что ему это было интересно. Его можно было сравнить с потоком, который не интересуется, что думает о нем рыбак, удящий в нем форель.

Разговаривал Томас также с кухаркой. Он мог появиться на кухне в любое время и съесть все, что там оказывалось съедобного. Кухарка находила его красавчиком и откладывала для него огромные ломти жаркого и большие куски торта. Эта большая нормандка пятидесяти лет ждала его весь день. Когда он появлялся, ей казалось, что к ней пришел большой дуб из сказочного леса. Он улыбался ей, и его бородатое лицо светилось, словно в лучах солнца. Он глубоко вздыхал, довольный и расслабленный; кухарка наливала ему стакан вина, а потом он принимался за еду с аппетитом — такой аппетит мог быть у дерева, если бы деревья умели есть. Уходя, он забирал с собой бутылку.

В день, когда дул сильный западный ветер, девочка на его картине была в белом платье, без чулок и босиком. Она стояла на груде песка, держа в руке кружевную шапочку, и приветственно махала несущимся над ней облакам. Коротко подстриженные волосы, взъерошенные ветром, цветом напоминали золото, а над ее лбом торчал небольшой винтообразно закрученный рог, цветом не отличавшийся от кожи. Буря, море и песок были голубого цвета.

Сезон отпусков заканчивался, и даже самые упорные отдыхающие разъехались. Сэр Генри, остававшийся целую неделю в Париже, вернулся, чтобы закрыть виллу. Он не нашел Томаса ни в его ателье-кладовке, ни в небольшой комнате этажом выше. Пустой мольберт стоял, прислоненный к двери. В колючих зарослях, в которых не осталось ни одной розы, сэр Генри нашел картину в голубых тонах с девочкой-единорогом. В нижней части картины Томас написал крупными белыми буквами свой девиз, бывший также девизом его кузена: Я ВЕРНУСЬ. Потом он зачеркнул слово и попытался замазать его черной краской. Было похоже, что он пинал картину ногами, перед тем как выбросить ее.

Сам Томас лежал в огороде между последними побегами салата. Рядом с ним валялась пустая бутылка. Множество пустых бутылок сэр Генри нашел в кладовке.

Сэр Генри спрятался на вилле от дождя, надвигавшего с моря, словно серый занавес. Он надеялся, что дождь приведет Томаса в чувство. На следующий день он смог повидаться с ним. Томас рисовал лифт, уносивший в потолок половинку голой нимфы. Основание лифта обнимал медведь. Маленькая девочка спала на соломе в корзине вместе со змеями.

Действительно, он не знал, что и думать о картинах кузена. Были они безумием или гениальными творениями? В отличие от предыдущих сезонов, в этом году он не приглашал Томаса в Трувиль. Это вызвало недоумение у торговца картинами… Тем не менее, он должен был показать ему работы Томаса… Так трудно составить самостоятельное мнение о них, дать им оценку…

— Томас, — сказал Генри, — я не хочу показаться нескромным, но что вы собираетесь делать теперь?.. Я имею в виду… Мне нужно запереть виллу… Конечно, если вам нужно работать здесь, можете остаться, я отдам вам ключи… Но Трувиль осенью, как вы знаете… Похоже, что сюда добираются классические английские дожди…

Томас продолжал работать, не отвечая ему.

— Если хотите вернуться в Париж, чтобы работать там… Конечно, я понимаю, что банк вас не привлекает, я давно догадывался об этом… Но я подумал о своем давнишнем приятеле, господине Монтеле, он директор иллюстрированного выпуска «Матэн». Знаете, это отвратительные небольшие брошюрки, выходящие еженедельно, в них публикуются рассказы о происшествиях. Каждый выпуск имеет цветную иллюстрацию на обложке. На этих картинках можно увидеть женщину, зарезанную мужем, полицейских, стреляющих в бандитов, бешеного пса, уносящего в зубах младенца… В общем, множество других очаровательных вещей… У моего приятеля работает целая команда художников, но он постоянно ищет им замену, чтобы разнообразить стиль своих обложек… Уверен, если я скажу ему про вас… Может, это вас заинтересует? Мне кажется, такая деятельность вполне соответствует вашему драматическому темпераменту… Охота за новостями, деятельность журналиста, это ведь очень интересно, не так ли? И у вас будет оставаться время на картины…

— «Матэн»? — переспросил Томас, повернувшись к Генри.

— Да, иллюстрированное издание газеты! И потом, вы уж меня простите, что позволяю себе… Но мы, в конце концов, родственники… Если я верно понял вашу матушку… Несколько месяцев назад она сказала мне, что этим летом вы должны стать отцом… А так как лето уже прошло… Вы не хотите узнать? И, наверное, вы хотите увидеть…

Томас швырнул на пол кисть и заорал:

— Да! Хочу! Но я не могу! Вот и все! Пусть они сами выпутываются из того, во что встряли! И что я представляю для моей матери или для моей жены? Какое значение для женщин имеет мужчина, то, что он делает, что он хочет делать, что у него в голове? Никакого! Никакого! Никакого! Так что пусть они разбираются во всем без меня!

Томас был на голову выше своего кузена. Он вытер о свою куртку руки, выпачканные в краске, и отправился в кладовку. Генри пошел за ним.

— Я понимаю вас... Отношения с женами и матерями… Все это крайне деликатно, крайне... У меня тоже есть мать… Это что-то… Но я обожаю ее… Разумеется, потому, что постоянно нахожусь вдали от нее… Вам нужно как-нибудь заглянуть в Гринхолл, познакомиться с ней… Да, вот вам ключ от этой кладовки… Если соберетесь уехать… Неважно, куда и когда… Вы можете оставить свои картины здесь, они никуда не денутся,

здесь всегда сухо, несмотря на все дожди… Вернетесь, когда захотите… Кстати, вы не согласитесь продать мне девочку в фиолетовом?.. И эту, в желтом… Нет, лучше эту, в розовом… Господи, мне хочется приобрести все эти картины!.. Конечно, если вы сделаете мне скидку… Ха-ха-ха!

* * *

Томас встретился с Леоном в парке, недалеко от дома. Обогнав случайного прохожего, он оглянулся и узнал его.

Он рявкнул:

— Бородач!

Они обнялись и долго хлопали друг друга по спине, их бороды смешались.

Загудела земля, с деревьев посыпались листья. К ним мчался Цезарь, ревевший от радости. После наводнения Леон позволял ему свободно бродить по парку. Цезарь осторожно снял у Томаса с головы шляпу-канотье и сжевал ее. Она захрустела, словно гренка. Его третий бивень был короче, чем два других. Он торчал в небо справа от правого из них.

— Разбойник! — воскликнул Томас. — Что, Леон тебя не кормит?

И он стукнул кулаком слона по хоботу. В восторге от этой ласки, Цезарь наклонил голову, чтобы ему почесали за ухом.

— Хватит, хватит, — остановил его Леон. — Иди к себе в стойло!

Цезарь ушел, помахивая хвостом, чтобы показать, что он сам захотел уйти.

Леон, сияющий от счастья, смотрел на юношу, ставшего мужчиной, которого уже не надеялся увидеть.

— Ну, бродяга! — сказал он. — Так вот исчезнуть!.. Ладно, неважно, ты же вернулся… Но ты здорово похож на меня! Особенно с этой бородой! Я не удивляюсь, всегда думал, что я твой отец!..

— Конечно, ты мой отец! У меня нет другого отца, кроме тебя!

— Тогда буду твоим дедом!.. Ну, в этом случае я имею право поцеловать тебя, мое сокровище, мое чудо!.. Да, твоя мать не позволяет мне показываться ей на глаза, поднимись скорее наверх, она такая несчастная…

— Ты не знаешь, что она мне сделала…

— Я не хочу ничего знать… Она твоя мать…

— Представь, она разрезала на куски Тридцать первого и сожгла его в камине!..

Он оставил озадаченного Леона и вошел в дом. Получив деньги за картины, проданные Генри, Томас купил крестьянский костюм из коричневого бархата, шляпу, которую съел Цезарь, рубашку в белые и красные квадраты, а вместо галстука, необходимого, чтобы предстать перед матерью, он нацепил черный шнурок.

Элен увидела сына из окна. Наступил день, в который она уже не верила, наступил момент… Наконец-то!

Она заметалась по трем комнатам, хватая то один, то другой предмет, тут же бросая их, садилась, вскакивала, открывала дверь на лестницу, закрывала ее, не представляла, как вести себя… Ждать его на лестнице? В столовой? Встретить его одной? Или с Бланш?

Она бросилась к окну: сына не было возле Леона, значит, он уже вошел в дом, поднимался по лестнице. Перепуганная, она ухватилась за решение, принятое давно, когда тысячу раз представляла его возвращение… Ледяное спокойствие… Ничего не говорить… Подождать, пока Томас не извинится…

Он приближался… Поднялся на площадку… Его ботинки создают такой шум… Но вот его топот прекратился…

Элен резко распахнула дверь. Они застыли, глядя друг на друга. Томас плохо видел мать из-за падавшего из-за ее спины света. Элен хорошо видела его, его новое лицо, светившееся благодаря короткой юношеской бородке. Она почувствовала жар в груди, он хорошо выглядел, его глаза блестели… Он был готов засмеяться… Он был рад своему возвращению!..

Элен сказала:

— Ты странно одет!.. У тебя все в порядке?

— Все хорошо… Как ты?

— У меня все в порядке…

Она шагнула в сторону, чтобы Томас смог войти. Он радостно улыбнулся, увидев семейные портреты на стенах. Его взгляд обежал комнату и вернулся к матери.

— А где Полина?.. И где мой сын?

— Леон не сказал тебе?..

По его лицу прокатилась волна тревоги. Он заволновался.

— В чем дело?

Она мягко сказала:

— У тебя дочь…

— Дочь?

Томас был потрясен. Такую возможность он не предвидел.

— Это твой портрет! Она выглядит, как ты в этом возрасте!.. Это ты, ТЫ! Идем!

Он прошел за матерью. Элен осторожно открыла дверь в свою комнату. В сумрачной из-за задвинутых штор комнате с темными обоями возле окна светился небольшой пятачок: детская кроватка с выкрашенными белой краской металлическими прутьями и завитушками. На белой постели маленькое белое с розовым существо с короткими светлыми волосиками, сразу же начавшее что-то лепетать и шевелить ручками, едва услышало голос бабушки.

— Бланш, моя Белоснежка, моя птичка, мой золотой цыпленочек…

Бланш отвечала бабушке на своем птичьем языке, пуская пузыри и улыбаясь наклонившейся над ней Элен. Длинное одеяльце закрывало ее с ногами и было закреплено большой английской булавкой. Надежная защита от сквозняков. Элен взяла девочку на руки и протянула ее Томасу с гордостью, словно это она обеспечила появление ребенка на свет.

— Держи свою дочь!

Растерянный Томас осторожно взял ребенка своими большими ладонями. Ребенок показался ему невероятно хрупким. С ним нужно было обращаться крайне осторожно, не уронить его, следить, с какой стороны у него голова, чтобы невзначай не перевернуть… Где же инструкция по обращению с ребенком? Какой он теплый!.. Пахнет лавандой и… Да, Господи, немного… Пахнет этим… Она, кажется… Да, она мокрая!

Держать ее на руках было неудобно и немного противно. Похоже, что ее место было отнюдь не на руках у мужчины… Такое нежное существо… Достаточно легкого движения… Надавить… Повернуть… Нежное создание, такое беззащитное, такое доверчивое… Но это же его дочь!

Ошеломленный бурей эмоций, он наклонился к ребенку, чтобы поцеловать его. Ребенок завопил, словно его облили кипятком.

— Тихо, тихо… Мама, в чем дело?.. Что с ней?

Он попытался баюкать ее. Элен поспешно забрала ребенка.

— Она же не знакома с тобой!.. Ты напугал ее своей кошмарной бородой… Тебе нужно сбрить бороду!.. Я сейчас перепеленаю ее… Скоро придет кормилица… Это жена сторожа, у нее ребенок родился через две

недели после Бланш… К счастью, у нее много молока… У Полины почти нет молока, она не смогла бы долго кормить ее…

— Но где она?

— Кто?

— Полина!

— Она пошла по делам…

— Что за дела у нее?

— Ну… Сейчас в Париже ее отец. Они часто встречаются…

В ее голосе откровенно звучало: «Это не имеет никакого значения. Совершенно не имеет значения, что делает Полина…»

Она не появилась даже к обеду. Бланш, проглотившая со смехом и пусканием пузырей питательную смесь молока с мукой, спала. Элен села за стол рядом с Томасом. Они пообедали, разговаривая о всяких пустяках. Ни она, ни он не могли выбросить из головы сцену расставания. Пожалуй, еще рано было говорить, что Томас вернулся…

Его взгляд остановился на висевшей на стене напротив акварели в тонкой черной рамке, размером немного больше открытки. Удивленный, он встал, снял ее со стены и подошел к лампе, чтобы лучше рассмотреть.

— Как интересно!.. Когда ты повесила ее сюда?

— Она всегда висела на этом месте. С момента нашего переселения сюда… Неужели не помнишь?

— Нет… Совершенно ничего не помню…

Что за трюк выкинула его память? На акварели была изображена маленькая девочка в лиловом платье, кружевной шапочке, черных чулках и остроносых туфельках… На миниатюрном песчаном пляже, на берегу солнечного моря. В уголке, справа внизу, две скромные буквы: ЭГ.

— Кто ее нарисовал?

— Мама… Моя мама, твоя бабушка… Это небольшой пляжик на острове Сент-Альбан… На него можно было попасть только во время отлива… И очень ненадолго…

— Ты знаешь, она была очень талантлива!.. Посмотри, как она поместила огромное море в маленькую открытку!..

— Это океан!..

— Тем более, океан!..

Взволнованный и почему-то встревоженный, он продолжал всматриваться в ребенка, которого так часто изображал на своих картинах, уверенный, что придумал его. А теперь он нашел его. Девочка стояла с поднятыми руками и смеялась; казалось, она хотела поймать пролетавшую мимо чайку или полететь за ней. Крылья ее шапочки взлетали, ее руки терялись в небе, ее ноги уже расстались с землей… Она была воплощением порыва, легкости, веселья.

— А девочка — кто она?

— Это я, — ответила Элен.

В это невозможно было поверить… Но он сразу же поверил. Правда, ему пришлось представить, сколько накопилось с той поры трудного опыта, непрерывной горечи, сколько усталости от постоянной борьбы накопилось у этой девочки, чтобы лучащийся счастьем ребенок превратился в черную женщину, которую он всегда видел рядом.

Он взял худую и жесткую руку матери обеими руками и поднес ее к губам. Потом тихо сказал:

— Я надеюсь, что ты простила меня…

Она высвободила руку и опустила ее ему на голову.

* * *

Полина вернулась домой около часа ночи. Элен услышала ее шаги и приподнялась на локте, чтобы ничего не упустить…

«Так… Она открыла дверь чулана… Положила одежду на свою кровать… Нет, побросала все, как обычно… Она выходит… идет к своей комнате… Ах!.. Остановилась…»

Полина заметила свет под дверью и на мгновение остановилась. Потом повернула ручку, бесшумно открыла дверь…

Томас спал, совершенно обнаженный, под простыней, прикрывавшей ему только ноги до середины бедер.

Первым побуждением Полины было уйти спать в чулан.

Он выхватил ее из ее мира и вбросил в свой мир, он отправил ее в ссылку в дождь и грязь, он бросил с новорожденным и оставил ее Элен, ненавидевшей Полину… А теперь вернулся и спокойно занял почти все место в ее постели…

Сколько месяцев она думала о нем и ненавидела его с каждым днем все сильнее и сильнее…

Но как он прекрасен!.. Это же ее муж… В ее жизни других мужчин не было… Она закрыла дверь за собой. И начала стягивать перчатки.

Элен улеглась в постель. Больше не хотела ничего слышать.

Томаса разбудил запах духов. Это не аромат вербены для подростков, а духи взрослой женщины «Дольче миа» Риго. Поль де Ром подарил их сегодня днем своей дочери. Она сбрызнула ими себя во время обеда с друзьями отца и вечером, когда станцевала несколько танцев в Зимнем павильоне. Запах духов вместе с запахом Полины заполнил комнату. Дыхание Томаса изменилось. Он открыл глаза и резко сел. Ему показалось, что он видит сон.

Жена была в лиловом платье. Под нижним краем платья виднелись небольшие черные туфельки с острыми носами. А на голове покоилась лиловая шляпка, и от нее в стороны расходились два белых кружевных крылышка…

— Полина? Где ты была?

Она спокойно ответила, вытаскивая булавки из своей шляпки:

— А ты?

Бросила шляпку на стул, повернулась к зеркалу, вытащила последние булавки и помотала головой. Волосы волной разлетелись вокруг головы. Она принялась расстегивать платье, на котором пуговицы располагались спереди. По мере того как жена раздевалась, Томас забывал появление лилового цвета, вырвавшего его из сна, чтобы втянуть в совершенно нереальную ситуацию. Теперь она была вся белая, но постепенно освобождалась от него, окрашиваясь в розовое.

Он видел Полину со спины, но в зеркале она стояла к нему лицом. Сначала появились округлые бледные плечи, потом великолепные груди, напомнившие ему весенний месяц в последней четверти, потом длинные ноги… Счастливо улыбаясь, он узнавал ее по частям, но теперь она была более зрелой и прекрасной… Но ей было только восемнадцать… А он недавно достиг возраста в двадцать один год. Все прошлое было неправдой… Время обманывало его… Он видел залитый светом зал их первой встречи где-то очень далеко, в глубине веков…

Ее одежды разлетелись веером вокруг ее ног.

Полина повернулась к нему и на мгновение застыла, чтобы у Томаса хватило времени увидеть и пожелать ее. Потом прикрыла небольшой ладошкой низ живота, перешагнула одежду и приблизилась к нему.

Раздеваясь, она безостановочно думала только одно: «Господи, хоть бы только он не сделал мне еще одного ребенка». Потом больше ни о чем не думала.

Часть третья

В левом углу редакционного зала газеты «Матэн» стоял стол, придвинутый к окну так, чтобы максимально использовать дневное освещение. Ночью его заливал свет трех сильных электрических лампочек. Стол предназначался для художников, работавших над иллюстрированным выпуском газеты. Именно здесь Томас проводил почти все время. Приступая к работе, он думал, что будет много времени бродить по улицам, чтобы лично наблюдать за трагическими событиями. Но быстро понял, что ему придется придумывать их. Действительно, как можно предугадать, где произойдет преступление или несчастный случай?

Прибывшие на место происшествия репортеры расспрашивали свидетелей и полицейских. Эта информация представляла некоторый интерес для художников. Они работали за своим столом, используя материалы журналистов и фотографии, если они имелись. Иногда посещали место происшествия, чтобы познакомиться с обстановкой. Так поступил, к примеру, Томас в случае с «кровавым мясником» Жаденом. Этот убийца с нежным сердцем в припадке ревности убил свою жену, сидевшую за кассой возле кадки с зеленым деревцем, использовав большой нож, которым только что разделывал барана. Потом покончил с собой с помощью этого же инструмента. Все произошло на глазах у пожилой дамы, покупавшей фарш для котлет и немного мясных обрезков для кота.

Когда Томас приехал к лавке, он увидел только зеленое деревце и заднюю часть висевшего на крюке барана. Его короткий хвостик торчал к потолку, словно перевернутая вверх ногами запятая.

Он использовал увиденное в качестве основных элементов своей композиции: на первом плане справа сверху изобразил розовую заднюю часть барана, объект понятный, всем хорошо знакомый и немного неприличный; на заднем плане нарисовал деревце, превратив его в достаточно большое дерево. Между этими предметами и разыгралась драма. Женщина, показанная вскочившей со стула, была убита ножом и падала, прижав руки к окровавленной груди, тогда как мясник с лицом, искаженным отчаянием, вонзал обеими руками огромный нож в свою грудь.

Работа Томаса понравилась как издателю, так и читателям иллюстрированного выпуска газеты. Заинтересовавшийся сэр Генри выпросил оригинал картинки у своего друга Монтеля, поблагодарившего его за то, что прислал к нему такого способного парня.

Кроме Томаса над иллюстрациями работали еще два художника — толстяк Фабр, хотя и набравший сто десять килограммов, но крайне подвижный, постоянно громко говоривший и потевший, способный сделать иллюстрацию на первую страницу за четверть часа, и Бето, получивший прозвище из-за сходства с сильно помятым Бетховеном. К тому же, никому не удавалось правильно произносить его настоящее имя, так как он происходил из какой-то страны Центральной Европы. Он повсюду разбрасывал окурки, краски и карандаши. Если был в меру нализавшимся, у него получались гениальные иллюстрации. Но стоило ему выпить лишний стакан — и с иллюстрациями было покончено. К сожалению, он пил все, что содержало градусы.

Томас вместе с Фабром и Бето образовали прекрасную команду. Они хорошо ладили друг с другом. За столом обычно работал один из них, реже двое. Четко соблюдали очередность. Монтель в конце концов перестал раздумывать над тем, кто из троих рисовал лучше. Они читали заметки репортеров, телеграммы корреспондентов, делали наброски, показывали их редактору, потом останавливались на наиболее перспективном варианте и доводили его до ума. До последнего момента они не знали, на каком рисунке остановился окончательный выбор редактора.

Художники работали исключительно с незначительными происшествиями. С происшествиями, связанными с преступлениями, но достаточно мелкими. События большого значения не интересовали читателей газеты. Тем не менее, в редакционном зале газеты, куда поступали последние новости, бурлил весь мир. Оставив банк ради работы в газете, Томас окунулся с головой в текущие события, в той или иной степени имевшие значение для истории, о которых никогда раньше не имел представления. Он жадно глотал непрерывно поступавшую информацию о перемещениях стран и народов на мировой шахматной доске, и они казались ему медленными потоками лавы, то и дело уничтожавшими поля, селения и людей. Во главе этих потоков суетились марионетки, считавшие, что они управляют ими. Кайзер, из вежливости наряженный в форму русского генерала, принимал царя, нахлобучившего остроконечный немецкий шлем. Король Италии надевал мохнатую папаху, чтобы пообщаться с английским королем, одетым в форму берсальеров с перьями на шляпе. Президенты принимали участие в безумном балете, нарядившись в редингота и цилиндры. Они походили на подвыпивших и отставших от похоронной процессии могильщиков.

Независимо от своих нарядов, ярких или мрачных, они тащили за собой вериги договоров и союзов, перемещали армии и армады военных кораблей, заглушавших грохотом их бессмысленный лепет. На каждом углу их поджидали убийцы, одурманенные политикой или наркотиками. Итальянский анархист стрелял в итальянского короля и промахивался. Русский анархист стрелял в царя и убивал министра. Французский анархист грабил банки, убивая кассиров и полицейских. Он применял для этого только-только появившиеся автомобили, пользуясь неимоверно ускорившимися темпами научного и технического прогресса, оставившего позади обломки прежней жизни.

Во Франции продавалось около пятидесяти моделей автомобилей. Демонстрации летающих устройств интересовали публику больше, чем знаменитые скачки. Кораблестроители Англии и Франции спроектировали два самых громадных трансатлантических лайнера; их строительство велось круглосуточно, и каждая страна старалась спустить великана на воду раньше, чем это сделают соперники. Первый из них, кто сможет совершить рейс из Европы в Нью-Йорк, должен был привлечь тысячи богатых и высокопоставленных пассажиров, жаждавших пересечь Атлантику в танцевальных залах при свете электрических люстр.

На Эйфелеву башню водрузили гигантскую, похожую на паутину, антенну, чтобы обеспечить беспроводную связь хотя бы с Лондоном. Знаменитый русский балет прибыл в Париж для очередного прогремевшего славой сезона.

В Англии, Франции, Германии и Японии каждый день спускали на воду новые броненосцы, подводные лодки, крейсера и торпедные катера — носителей все более и более мощных средств разрушения. В сухопутных армиях появлялись подразделения набиравшей силу авиации. Если в начале рядом с пилотом сидел наблюдатель, то вскоре он получил отдельное место и огнестрельное оружие.

Самолеты падали, дирижабли вспыхивали и горели, как свечи, подводные лодки тонули. О носы дредноутов разбивали бутылки с шампанским, над могилами сотен погибших склоняли знамена — и строительство все более смертоносных механизмов продолжалось. Над броненосцем «Либерте», взорвавшемся на рейде Тулона, в небо взлетел фонтан огня и обломков, и грохот взрыва навел ужас на население на площади радиусом в тридцать километров. Но судостроительные верфи немедленно спустили на воду два новых дредноута — «Жан Барт» и «Курбе».

Виновником взрыва «Либерте» признали огромные запасы пороха в его трюмах — как известно, неустойчивость пороха давно доказана. И никто не обратил внимания на то, что за две недели до катастрофы Тулон посетил немецкий «журналист» Герхард Нейман, с которым Гризельда встречалась в Бангкоке. Из Франции он отправился в Марокко, где подготовил репортажи из Феца. Но вскоре после его отъезда в Марокко вспыхнули пролившие много крови волнения.

По меньшей мере дважды в неделю в прессе разных стран появлялись сообщения об обнаружении похищенной летом из Лувра «Джоконды». Никто, впрочем, не знал, была ли она действительно похищена и вывезли ли похитители картину из Франции.

Вспомнив о «Джоконде», Томас нарисовал юмористическую картинку. Он изобразил Джоконду пилотом биплана, летящего над океаном. Вдали, на горизонте, виднелась статуя Свободы.

Монтель поморщился и сказал, что в этом нет ничего смешного, и Томас согласился с ним.

Боксер Жорж Карпантье[1] стал чемпионом мира в восемнадцать лет.

В Китае революционные войска занимали одну провинцию за другой. Императору Пу И, пришедшему к власти после жестокой императрицы Цы Си[2], было всего 7 лет. Его палачи рубили головы восставшим, стоявшим на коленях на улицах Пекина. Италия объявила войну Турции и высадила войска в Триполитании.

На небе появилась очередная комета — третья за четыре года.

Во французской армии ввели новую форму. Солдаты напялили куртку желто-зеленого цвета и красные панталоны. Парламент продлил военную службу до трех лет. Несмотря на новые законы, Томас в армию не попал, так как, родившись в Англии и имея английских родителей, был по национальности англичанином. В Англии же военной службы не было.

При взрыве «Либерте» погибло двести пятьдесят человек. Дежурным офицером на борту в момент трагедии был капитан-лейтенант Гарнье.

В Париже полицейский агент Гарнье был убит анархистом Гарнье, использовавшим автомобиль и скончавшимся перед рестораном «Гарнье».

Это оказалось главным событием дня, затмившим все, что имело отношение к встречам императоров.

Было установлено имя предводителя одной из банд: Бонно.

Бето был дежурным по столу художников. По правде говоря, он дремал сидя, опустив голову на руки, и не годился для употребления. Монтель отправил служебный автомобиль за Томасом. Тот в это время заканчивал работу по другой теме для очередной обложки: какой-то портной придумал парашют для спасения летчиков поврежденного самолета. Чтобы

[1] Жорж Карпантье (1894—1975), французский боксер, в 18 лет стал чемпионом Европы в полусреднем весе.

[2] Предпоследним императором Китая был Айсиньгёро Цзайтянь, официально правивший Китаем до 1908 г. Фактически же власть принадлежала вдовствующей императрице Цы Си, которую сменил в 1908 г. Пу И.

проверить изобретение, он спрыгнул с первого этажа Эйфелевой башни и разбился.

На рисунке Томаса изобретатель был изображен крупным планом в полете. Лицо, искаженное ужасом, растопыренные руки, которыми он словно пытался ухватиться за воздух. Над ним болтался моток ткани нераскрывшегося парашюта на фоне острого носа башни, вонзавшегося в небо.

Очередное преступление автомобильных бандитов полностью лишило портного-парашютиста права на первую страницу. Томас примчался в редакцию и немедленно взялся за работу. У него имелись следующие материалы: фотография перекрестка Сен-Лазар, где было совершено преступление; фотография жертвы; данные об автомобиле фирмы Делонэ-Бельвиль, о котором свидетели говорили, что он был синим, тогда как другие утверждали, что он зеленый. Какой-то почтальон увидел его желтым. В результате Томас сделал его сине-зеленым. Никто не мог описать, как выглядели бандиты. Он нарисовал их усатыми, в каскетках и темных очках.

Томас сделал несколько набросков, потом два или три окончательных варианта. Один из них понравился редактору, и его нужно было оформить как следует. В очередной раз Томас вернулся домой очень поздно.

Телеграмма из Лондона сообщала дату выхода в море большого английского трансатлантического лайнера. Он обогнал на неделю французский пакетбот.

* * *

Когда Томас вернулся домой поздно ночью, Бланш плакала. Элен держала девочку на руках, баюкала и негромко разговаривала с ней, чтобы успокоить.

— Что с ней такое?

— Ничего особенного… У нее режутся зубки…

— Дочерью должна заниматься Полина… Ты очень устаешь…

— Ты же знаешь, что ее нет дома…

— Нет дома? Ах, да, действительно…

Он забыл, заработавшись, про Нижинского. Ирен Лабассьер, подруга Полины, заказала три билета на новый спектакль русского балета и пригласила их на премьеру. Для него это было настоящее паломничество. Он вспомнил о своем смущении, о слишком маленькой шляпе, о фантастической поездке на фиакре. Томас с радостью подумал о возможном повторении прежнего чуда. Он поцеловал Полину — в тот самый момент, когда бандит Гарнье выстрелил в полицейского Гарнье.

— За ней заехала подруга, — сказала Элен. — Ты знаешь, что она владеет собственностью… Наш дом теперь принадлежит ей… Она вдова уже пять месяцев… Но это не мешает ей появляться в обществе!..

Когда и что ей мешало? Она носила траур с бриллиантами.

Ирен Лабассьер остановила свою машину перед дверью на улице Рейнуар и отправила шофера за спутниками. Она была расстроена, увидев Полину одну, без Томаса. Машина тронулась, глухо ворча, потому что имела мотор гоночного автомобиля, он не мог как следует разогнаться на улицах города.

Томас проснулся с первыми лучами солнца. Он находился в постели один. Неужели Полина уже встала? Это было мало похоже на нее…

Выйдя на лестницу, столкнулся с Элен. Она улыбнулась и приложила палец к губам.

— Тише!.. Дочь заснула… У нее лезут зубки.

Но он думал о Полине.

Она тоже спала, но в кладовке. Томас заметил, заглянув в щель, что жена лежала на кровати Рекамье, полураздетая, набросив на себя шубку. Ее красное платье лежало на стуле, свисая на пол. Шляпка вместе с туфлями валялась на туалетном столике.

Томас долго ждал, пока она не вышла из своего убежища, не полностью пришедшая в себя.

— Что это с тобой?.. Почему спала в кладовке?

— Я не хотела будить тебя…

Зевая, Полина прошла на кухню в надежде найти там кофе.

— Что это ты вдруг стала заботиться о моем сне?

Он перешел на крик.

— Ты просто боялась, что я узнаю, во сколько вернулась!

— Поинтересуйся у своей матери, я не сомневаюсь, что она откроет тебе этот секрет!.. Ах, кофе не осталось… Ты не хочешь смолоть мне немного кофе?

— Сама займись своим кофе! Или выпей холодной воды — быстрей проснешься!

Томас все же сел за стол, зажав мельницу для кофе между ног, и принялся яростно крутить ручку. Полина поставила на плиту кастрюльку с водой и чиркнула спичкой о коробок. Потом спокойно сказала:

— Я вернулась в четыре часа…

— В половине пятого, — уточнила из прихожей Элен. — Церковный колокол как раз прозвонил половину часа.

— Вот видишь, она знала…

— Не вмешивай мою мать в свои дела!.. Где ты была? Чем занималась после театра?

Он кричал все громче и громче. Бланш проснулась и заплакала.

— Мы ужинали с друзьями в кафе «Париж»…

— Какими еще друзьями?

— Ты их не знаешь…

— Твой отец был с вами?

— Да… Ах, нет… Но что это меняет? Я давно уже не ребенок!

— Ты моя жена! И я не хочу, чтобы моя жена где-то шлялась по ночам!

— Тебя тоже приглашали, мог пойти со мной! И ты никогда не интересовался, что я делала, когда исчез год назад… Дай мне!

Она протянула руку.

— Что тебе нужно?

— Дай мне кофе!.. И хватит крутить ручку!

Томас встал и бросил кофейную мельницу в раковину.

— Вот тебе твой кофе! Больше никогда не будешь ходить неизвестно куда! Никогда! Ты слышишь? Я должен знать, где ты и с кем! Сегодня я возвращаюсь в пять часов, постарайся быть дома!

Он вышел, хлопнув дверью, и на кухне воцарилась тишина. Бланш перестала плакать. Элен вошла в кухню, держа ребенка на руках. Полина собрала ложкой разбавленное водой кофе из раковины и вылила смесь в кастрюлю.

— Вместо того чтобы развлекаться, — бросила Элен, — вы бы лучше занимались дочерью!

— Вы же не даете мне дотронуться до нее!.. Дайте я подержу!

Она протянула руки к ребенку. Элен отступила.

— Мне кажется, вы с удовольствием бросили бы ее!

— Вот видите!

— Вас не назовешь ни матерью, ни женой!.. Достойная женщина не гуляет ночью без мужа и не возвращается на заре!

— Мне от вас ничего не нужно! Оставьте меня в покое!..

Схватив чашку с кофе, она скрылась в чулане и закрылась там. Вышла перед обедом, надев другое платье, тоже красное. У Полины опять появилась возможность выбора туалета. Томас продал несколько картин другу своего кузена, некоему Тюрье, торговавшему картинами. И ему хорошо платили в газете. У него появилась возможность отдавать деньги матери и жене. Элен откладывала свою часть; кроме того, она снова стала давать уроки. Во время своего отсутствия, доверяла Бланш кормилице.

Денег, что получала от мужа Полина, было далеко не достаточно, чтобы покупать имевшиеся у нее наряды. Большинство платьев она получала от Ирен, ее подруги. Та отдавала ей наряды после того, как надевала их раз или два, а иногда вообще ни разу, в особенности те, что отдавала перешивать своей портнихе.

Заботясь о Полине, Ирен часто имела возможность встречаться с Томасом. Но ей пока не доводилось увидеть его без свидетелей. Любезность, с которой она общалась с Томасом, наверняка была способна воспламенить любого из известных ей мужчин. Но не его. Ирен догадывалась, что он все еще любит свою жену. И она понимала, как они не подходили друг другу! Томас ничего не понимал в этой женщине. Ей был нужен хорошо понимающий мужчина, относящийся к ней по-отечески… И блестяще воспитанный… Томас же казался слишком неотесанным… И Полина не обладала даром отшлифовать его… Разумеется, для того, чтобы он стал известным и был принят в светском обществе… Генри, похоже, интересовался им только как художником. У него, несомненно, было чутье, у нашего дорогого Генри… Интересно, понимала ли эта малышка, каким красавцем был ее муж? Были ли у Ирен шансы? Красавчик, возможно, гениальный художник, нечто новое для нее… Но такой наивный…

Полина вернулась часа в четыре. Томас смог выбраться домой только в восемь часов. Едва они сели за стол, как начал расспрашивать Полину о «друзьях», с которыми она ужинала. Жена назвала ему пять или шесть имен, мужчин и женщин, все они были незнакомы ему. Томас обвинил ее во лжи, разнервничался и опять раскричался. Полина встала и скрылась в своем убежище. Она перенесла туда постель и оформила свой собственный мирок из нескольких предметов мебели, со шкурой вместо ковра. По стенам развесила в качестве украшения свои яркие платья. Томас хотел зайти к ней, но Полина заперлась на ключ и не впустила его.

На следующие дни ситуация стала повторяться. Когда муж уходил, она тоже выбиралась в город. Когда Томас возвращался, Полина уже была дома. С наступлением ночи она запиралась «у себя». Однажды вечером он попытался войти к ней, вырвал ручку и принялся ломать дверь. Томаса остановил крик Бланш. На следующее утро он сел на поезд в Трувиль.

Он уже приезжал несколько раз в курортный городок, обычно на несколько дней, когда одолевало желание рисовать. Полина никогда не соглашалась сопровождать его. У нее остались воспоминания, связанные с пляжем, по-прежнему ранившие ее. Томас даже не догадывался об этом. Для него Трувиль оставался воплощением моря, неба и бесконечного света.

Во время одной из таких поездок он познакомился с Тюрье, торговцем картинами, приехавшим на отдых вместе с Генри. Тюрье приобрел у него три картины и отобрал еще десять, которые собирался захватить с собой в Америку, где устраивал выставку молодых французских художников.

Томас принялся рисовать днем и ночью. Вилла оставалась пустой, отдыхающих в Трувиле почти не было. Мартовский ветер рвал в клочья море и небо. Сидя перед мольбертом, Томас спасался от холода, завернув-

шись в одеяло и обвязавшись вокруг пояса веревкой, чтобы одеяло не спадало. Когда хотел есть, он шел в центр, съедал омлет или порцию устриц в первом попавшемся рыбацком бистро. Частенько подбадривал себя хлебом и вином, причем вином все чаще и чаще. Он страшно отощал. Жил, не имея представления о времени. Забыл Париж, газету, Полину, Бланш, мать. Когда случайно вспоминал их, эти воспоминания подталкивали его бежать еще дальше от семейных уз, от любви и работы. Чтобы чувствовать себя абсолютно свободным. Чтобы писать картину за картиной.

* * *

Когда сэр Генри утверждал, что его мать продолжает охотиться на лис, он сильно преувеличивал. Леди Августе исполнилось восемьдесят четыре года, и она оставила верховую езду, чтобы не рисковать. Но продолжала водить, и на приличной скорости, любой из трех своих автомобилей по узким местным дорогам, построенным на территории страны ее отцом, великим Джонатаном.

Тем не менее, встречать на вокзале двух своих гостей она отправила шофера. Все-таки вокзал был слишком далеко, путь туда и обратно занимал целый день… Гости сообщили о своем приезде телеграммой. Ее удивил этот неожиданный визит. Элен и ее сын! Значит, эта дурочка перестала стыдиться своего развода? Вообще-то ей нужно стыдиться того, что вышла замуж за этого остолопа…

В вечерней тишине она услышала шум мотора большого желтого ланчестера за четверть часа до его появления в пределах видимости. Шофер описал идеальную дугу и затормозил точно перед перроном Гринхолла. Леди Августа появилась на балконе. Не станет же она, учитывая возраст, спускаться вниз ради этой девчонки!..

Мотор выпустил аккуратное облачко синего дыми и замолчал. Слуги засуетились вокруг багажа. Дождя не было — редкое везение в этих местах. Машина оказалась забитой людьми и чемоданами. Леди Августа, ожидавшая только двух гостей, заволновалась и от неожиданности заговорила сама с собой.

— Что это значит? Целый караван!.. Женщина в сером с вуалеткой — это, конечно, Элен… Красивый молодой человек — это ее сын… Еще одна женщина в черном… Скорее всего, это служанка… Еще один мужчина… Какой здоровяк!.. Неужели Элен снова вышла замуж? Впрочем, почему бы и нет? Она достаточно глупа для этого…

Женщина в сером выбралась из машины, подняла взгляд к балкону, сняла вуаль и улыбнулась. Леди Августа сразу же узнала гостью, и ее волнение неизмеримо возросло. Это была сумасшедшая Гризельда!

— Мне нельзя упоминать свое имя в телеграмме, — пояснила Гризельда. — Думаю, полиция продолжает охотиться за мной…

— Ты сумасшедшая, просто сумасшедшая! Я всегда говорила твоему отцу, что ты свихнулась!.. — всплеснула руками Августа.

Но она едва не расхохоталась от радости. Ее лицо заметно удлинилось с возрастом, и теперь походило на морского конька, увенчанного шляпой с желтым цветком.

Они разместились в столовой перед большим камином. Молли в комнатах наверху распаковывала чемоданы. Жан О после обеда быстро откланялся, чтобы не смущать присутствующих. Теперь он знал всю историю Гризельды. То, о чем он не догадался, рассказала ему сама Гризельда с помощью Джонатана. Юноша с радостью усваивал гэльский язык. Устроившись на коленях перед камином, он с удивлением наблюдал за торфом,

горевшим устойчивым пламенем, выбрасывая короткие язычки огня. По дороге видел крестьян, вырезавших на поле большими лопатами квадратные куски земли. Теперь эта земля горела в камине сильным ровным дружелюбным пламенем. Джонатан подумал, что это само сердце ирландской земли горит любовью к своему народу, и горение это продолжается тысячи лет. Он хорошо понимал это. И понимал, почему приехал сюда. Здесь он у себя дома. И знал, чем должен будет заниматься. Не только сражаться. Но и любить… Короткие язычки пламени танцевали в глубине его глаз.

— Красивый у тебя сын, — сказала Августа. — Сколько ему?

— Восемнадцать.

— Он похож на отца… На твоего Шауна… Это был настоящий дикарь!.. Твой сын такой же?.. Ему уже довелось сражаться?

— Да…

— С кем?

— С тиграми…

— Ну и ну! Юноша превзошел своего отца!.. Теперь он станет разжигать пламя восстания в Ирландии?

— Нет… Он хотел увидеть остров… Я так много рассказывала ему… Он начал требовать, чтобы мы приехали сюда… В конце концов я согласилась… Но при условии, что сразу же уедем назад…

— Ха-ха-ха! Ты сошла с ума!.. Он не уедет отсюда!..

Громкий смех Августы оторвал Джонатана от его мечтаний. Повернувшись к тетке, улыбнулся ей светлой невинной улыбкой. Эта улыбка заставила Августу задохнуться от неожиданного приступа нежности.

— Ладно, ему не нужно поджигать Ирландию, он заставит ее растаять!.. Чего ты хочешь, добрая душа?

— Можно мне увидеть дом?

— Прямо сейчас? Ночью?

— Да, конечно…

— Он сошел с ума… Удивительно похож на тебя… Впрочем, пусть прогуляется… В доме нет чужих… Возьмите на кухне факелы… Гризельда, проводи сына, ты же знаешь дом, он давно не менялся…

Кухня находилась в подвале. Фундамент замка был очень древним. Все, что поднималось выше уровня земли, много раз сжигалось и разрушалось, но ничто не могло разрушить гигантские своды, о которых рассказывали, что они были построены во времена завоевания этих земель Плантагенетами. Сейчас в подвалах замка располагались кухни, подсобные помещения, винные погреба, дровяные склады и разные таинственные комнаты, в которые никто не осмеливался заглянуть.

Гризельда подняла светильник, осветив полукруглую арку над нишей в стене, сложенной из громадных каменных блоков.

— Здесь находился вход в подземелье… Его давно заложили… Никто не знает, куда вели подземные галереи.

— Это надо знать. А для этого придется разрушить стену, — сказал Джонатан.

— Августа не хочет. Говорит, что за стеной господствуют призраки…

Они вернулись в кухню, освещенную дружелюбным и одновременно фантастическим светом ламп, свечей и горящего в печи торфа. Несколько служанок в черных платьях и белых колпаках сидели за большим столом, занимаясь чисткой картофеля и овощей, резкой зелени, разделкой мяса и приготовлением десерта на следующий день. Повариха, стоявшая на коленях перед огромной печью, наполняла медные чайники кипятком из подвешенного над горящим торфом котла, похожего формой и размерами на коровье брюхо.

По всем углам, за опорами для сводов, между большими буфетами, горками для посуды и большими кадками прятались черные тени. Воздух на кухне был насыщен запахами лука, свежего мяса, ванили, шоколада, петрушки, ревеня и разных специй, прошедших через руки поварих и согретых горящим торфом. Джонатан вдыхал кухонные ароматы, одновременно улавливая запах древесины, из которой были сделаны столы и скамьи, а также запах камня в стенах и земли, спрятанной за этими стенами и под плитами пола. Его глаза наполнялись светом и тенями, лицами служанок и поварих, отблесками огня, игравшими на медных боках чайников. Он чувствовал, как все вокруг заполняло его сердце и душу. Он понимал, что вернулся домой…

— Идем же, — отвлекла сына Гризельда от теснившихся в его голове мыслей.

Когда они подошли к лестнице, ведущей на первый этаж, Гризельда внезапно услышала, как ее кто-то окликнул, назвав по имени. Но прозвучало не известное всем имя, а древнее гэльское имя, произнесенное Эми над родившимся ребенком, которое она повторила перед тем, как покинуть остров. Сейчас, после смерти Шауна, никто на свете, кроме Эми, не знал его.

Она обернулась, потрясенная, не верящая своим ушам…

— Эми!

Эми сидела у плиты, в вырезанной в стене нише. Гризельда сразу не заметила ее, так как она была заслонена кухаркой, возившейся с чайниками, а сама Эми была одновременно тенью, камнем и игрой огня. На коленях у нее спал свернувшийся клубком рыжий кот.

Гризельда медленно приблизилась к ней и остановилась на расстоянии одного шага. Ей хотелось упасть на колени, обнять Эми, заплакать, опустить голову рядом с рыжим котом. Ее сердце переполняли воспоминания детства и юности и горькие мысли об ушедших днях, о навсегда утраченном времени.

— Эми… Неужели это возможно?

Старушка улыбалась, и тысячи морщин появились на ее лице, словно вырезанном из камня, который на протяжении многих поколений окрашивал огонь, и казалось, что лицо имело столь же древний возраст.

— Я сказала тебе, что меня уже не будет, когда ты вернешься… Но я все еще здесь. Наверно, ты пришла раньше, чем я рассчитывала… Или я оказалась крепче, чем можно было надеяться…

Она повернулась к Джонатану.

— Освети его лицо, хочу видеть твоего сына…

Гризельда подняла факел выше. Джонатан спокойно стоял перед Эми. Всмотревшись в него, старушка засмеялась и сказала:

— Замечательно… Повернись к девушкам… Свети на него хорошенько… Девушки, посмотрите на него! Его зовут Джонатан… Это сын Шауна, и он сын единорога… Скажите завтра об этом всем, кого увидите, и говорите о нем везде, где бы вы ни находились…

— Нет! — закричала Гризельда.

Служанки столпились возле Джонатана, не сводя с него глаз. Они были в черном и белом, и языки огня играли на их лицах.

— Нет!.. Никому ничего не говорите!.. Мы сразу же уедем! Приехали сюда только потому, что сын хотел увидеть остров, и мы не останемся здесь! Не нужно говорить, что он побывал на острове! Ничего не говорите о нем!

— То, о чем нужно знать, должно быть сказано, — промолвила Эми. — Он не уедет… Но он не сможет увидеть остров, у него слишком мало

времени… Его ждут в другом месте… А ты можешь уехать… Тебя ждут на большом корабле… Ты уже выполнила все, что должна была сделать… Теперь очередь за ним… Ты показала ему корни этого дома, теперь покажи ему дерево… Именно здесь выросла ветвь, перенесенная на Сент-Альбан и распустившаяся там… Покажи юноше комнату супругов, где был зачат и рожден его дед Джонатан… Августа вернула туда две старые кровати… И оставь его одного… Он должен лечь спать там сегодня ночью… Иди, моя хорошая, уведи его…

Когда они поднимались по лестнице, Джонатан остановился, нежно обнял мать за плечи и повторил только что услышанное им ее гэльское имя.

И она, благодаря неожиданной нежности сына, до конца поняла смысл имени, произнесенного Эми.

Она знала, что этим именем называют «ту, которая открывает», но не представляла, какую дверь, какой путь ей придется однажды открывать. Теперь она знала…

Гризельда объединила кровь единорога, английскую кровь в Ирландии и гэльскую кровь Шауна; она дала своей стране сына, в котором смешалась кровь столь разной природы. А теперь должна была уехать от сына, расстаться с ним… Чтобы он примирил все виды крови, находившиеся в нем.

Да, она должна уехать и оставить сына. Сможет поддерживать его на расстоянии, но теперь ее роль исчерпана. Ей нужно было родить этого ребенка и воспитать его, а теперь могла и расстаться с ним.

Эми сказала, что ее ждут на большом судне. Это было правдой. Принц Райя ждал ее в Англии. Он забронировал два билета на большой корабль, отплывающий в Штаты. На этот раз это был самый красивый в мире корабль, корабль ее мечты. И с ней должен плыть самый красивый принц. До сих пор она ему ничего не обещала. Из-за Джонатана, из-за Шауна, на которого так походил сын. Но теперь, возможно, она сможет вести себя в соответствии со своими интересами…

Пароход вышел из английской гавани и сделал остановку в Гавре, чтобы забрать пассажиров из всех стран Европы.

Вместе с банкирами, видными промышленниками, деловыми людьми, богатыми пожилыми дамами и юными красавицами, пока только создающими свой капитал, с любопытными и пресыщенными бездельниками, актрисами, музыкантами и журналистами на борт поднялся Герхард Нейман.

* * *

Томас почувствовал, что полностью вымотался, и бросился ничком на постель. Когда дождь не позволял работать под открытым небом, он рисовал на стене гаража море. Море. Безбрежное море. Без неба, без горизонта. Одно лишь море. Сегодня решил покончить с этим. Он использовал широкие кисти, применявшиеся для внутренних работ, и краски в банках, продававшиеся у торговца химией. Зеленую и синюю краску для ставней, красную и лиловую для покраски автомобилей. Он накладывал эти краски на холст широкими мазками, подчеркивал их черными линиями, накладывал друг на друга или размещал рядом в кричащих сочетаниях. Когда они подтекали, Томас высушивал их, посыпая золой.

И море вздувалось волнами на стене, примитивное, чудовищное, прародительница любой жизни, источник любой трагедии. Когда наступала ночь, художник зажигал все лампы и свечи, которые ему удавалось найти,

и продолжал работать. Море, искаженное, раздувшееся, усеянное гигантскими смерчами, вырывалось со стены, заливало гараж, а с ним весь мир. Томас ничего не ел и не пил. Он подписывал картины большим белым «Т», похожим на крест. Когда у него кончились силы, ему пришлось подняться в свою комнату, чтобы поспать. Вокруг плавились свечи, дымили лампы, в которых выгорал весь керосин. Море угасало.

Среди отражений созвездий по поверхности моря скользило лежащее на боку огненное дерево. Громадный пароход с десятью тысячами светящихся иллюминаторов направлялся к Америке, опираясь на пустоту под ним, заполненную россыпями звезд.

Томас проследил взглядом лайнер, исчезнувший где-то далеко за краем света. Он понял, что корабль, сопровождаемый небом и морем, появился именно для него. Он был носителем послания, не выраженного ни словом, ни даже мыслью, но столь же очевидного, как очевиден рассвет, когда встает солнце. Ослепительной вспышкой в голове Томаса возникло понимание сущности всего, от пылинки до вселенной. Потом свет внутри свернулся, съежился и пропал. Художник знал, что теперь ему больше не нужно оставаться здесь. Он подумал о Полине, но уже совсем другими мыслями. Он все понял, все простил. Его заполнила нежность. Он вернулся в Париж, оставив море запертым в гараже.

Корабль пересекал дни и ночи. Райя оплатил две каюты-люкс. Гризельда и принц, не сговариваясь, связали это путешествие с надеждой начать новую жизнь; для этого он расстался с дворцовыми интригами в Бангкоке, а она оставила позади себя сражения и полученные в них раны. Это было символическое путешествие с радостным ожиданием наступающего будущего.

Но день за днем Гризельда откладывала на завтра слово или улыбку, способную позволить Райе войти в ее каюту, и оставалась там одна. Ее постепенно охватывала растущая меланхолия. Ей недоставало чего-то незаменимого. Или кого-то…

В воскресенье капитан корабля объявил большой праздничный бал. Гризельда решила, что этим вечером в ее жизни все должно начаться с нуля и, словно новобрачная, надела белое платье. Райя выглядел необычно. Он походил на божество, переодевшееся в смертного и спустившееся на землю. Все женщины завидовали Гризельде, танцевавшей с принцем, и все мужчины ненавидели его, когда он обнимал в танце свою прекрасную спутницу.

Бал заканчивался. В зале остались только три пары, в том числе Гризельда с принцем, и они с каждым очередным танцем откладывали момент расставания. Седобородый капитан лайнера спустился с мостика, чтобы станцевать с Гризельдой финальный вальс. Это был его последний рейс. Перед тем как отправить капитана на пенсию, компания предоставила ему возможность совершить этот эпохальный рейс. Звуки оркестра ностальгически звучали в большом опустевшем зале, теряясь между сгрудившимися в стороне столиками. В дальнем углу салона одинокий пассажир, куривший сигару, положил ее и ушел. Это был Герхард Нейман. После отплытия из Шербура он не встречался ни с Гризельдой, ни с Райей. Он собирался поговорить с ними перед самым прибытием в Нью-Йорк. Искал возможности расширить свои акции против Англии, так как считал, что в последнее время они заметно ослабели.

Последние звуки вальса бросили, словно волна, Гризельду к принцу Райя. Капитан склонил в поклоне седую голову и вернулся к своим обязанностям. Стены салона исчезли. Зеркала отбрасывали в бесконечность

картину светлого паркета, позолоченные люстры и зеленые растения в кадках. У Гризельды кружилась голова. Бесконечное пространство кружилось вокруг нее в бесконечном вальсе. Музыканты складывали инструменты, но музыка продолжалась. Меланхоличная мелодия то звучала, то затихала, заглушенная бормотанием тишины. Гризельда схватила обеими руками руку принца, и они двинулись к каютам, не ощущая, как поднимаются по лестницам и проходят коридорами, заполненными светом и туманом. Под их ногами разворачивался бесконечный ковер, нежный, как весенняя трава. Когда подошли к каюте принца, Гризельда отпустила его руку и поняла, что должна идти дальше без него. Спокойная, воздушная, она через несколько шагов повернула за угол и потеряла его из виду. С каждым шагом она освобождалась от волнений и сожалений, одолевавших ее с начала путешествия. Туман рассеивался, свет становился ярким и четким, музыка превратилась в одну-единственную ноту, продолжительную и трогательную, напоминавшую букет желтых цветов дрока. Подойдя к двери своей каюты, женщина услышала радостный лай, неизменно встречавший ее при возвращении домой.

— Ардан!..

Она открыла дверь. Большой пес с огненной шерстью бросился к ней. В центре каюты стоял Шаун, каким она помнила его в часовне острова Сент-Альбан, мужественный и сильный. Его лицо немного портило пятно крови на лбу. Она вспомнила слова Эми: «Тебя ждут на борту большого корабля».

— Ты ждал меня!..

И она бросилась к нему. Пятно крови исчезло. Они слились в одно целое. Каюта задрожала, раскололась, распахнулась навстречу небу и морю. Стремительно несущийся в ночь благодаря всей мощи своих машин, «Титаник» столкнулся с айсбергом.

* * *

В полдень 17 апреля, через два с половиной дня после катастрофы «Титаника», непонятная мгла заволокла Париж. Остановились автомобили и пешеходы, горожане высыпали на улицы, задрав головы к небу, — солнечное затмение накрыло Европу темным пятном.

Сэр Генри, возвращавшийся домой на фиакре, сошел на тротуар и принялся следить за появившимся светлым краешком солнца. Он пытался защитить глаза, держа перед лицом цилиндр, оказавшийся достаточно бесполезным и совершенно непрозрачным экраном. Более находчивый кучер достал один из фонарей и принялся смотреть на солнце через большое красное стекло. Сэр Генри, вынужденный отказаться от дальнейших исследований, отвернулся и надел цилиндр. Ему показалось, что люди на улице выглядят очень странно, а их лица приобрели зеленый оттенок.

— Недобрый знак, мсье, — сказал кучер. — Свояченица моей жены, которая умеет читать по картам, говорит, что после трех комет и одного затмения должна начаться война!

— Да, конечно, — согласился сэр Генри. — Такое вполне может случиться.

Он забрался в фиакр, неторопливо двинувшийся дальше. Обитые железом колеса громыхали по булыжной мостовой в постепенно растворявшейся в свете солнца темноте.

Он не имел понятия о тайнах, раскрываемых с помощью карт, но приходил к тому же пессимистическому выводу, основываясь исключительно на известных ему фактах. В аннексированной Германией Лотарингии пели

Марсельезу, кайзер повстречался с королем Италии на гондоле в венецианском канале, итальянская эскадра обстреляла Дарданеллы, на военных французских самолетах начали устанавливать устройства для размещения бомб, новая парижская мода разрешила женщинам открывать лодыжки, что свидетельствовало о катастрофическом падении нравов, что обычно проявляется на опасных поворотах истории. Но гораздо сильнее, чем гибель «Титаника», его потрясло крушение гораздо менее значительного плавательного средства — во время очередной, 67-й по счету, регаты «Оксфорд—Кембридж» на Темзе пошла ко дну кембриджская восьмерка. Действительно, настал конец времен…

Сэр Генри с облегчением вздохнул и потянулся, усевшись за стол. Он чувствовал себя за ним так уютно… Сейчас весьма вероятным было его назначение в Вашингтон. Но это не слишком привлекало его. Он в очередной раз подумывал об отставке. Тогда смог бы проводить время то в Париже, то на вилле в Трувиле. И посещать Монте-Карло сколько ему заблагорассудится. Разумеется, бывать также в Лондоне и Гринхолле… Конечно, именно таким образом он сможет жить, если не поедет в Вашингтон и выйдет в отставку. В конце концов, есть кому запутывать международную политику и без него…

Успокоившись, он встал и подошел к висевшей на бледно-зеленой стене картине с изображением девочки в лиловом платье, подписанной буквой «Т». Всмотревшись в нее, почувствовал, как его мышцы расслабляются, заботы куда-то уходят… Действительно, это настоящая живопись… Его кузен Томас был настоящим художником…

Но это был художник, который перестал рисовать. Он вернулся в Париж изменившимся, его переполняли желание прощать, в нем появились способность терпеть, а также любовь к Полине. Он телеграфировал, чтобы предупредить родственников о возвращении. В дороге ему казалось, что поезд тащится невыносимо медленно…

Томас бегом взлетел по лестнице… Она услышит его, откроет дверь, он обнимет ее, осыплет поцелуями, поднимет на руки, понесет к постели… В это время мать должна быть занята уроками…

Дом встретил художника полной тишиной. В нем не было ни души.

Первой вернулась мать.

Потом появилась дочь на руках у кормилицы.

Наконец, в два часа ночи, явилась супруга.

Ожидая ее, Томас опустошил все, что удалось найти в доме, — бутылки вина и рома для грога, хинную настойку, спирт, которым были залиты вишни в банке… Он орал так громко, что с Бланш случилась истерика и начались судороги. Проснулись даже животные на конюшне. Лошади ржали, как в ночь землетрясения, а Цезарь, дремавший под платаном, протянул хобот к светящемуся окну и затрубил…

Полине удалось скрыться в своей комнатушке до того, как Томас накинулся на нее с кулаками. Ему не оставалось ничего другого, как разбивать о дверь тарелки и кувшины. Попытался взломать ее, но дверь под краской, изображавшей древесину, оказалась железной. Ее строитель, инженер Эйфель, был человеком обстоятельным.

Элен, одновременно ужасающаяся и довольная, не знала, как успокоить Бланш, извивавшуюся у нее в руках. Она проклинала женщину, принесшую столько бед в их дом, но была рада слышать, как ее, наконец, стал обзывать Томас, чего Полина давно заслуживала.

Полина больше не появлялась в супружеской спальне. Во время отсутствия Томаса она постепенно создавала уют в своей кладовке. Сняла со стенки шкафчик для провизии и поставила его на кухонный стол. Теперь

Элен могла распоряжаться им как ей хочется… Висевшую на плечиках одежду распихала в чемоданы, набросив на них плед. Таким образом, у нее появилось пространство вокруг узкой постели и трельяжа.

Томас с удивлением обнаружил, что в доме теперь жила женщина, совершенно не зависящая от него, тогда как он мечтал вернуться домой к супруге любящей, рыдающей, раскаивающейся. Да, теперь он понял, что в некоторых ситуациях отсутствие не способно ничего излечить. Впрочем, как и присутствие.

Томас привык посещать кафе поблизости от редакции «Матэн» в компании с Бето. Бето заказывал абсент, выпивал рюмку за рюмкой, взгляд его принимал мечтательное выражение, а выпученные глаза становились стеклянными, похожими на устриц. Томас не доверял этой отраве и пил красное вино. В баре «Маленькая пушка» оно было замечательным, из винограда с малоизвестных в Париже виноградников в Божоле.

Монтель пришел в ярость, когда понял, что теперь в его небольшой команде оказалось два пьяницы. Вообще-то, их было трое, но толстяк Фабр мог пить что угодно и в любом количестве, не пьянея. Алкоголь проваливался в его похожий на бочку живот, и его пары не добирались до головы.

— Я вышвырну вашего кузена, — грозно заявил Монтель сэру Генри. — Он отсутствует неделями, а когда появляется, то только для того, чтобы нализаться!

— Вы неправы, он очень талантливый художник… Вот увидите, когда-нибудь вы будете гордиться, что он работал у вас…

— Гордиться!.. Вы знаете, у меня и прежде работали такие же таланты… И я предпочитаю постоянно отсутствующему гению посредственность, оказывающуюся под рукой, когда в ней возникает необходимость. Когда наступила развязка дела Бонно, он был пьян! Всегда жаловался, что не может наблюдать события непосредственно, и такая возможность у него была! Если бы он, напиваясь, оставался при этом спокойным! Но ведь он, нализавшись до определенного уровня, приходит в бешенство — можно подумать, что зол на весь мир и надеется научить его пинками жить так, как считает правильным! Позавчера он отдубасил Розье из спортивного отдела… Но что с этим парнем, почему Томас так пьет и стал таким свирепым?

— Это же художник, мой дорогой. Как можно узнать, что с ним происходит? Муки творчества...

— Как же, муки творчества… В нашем деле больше нужна усидчивость… У него все в порядке с семейной жизнью?

— У него очаровательная жена… Вы знаете ее, это малышка Полина, дочь Поля…

— Эта красотка? Хищница в компании с таким хищником? Нет, такие не уживаются… Его нужно чем-то отвлечь… Я скажу толстяку Фабру, чтобы отвел его в одно заведение. Я скажу о нем хозяйке. У нее есть великолепные девушки. Как его фамилия? Я никогда не мог ее запомнить…

— Онжье… Томас Онжье…

— Господи! С такой фамилией я тоже стал бы постоянно напиваться только для того, чтобы забыть ее…

* * *

— Мсье Онжье, — сказал Монтель, — раз уж вы оказали нам честь присутствовать в редакции этим вечером и при этом проявили достаточно хладнокровия, чтобы отличить пуделя от полицейского, я хочу предоставить возможность исправить ваш промах с бандой Бонно. Мне сейчас

позвонили из прокуратуры, что они обнаружили Гарнье в Ножан-сюр-Марн. Похожая история: он закрылся в павильоне с еще одним бандитом; их окружили, но они удачно отстреливались и к настоящему времени уложили человек пять или шесть полицейских… Возьмите машину и летите туда. Само собой, вы, Фабр, тоже поедете с ним… А где Бето?

— Там, мсье…

Монтель наклонился, чтобы проследить направление, указанное пальцем Фабра.

Бето лежал под столом, подложив под голову стопку газет. Один глаз у него был открыт, другой закрыт.

— Он спит или окочурился?

— Думаю, ни то, ни другое… Мы точно узнаем завтра утром.

У Луи, шофера редакционной машины, имелся адрес, нацарапанный на клочке бумаги. Очень простой адрес: Ножан-сюр-Марн, улица Виадук. Нужно было всего лишь найти этот виадук.

Когда приехали в Ножан, то оказалось, что уточнять адрес не требуется. Темная ночь с затянутым облаками небом не позволяла увидеть виадук, но стрельба слышалась издалека, и в свете газовых фонарей было хорошо видно, как со всех сторон множество машин и пешеходов, иногда целыми семьями, устремлялись в одну сторону, руководствуясь звуками стрельбы. Луи поехал в том же направлении. Его обогнала команда зуавов, маршировавших к театру военных действий. Скоро пришлось остановиться, чтобы не передавить любопытных. Свет фар выделил из темноты плотную стену спин. Он попытался пробить брешь в этой стене воплями сирены, но никто даже не пошевелился.

— Дай отдохнуть сирене, — посоветовал Фабр. — Лучше развернись и подожди нас в сторонке.

Развернуться Луи тоже не удалось. Валившая сзади толпа окружила машину, и самые находчивые забрались к нему на крышу, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Но ничего не было видно. Все заволокла темнота. Правда, теперь совсем близко слышались выстрелы. Как отдельные, так и очереди.

— У них есть автомат, — оценил ситуацию Фабр. — Непонятно только, у кого? У бандитов или у полицейских?

— У бандитов! — крикнула женщина рядом. — Их человек двадцать в этом павильоне! Но полицейские послали за артиллерией! Сейчас привезут пушки!

— Надо попытаться что-нибудь увидеть, — сказал Томас. — Ведь мы приехали, чтобы наблюдать…

— Идем туда!.. За мной!.. Не отставай!

Фабр пробил дорогу своим животом. Ничто не могло задержать такую массу. Томас пожал плечами и двинулся за ним в кильватере. Ему было наплевать на происходящее. Это дурацкое происшествие совершенно не интересовало его.

Через несколько шагов оказались перед цепочкой полицейских. Офицер проверил их пропуска, посветив на них спичкой, и пропустил. Они вышли из темной массы, чтобы оказаться в темной пустоте. В быстрых вспышках, отмечавших выстрелы, появлялся и исчезал виадук. У одной из его опор светились фонари небольшой группы, и художники направились к ней. Фабр все время шел впереди. Наткнувшись на колючую проволоку, он принялся ругаться. Потом отодвинул ее своим пузом и прошел дальше, но тут же наткнулся на спящую корову и упал.

— Вот дерьмо! Тут какая-то скотина! Осторожнее! Ты где? Помоги подняться, черт возьми!

Томас наклонился и схватился за какой-то предмет — как оказалось, это были коровьи рога. Потом нащупал брюхо, хвост, соски, ногу, дернувшуюся под его рукой. Потом ему попалась еще одна нога, затем рука. Потянув за руку, Томас поднял на ноги Фабра, показавшегося ему легким как перышко. Сильный взрыв потряс небо и землю у них под ногами. Испуганная корова вскочила и сбила их с ног. Они упали на траву с навозом. Из темноты над их головами сыпались обломки.

— Они взорвали лачугу, точно так, как было с Бонно, — сказал Фабр, поднявшийся на четвереньки. — А мы так ничего и не увидели…

— Что ты хочешь увидеть в этом мраке? — спросил Томас.

Но лачуга не взлетела на воздух; только угол крыши был снесен взрывом гранаты, сброшенной с виадука артиллеристами. Томас и Фабр узнали об этом, когда подошли к командному пункту. Здесь, вокруг грузовика, уже толпились журналисты. В кузове тарахтел бензиновый двигатель. Рядом с ним возвышалась поставленная на бок огромная, не меньше метра в диаметре, кастрюля. Ее стеклянный глаз слепо уставился в темноту. Это был прожектор пожарников. Но он ничего не освещал, так как не работал. Но без него полицейские ничего не могли предпринять. Они ничего не видели в темноте. Не виден был даже дом, где засели бандиты.

Начальник полицейских рассвирепел. Старший пожарник отправил своего помощника в Париж за специалистом по прожекторам. А пока кто-то догадался выключить двигатель. Снова вспыхнула стрельба, но через пару минут все стихло. Полицейские, прятавшиеся за деревьями, стреляли кому куда хотелось. Им никто не отвечал.

В толпе зрителей начали появляться очаги света. Продавщица картофеля фри зажгла фонарь и принялась раздувать огонь под большой сковородой с маслом. В кузове белого грузовика какой-то мужчина в белой куртке отрегулировал язычки четырех ацетиленовых фонарей и принялся раскладывать пакеты. Между взрывами петард слышалась музыка — кто-то играл на аккордеоне. Вокруг него мгновенно расчистили пространство, и несколько пар принялось вальсировать. Небольшие группы рассаживались на земле вокруг свечи и литра красного, которое закусывали сосисками. Парижане все прибывали и прибывали. Городские службы удвоили количество трамваев в эту сторону. От Бастилии прибыл специальный поезд. Улицы Ножана были забиты колясками, фиакрами и автомобилями. Из них выгружались целые семьи с корзинками, складными стульями и биноклями.

Томас, прислонившийся к опоре виадука под висевшим над головой факелом, слушал, ничего не слыша, и смотрел, ничего не видя. Все вокруг было невероятно чужим, это будто спектакль из другого мира, за тысячу лье и тысячу лет от него. Что он здесь делал? И кто на самом деле сошел с ума? Он или они? Кто был жив, а кто мертв?

Два офицера-сапера проползли мимо него в ночь. Один из них тащил рукоятку от метлы, к концу которой было прикреплено шесть шашек мелинита. Они должны взорвать убежище бандитов.

На белом грузовике мужчина в белой куртке, освещенный ацетиленовыми лампами, кричал:

— Покупайте Манипульс! Чудесный аппарат профессора Иогансена! За минуту избавит вас от любой боли!

Прибыл трамвай, забитый девушками с бульвара Ришар-Ленуар. Бойкие девицы в черных юбках, с красными лентами в волосах выдергивали из толпы клиентов и скрывались с ними в темноте. Вернувшись через три минуты, они подбирали следующего счастливчика. Все разновидности

транспортных средств продолжали разгружаться в уже и так переполненном до краев Ножане.

Два сапера приползли назад. Оказалось, что они захватили с собой слишком короткий бикфордов шнур. Запасного шнура у них под рукой не нашлось. Взорвать дом они не смогли.

Специалист-электротехник, прискакавший на лошади, предложил подвести к взрывчатке электрический провод. Два сапера уползли за оставленным ими возле дома мелинитом.

Электрик принялся хлопотать вокруг прожектора. Ему подсвечивал фонариком пожарник. Наконец электрик воскликнул: «Все в порядке!» Бензиновый мотор снова запустили. Специалист-электротехник опустил рубильник. Прожектор не работал. Мотор остановили.

Саперы приползли назад с мелинитом. Главный артиллерист заявил, что его слишком мало, и добавил к заряду еще шесть шашек. Адъютант присоединил к взрывчатке провод. Саперы уползли в темноту.

У основания опоры виадука Томас заметил какой-то круглый предмет, более темный, чем темнота. Это была голова уснувшего Фабра. Он негромко похрапывал.

Раздался чудовищный грохот, вырвавший Фабра из сна. Он вскочил. Это взлетел на воздух дом с бандитами.

— Вперед! — заорал главный полицейский.

Полицейские кинулись к дому, держа пистолет в одной руке и фонарик в другой. С неба продолжали сыпаться обломки черепицы и кирпичей. Толпа взвыла и ринулась вперед. Она снесла заслон полицейских вместе с зуавами и жандармами и увлекла их с собой, к месту, где что-то происходило. Картофель фри и кипящее масло оказались на земле, развлекавшиеся на траве парочки и проволочная ограда вместе с коровой были сметены черным приливом. Электрик, не обращавший внимания на происходящее, продолжал возиться с прожектором.

Подхваченный гребнем волны, Томас оказался внутри разрушенного дома. Он увидел в свете чудом горевшей лампы человека, скорчившегося на матрасе, и другого человека, стоявшего рядом и стрелявшего в полицейских, а также нескольких полицейских, светивших фонариками во все стороны и беспорядочно паливших куда придется. Стоявший тип перестал стрелять и упал, его схватили и потащили наружу; вслед за ним вытащили лежавшего на матрасе вместе с матрасом. Толпа отхлынула. Жандармы защищали полицейских, тащивших двух мертвецов, от толпы, рвавшейся расправиться с убитыми. Томас пошел вслед за жандармами. Его нос был забит пылью и трухой от растоптанного сена; он чувствовал сильный запах пороха, пота и грязных тел. Мертвых бандитов погрузили в машину «скорой помощи», толпа начала рассеиваться, шоферы крутили рукоятки, чтобы завести двигатели.

Неожиданно темноту разорвал невероятно яркий свет — это заработал прожектор! Его луч пробежал зигзагом по виадуку, по окрестным полям, по дымящимся стенам дома, по строящимся зуавам и, наконец, застыл, уставившись в одну точку, — механизм поворота заклинило.

В десяти шагах от себя Томас увидел в световом конусе автомобиль, его ярко блестевший никелированный радиатор и красные брызговики. Еще одно красное пятно на сиденье оказалось Полиной.

Она сидела рядом с мужчиной в цилиндре и черном плаще, из-под которого выглядывал белый шелковый шарф. Они приехали в Ножан после спектакля. Или после ужина… Томас узнал мужчину. Его взор художника никогда не забывал лицо, увиденное хотя бы однажды. Это был Кользен, декоратор труппы «Русский Балет».

Томаса охватило веселое бешенство. Исчезли все намеки на ирреальность происходящего. Вот что здесь касалось непосредственно его! Это была настоящая жизнь, его жизнь! Закончился период тусклой неопределенной печали, вопросов, напоминавших по вкусу опилки, болтающиеся в его голове и груди. Появилось лицо! Появился человек!

Он вспрыгнул на подножку, взмахом руки отправил в полет цилиндр, схватил шарф, одним рывком поднял Кользена и вышвырнул его из машины.

— Томас!

Крик Полины открыл для декоратора имя напавшего, которого он не успел разглядеть. Он был крепким мужчиной и любил сражаться. Завязалась ужасная схватка. Время от времени мужчины выкатывались из светового конуса, и тогда из темноты доносились только хрипящее дыхание и звуки тупых ударов; потом кто-то снова оказывался на свету с сидевшим на нем противником. Шофер автомобиля хотел помочь своему хозяину, но ему помешало брюхо появившегося из темноты Фабра. Несколько прохожих остановились полюбопытствовать, но им хватило полученных за вечер эмоций, и они не стали задерживаться. Небо посветлело. Корова замычала, почувствовав раздувшиеся от молока соски. Томас в рваной одежде, забрызганной его кровью и кровью противника, подобрал потерявшего сознание врага и швырнул его к ногам Полины.

— Держи!.. Постарайся подлечить его… И можешь оставить себе!..

Полина проводила мужа взглядом, когда он садился в подъехавшую редакционную машину. Томас уехал, не обернувшись. Только тогда она склонилась над поверженным.

Прожектор выключили. Прокукарекал петух. Ему ответили соседские петухи. Начинался мирный день.

* * *

Впервые за двадцать лет Элен пропустила урок. Ей нужно было заниматься английским с девочками-двойняшками барона Анвиллера на авеню Виктора Гюго, и она не смогла предупредить, что не появится. Часы уже показывали почти половину одиннадцатого, а она так и не вышла из дома. В плаще, шляпе и перчатках сидела на стуле в кухне, оставив открытой дверь в комнату сына, и не сводила глаз с лестницы. Томас не пришел домой ночью. Полина тоже.

В восемь часов телеграфист принес телеграмму, адресованную мистеру Томасу Онжье. Не распечатывая телеграмму, Элен бросила ее на стол. Десятки раз она брала в руки заклеенную синей полоской бумаги телеграмму, готовая открыть ее, и снова опускала на стол. Она не могла. Нельзя открывать письмо, адресованное не тебе. Даже если оно пришло к близкому человеку. Даже срочное.

Всегда приходится пожалеть, что ты открыл телеграмму, даже адресованную тебе. Она чаще всего приносит несчастье, горе, сообщение о несчастном случае, о похоронах. Если кто-то рождается, об этом пишут в письме. Если случается что-то счастливое, об этом молчат.

Элен вскочила, словно подброшенная пружиной, когда услышала, что хлопнула дверь с мостика. Томас или Полина? Томас… Тяжелые шаги мужчины на первых ступеньках… Медленные, неуверенные, осторожные… Несчастье, это явно несчастье! Что могло случиться? Она увидела сначала его лицо с раздувшейся левой щекой, потом правый глаз, почти закрывшийся от удара, разбитые губы… Элен вскрикнула и бросилась к сыну…

— Что они с тобой сделали?.. Кто это сделал?.. Кто?

Она должна знать, кто ранил ее Томаса! Чтобы убить его!

Томас с трудом улыбнулся, схватил мать, такую невесомую, поднял ее, поцеловал…

— А, пустяки… С этим кончено… Не волнуйся, ничего не сломано… Все в порядке… — Потом добавил: — Я проголодался…

Это окончательно успокоило мать.

Он ногой распахнул дверь в комнату Полины. Пусто… Элен заколебалась, она все еще боялась ранить его. Но он должен был знать…

— Она еще не приходила…

— Я знаю. — Он повернулся к матери. — Она больше не придет…

Произнеся эти слова, Томас окаменел и несколько секунд не шевелился. Он смотрел прямо перед собой, вдаль, словно видел что-то сквозь стену. Потом опустил веко на том глазу, на котором оно не было закрыто, слегка потрогал распухшую губу и повторил:

— Я проголодался…

Потом прошел в столовую и сел за стол.

Элен бросилась в кухню, разбила в сковородку шесть яиц, принесла хлеб, масло, печенье; поставила на стол чайник с заваркой, лимон на блюдечке, кружку… Вернулась за кипятком на кухню, налила его в кружку, принесла сахар, молоко, варенье… Она вспомнила о телеграмме, только выдвинув ящик стола, чтобы достать чайную ложечку и нож.

Она недрогнувшей рукой положила телеграмму перед Томасом.

— Это пришло сегодня на твое имя…

Томас с удивлением посмотрел на телеграмму, открыл ее и прочитал. Элен перестала дышать. Пыталась догадаться о содержимом телеграммы, всматриваясь в его лицо и с трепетом дожидаясь, что скажет... Что-то страшное? Она заметила, что сын испытал потрясение. Покачав головой, он посмотрел на мать, словно хотел спросить ее о чем-то, потом передумал и пожал плечами. Смяв телеграмму, отбросил ее.

— Мне наплевать!

Элен налила чай в кружку. Он выпил с удовольствием.

— Угадай, где я был сегодня ночью?

И Томас принялся рассказывать матери о ночи в Ножане, не упоминая Полину. Мать побежала за яичницей. Поставив сковородку на стол, подобрала скомканную телеграмму и расправила ее.

— Я могу?..

— Конечно…

Она прочла короткий текст. Он улыбнулся, увидев, как телеграмма потрясла ее.

— Дай-ка мне…

Положив телеграмму возле себя на стол, Томас прочитал ее вслух, не переставая жевать.

Это была каблограмма из Нью-Йорка: «Выставка вызвала огромный интерес. Необходимо ваше присутствие. Привезите остальные полотна. Я телеграфировал в «Виндон Бритиш-Банк», можете получить в нем аванс любого размера. До встречи. Очень рад. Тюрье».

— Ты же не поедешь туда! — крикнула Элен.

Он бросил взгляд через открытую дверь на комнату Полины, где была видна незастеленная кровать, валявшееся на полу желтое платье, туфелька на перламутровом столике. И сказал:

— Почему же… Обязательно поеду…

* * *

Человечество избежало страшной катастрофы: эпидемию чумы, уничтожившей две трети населения Маньчжурии, удалось сначала остановить, потом полностью победить. За несколько месяцев до этого эпидемия грозила охватить весь мир.

В это время яхта князя Александра «Федор» вышла из Бангкока, направляясь во Владивосток. В первый же день плавания князь почувствовал, что его сердце отказывается работать. Он впервые понял, что смертен, как все люди. До сих пор подобные мысли не приходили ему в голову. Он содрогнулся, подумав, что может исчезнуть, не получив прощения от своего повелителя. Как только яхта пришла в русский порт, князь сел на специальный поезд, постоянно дожидавшийся его в начале Транссибирской магистрали.

Нигде, ни на Востоке, ни на Западе, уже целое тысячелетие не возникало ничего, подобного эпидемии, опустошавшей Маньчжурию. Повсюду горели костры, на которых сжигали тысячи мертвецов вместе с находящимися в коме живыми. Чтобы защитить себя от эпидемии, Россия полностью прервала связи со своими восточными соседями, создав на границах санитарные кордоны, для чего были привлечены регулярные войска. Для пущей безопасности разобрали рельсы на отрезке Транссибирской магистрали.

Поезд князя остановился из-за отсутствия рельсов. Темнело. Солнце опускалось над огромной равниной. Подул ледяной ветер. На востоке дымы погребальных костров окрасились розовым.

Князь не мог терять ни минуты. Он не имел права остановиться, а поэтому решил двигаться дальше пешком. Завернувшись в шубу, зашагал к Москве во главе колонны помощников, слуг, охранников и прочей челяди.

Загрохотали пулеметы. Князь упал вместе со своими спутниками. Потом их облили бензином. Вспыхнул костер, и ветер разнес еще один дым, такой же, как все остальные.

Через три дня после солнечного затмения военный французский дирижабль объемом 9000 кубических метров и длиной 88 метров с командой из шести человек достиг высоты 2500 метров. Командовал дирижаблем капитан Неан[1].

В одном из кабаков Дублина с голубым фасадом Джонатан пил пиво вместе с группой молодых ирландцев. Одного из них звали Джеймс Коннолли, и позднее он был расстрелян после поражения восстания 1916 года привязанным к стулу, поскольку ранение вызвало у повстанца гангрену, и он не мог стоять на ногах. Другой ирландец приехал из Америки, его звали Эймон де Валера. Самым старшим в компании был старый фений Том Кларк, ветеран, воевавший уже лет тридцать.

Пирс запел песню свободы, написанную им на древнем языке. Он был поэтом. Его вскоре повесили. К его голосу постепенно присоединились все остальные. Жан О сел за пианино, ударил по клавишам и запел на гэльском с тулузским акцентом. На противоположной стороне улицы Молли готовила обед для всей компании.

— Ма-ма-ма-ма, — сказала Бланш.

И она шлепнула открытой ладошкой по тарелке так, что каша разлетелась во все стороны.

---

[1] В переводе с французского слово neant обозначает «ничто». Вероятно, Баржавель проводит здесь параллель с капитаном Немо (nemo переводится с латинского как «никто»).

— Нехорошая девочка, — укоризненно сказала Элен.

Она улыбалась. Была в восторге.

Полина исчезла и не возвращалась. Бланш полностью принадлежала Элен….

— Ма-ма-ма ма…

— У тебя нет мамы… Но это не беда… Она тебе не нужна, потому что я всегда с тобой… Открой ротик!.. Шире!..

Она сумеет защитить ребенка. От всех. И прежде всего от мужчин, от любви, от отвратительной любви, которая становится причиной всех бед и несчастий. От таких несчастий, как у бедной Джейн, которую бил и которой изменял муж, от несчастий Гризельды, пропавшей неизвестно где, от ее собственных несчастий, от несчастий Томаса и, в конце концов, возможно, что и от несчастий самой Полины…

— Не беспокойся, я научу тебя, как обращаться с ними… Открой ротик!

Пароход «Франс» входил в гавань Нью-Йорка. Он заканчивал третий рейс в Америку, во время которого побил собственный рекорд времени, затраченного на пересечение Атлантики. Все буксиры, сторожевики, барки и остальные суда, способные держаться на воде, включили сирены и звонили в колокола, приветствуя трансатлантический корабль, медленно двигавшийся среди фонтанов воды, выбрасываемых пожарными катерами. Стояла прекрасная погода, и солнечные лучи превращали гигантские фонтаны в праздничный фейерверк. Встревоженные чайки кружились над вертикальными струями, криками отвечая сиренам. Сирены «Франс» гудевшие низким басом, напоминавшим голос мастодонта, заставляли вибрировать тела пассажиров, столпившихся на палубе и любовавшихся открывающейся перед ними Америкой.

Томас оказался самым высоким в толпе любопытных. Он всматривался в плотную стену зданий, над которыми возвышалась вздымавшая ввысь свой факел статуя Свободы. Небоскребы, о которых он столько слышал… Да, конечно… Они срывали с неба свет, разбрасывая его повсюду…

Чайки с криками пикировали к поверхности воды, снова взмывали в небо, энергично взмахивая крыльями. Одна из птиц кричала громче других, и ее голос показался Томасу странно знакомым… Он прислушался и присмотрелся…

— Шама! — закричал он, срывая каскетку с головы и подбрасывая ее кверху.

— О-крааа! — ответил ему большой белый ворон.

Он спланировал вниз, разгоняя мечущихся над пароходом чаек.

— Шама! Шама! Старый разбойник!..

Ворон соскользнул на несколько метров ниже, затормозил и опустился легко, словно перышко, на лохматую голову Томаса.

Стоявшие рядом пассажиры восторженно закричали, но остальные попрежнему не сводили глаз с панорамы Нью-Йорка.

— А-крроа? А-крроа? — поинтересовался Шама. Он спрашивал: — Как дела? Как дела?

— Все будет хорошо, — ответил ему Томас.

Воздух нового мира и океан смешались у него в груди. Он набирал полную грудь, так что его легкие едва не лопались, сжимал кулаки, широко открывал глаза, впитывал сияние неба и уносимых ветром облаков, вслушивался в крики птиц. Он возвышался над толпой пассажиров, словно небоскребы, словно увенчанная короной статуя над невысокими зданиями. Отмахивался от всех видов принуждения, от обязательной работы, от

давящей материнской заботы, от семьи, оставшейся далеко позади… Да, конечно, у него все должно быть хорошо…

Полина…

Да, Полина… Белоснежная девушка, кружившаяся в танце в его объятьях… Возвращение из театра, счастье находиться рядом с ней в фиакре… Пляж, бесконечный ропот моря, нежность и тепло груди в его руке в ночи, неудержимый порыв его тела к светившемуся рядом девичьему телу под взрывавшимися звездами… Свечи ночью в круглом зале, сияющее тело Полины, уснувшей в золотистом свете… Полина, где ты сейчас? Что ты сделала… Что стало с тобой, далекой, потерянной?

Нет, нет, ничто не было потеряно… Он хранил в себе все чудеса, жившие в нем, тепло и краски ее крови… Он знал, что сохранит их до последней секунды его жизни, до тех пор, пока будет в состоянии вспоминать…

Он очутился в Америке! Приплыл сюда! Он будет рисовать, будет получать за это деньги, будет свободным!

Он крикнул:

— Шама! Все хорошо! Все будет хорошо!

Большой белый ворон, вцепившийся в львиную шевелюру, взмахнул крыльями, словно хотел взлететь, держа Томаса в когтях. Вокруг завывали сирены.

— Твой отец уехал, но он скоро вернется, — проворковала Элен. — Твоя мама больше не придет. Но он вернется… Получит много денег, мы выкупим остров, ты будешь счастлива на нем… Потерпи… Я покажу тебе очень красивую вещицу…

Элен расстегнула верхние пуговицы своего черного корсажа, забралась внутрь худыми пальцами и вытянула тонкую золотую цепочку, которую носила на шее, незаметную под блузкой. На цепочке висел подаренный Гризельдой перстень. Она расстегнула цепочку, сняла перстень и протянула его внучке.

— Смотри…

Бланш в восторге вскинула вверх обе ручки, два нежных розовых цветка с растопыренными лепестками. Волосы на ее головке, белые при рождении, теперь немного потемнели, приобретя теплый каштановый цвет с оттенками золота. Глаза у нее светились, словно изумруды, оказавшиеся в тени.

— Смотри… Как это красиво… Это наш остров… Он будет твоим…

Бланш вскрикнула от восторга, схватила удивительно красивый предмет, зеленый и блестящий, и бросила его в тарелку с супом…

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.



Спасибо Вам за письмо…

Из переписки Ивана Шамякина

В последнее время в литературный обиход все чаще и чаще вводится эпистолярный жанр, которому раньше не уделялось нашими критиками и литературоведами надлежащего внимания. А ведь именно этот жанр может дать богатый материал для изучения творческого наследия и творческой манеры того или иного писателя, его взаимосвязей с коллегами-писателями, общественными деятелями, а также с родными и близкими людьми. Читателям журнала «Нёман» мы неоднократно предлагали письма как самого И. Шамякина, народного писателя Беларуси, так и письма коллег-писателей, общественных деятелей и ученых к И. Шамякину. Сейчас также хотим предложить небольшую подборку писем из переписки писателя с редакторами, переводчиками, учеными, писателями и т.д.

1
Г. И. Ломидзе — И. П. Шамякину
Вторая половина 1979 г., Москва

Уважаемый Иван Петрович,
Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР готовит к изданию в 1980 году, к 35-летию Победы над фашизмом книгу «Литература о войне и современный литературный процесс».

В разделе «Говорят писатели» нам бы хотелось опубликовать Ваш краткий ответ (6—7 страниц) на вопрос «Какую роль в Вашем современном творчестве играет художественный опыт литературы о войне и какое место занимают в нем проблемы войны и мира в широком смысле этого слова?».

Заранее благодарим Вас за желание участвовать в нашей книге и за оперативность ответа (ждем его к октябрю сего года).

С уважением
зав. отделом советской литературы
ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР
член-корреспондент АН СССР
Г. И. Ломидзе

Письмо написано советским и российским литературоведом, членом-корреспондентом АН СССР (1972) Георгием Иосифовичем Ломидзе (1914—1999). Напечатано на бланке Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

2
С. А. Баруздин — И. П. Шамякину
21 июня 1979 г., Переделкино

Дорогой Иван Петрович!

С интересом и радостью за Вас прочитал Ваш роман «Возьму твою боль».

По-моему, это — удача! Отличный роман!

От души поздравляю Вас!

Правда, кое-что придется сделать. Местами роман растянут, много подробностей второстепенного ряда. Несколько обескураживает перевод. Очень он местами беспомощный. Тут надо думать и думать…

Но главное, слава Богу, есть.

И это прекрасно!

Обнимаю Вас!
Ваш С. Баруздин

Письмо написано русским советским писателем и поэтом, редактором Сергеем Алексеевичем Баруздиным (1926—1991).

3
И. Шамякин — С. Баруздину
Первая половина 1983 г., Минск

Дорогой Сергей Алексеевич!

Спасибо Вам за письмо, за Ваше благородное желание написать в новой книге раздел о моем творчестве.

Отвечаю на Ваши вопросы:

1. Первой моей книгой был роман «Глубокое течение», изданный в оригинале и в переводе на русский язык в 1949 году. Правда, до романа в периодике я опубликовал повесть, рассказы, очерки, вышедшие отдельной книгой годом позже, название книги «На знакомых путях».

Дальше перечисляю в хронологическом порядке:

Роман «В добрый час» — 1953 г.

Роман «Криницы» — 1956 г.

Пенталогия «Тревожное счастье» (первая повесть этой большой книги — «Неповторимая весна») — 1959—1965 гг.

Роман «Сердце на ладони» — 1963 г.

Роман «Снежные зимы» — 1969 г.

Роман «Атланты и кариатиды» — 1974 г.

Повести «Торговка и поэт», «Брачная ночь» — 1974—75 гг.

Роман «Возьму твою боль» — 1979 г.

Роман «Петроград—Брест» (журнальная публикация) — 1983 г.

Издал несколько сборников рассказов, повесть «Ах, Михалина, Михалина». Писал пьесы, сценарии, статьи.

Наиболее известные поставленные в театрах пьесы «Не верьте тишине», «Экзамен на осень», «И смолкли птицы», «Золотая медаль».

По сценариям моим поставлены фильмы: «Криницы», «Хлеб пахнет порохом», «Возьму твою боль», «Торговка и поэт», «Свадебная ночь», «Атланты и кариатиды».

Издал книгу статей «Разговор с читателем» — 1973 г.

2. Самая-самая первая публикация — статья о Максиме Горьком в армейской газете «Часовой Севера», она была подписана «Красноармеец И. Шамякин». Это

было в марте 1941 года. Осенью этого года или в начале 1942 года в суровые военные месяцы в газете «Удар по врагу» (возможно, название путаю) опубликовал два или три стихотворения. Об этом лет десять назад писал в журнале «Звезда» Бронислав Кежун, бывший сотрудник газеты, мой редактор.

В 1945 году, находясь в Германии, написал повесть «Месть». Она была опубликована в последнем номере журнала «Полымя» за 1945 год. Это мой дебют в белорусской литературе. Довольно успешный. Еще раньше, в 1943 году, находясь на Севере, я написал рассказ «В снежной пустыне», но опубликован он был позже повести — в 1946 г.

3. Со школьного увлечения литературой моим любимым писателем был Якуб Колас. Он очень близок был мне по духу, по тематике, что в какой-то мере определялось и общностью одной детали биографии: наши отцы были лесниками. Я горжусь, что судьба подарила мне личное общение с этим мудрым человеком.

Моим прямым учителем, кто еще до войны, будучи редактором «Полымя», давал отзывы на рукописи моих наивных рассказов, был Михась Лыньков. И в послевоенное время, когда я пришел в литературу, Михась Тихонович очень внимательно следил за моим творческим ростом. Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, нас связывала дружба.

В юношеские годы и в годы армейской службы самым любимым моим писателем был Максим Горький. Его творчество определило мою художественную направленность.

Безусловно, огромно значение русской классической литературы. Очень любил и люблю М. Шолохова, А. Фадеева, К. Федина, А. Толстого.

Учусь я сейчас у хороших русских писателей, у своих коллег, нынешних белорусских прозаиков. Влияние, взаимовлияние — тонкие вещи. Бывает, что даже посредственное произведение товарища становится причиной для серьезных творческих размышлений: а как бы это сделал я? Бывает у Вас такое?

4. Год назад я ослеп на левый глаз. Боюсь перегружать единственный глаз, в последнее время мало читаю — самое необходимое, ведь и писать еще хочется. А посему боюсь судить о новинках. Но дайте собраться с мыслями, может, я напишу что-то на основании своего многолетнего опыта, если это надо не очень срочно.

Еще раз спасибо. Успехов Вам!
Обнимаю. Ваш Шамякин

Лист адресован С. А. Баруздину. Баруздин Сергей Алексеевич — см. комментарий к письму № 2. Датируется примерно первой половиной 1983 года согласно следующему тексту письма: «Год назад я ослеп на левый глаз». Ослеп в мае 1982 года.

Издал несколько сборников рассказов… — сборники рассказов «На знаёмых шляхах» (1949), «У Маскву» (1950), «Дзве сілы» (1951), «Апавяданні» (1952) и др.

…повесть «Ах, Михалина, Михалина». — Впервые опубликована в журнале «Маладосць», 1966, № 2.

Наиболее известные поставленные в театрах пьесы «Не верьте тишине», «Экзамен на осень», «И смолкли птицы», «Золотая медаль». — «Не верьте тишине» (поставлена в 1958 г.); «Экзамен на осень» (поставлена в 1974 г.); «И смолкли птицы» (поставлена в 1977 г.); «Золотая медаль» (поставлена в 1980 г.).

По сценариям моим поставлены фильмы: «Криницы», «Хлеб пахнет порохом», «Возьму твою боль», «Торговка и поэт», «Свадебная ночь», «Атланты и кариатиды». — Сняты: «Криницы» — 1964; «Хлеб пахнет порохом» — 1973;

«Возьму твою боль» — 1980; «Торговка и поэт» — 1978; «Свадебная ночь» — 1980; «Атланты и кариатиды» — 1980.

...в армейской газете «Часовой Севера»... — Ежедневная красноармейская газета, издавалась в Мурманске в 1939—1945 годах.

...в газете «Удар по врагу»... — Скорее всего, имеется в виду газета 42-й армии «Удар по врагу». Ответственный редактор — майор Г. Куклис. Штаб армии во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде.

«Звезда» — российский ежемесячный литературный журнал. Издается в Петрограде — Ленинграде — Санкт-Петербурге с января 1924 года.

...Бронислав Кежун... — Кежун Бронислав Адольфович (1914—1984) — советский поэт, переводчик.

Еще раньше, в 1943 году, — рассказ «В снежной пустыне», но опубликован он был позже повести — в 1946 г. — Рассказ написан в 1944 году на финском словаре. Этот автограф рассказа не сохранился, до наших дней дошел второй автограф, написанный на обычной бумаге. Рассказ впервые напечатан в журнале «Полымя», 1946, № 8—9.

«Полымя» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Издается с 1922 года в Минске на белорусском языке.

4
И. Шамякин — Л. Кулиджанову
Конец 1964-го — начало 1965 г., Минск

Товарищ Кулиджанов!

За свою работу в кино я получил одни шишки и ничего лучшего уже не ожидал. Но меня все же огорчило, что Вы, художник, которого я глубоко уважал и который, казалось мне, знает село, критикуете «Криницы», во-первых, явно с чужого, знакомого мне, голоса, а во-вторых, с позиций прошлого года, а он, год прошлый, очень и очень непохож на год нынешний по отношению партии и народа к проблемам, которые возникли в сельском хозяйстве.

Меня утешает, что добрых процентов 90 зрителей имеют иное мнение о фильме. Оно такое, как у автора письма, копию которого я решил послать в Оргкомитет Союза. Судя по адресу, этот человек ближе, чем мы с Вами, к земле, и нам, художникам, к голосу таких людей стоило бы изредка прислушиваться.

С уважением и пожеланием Вам творческих успехов
Иван Шамякин

Письмо адресовано советскому и российскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу и педагогу, народному артисту СССР (1976), Герою Социалистического Труда (1984), Лауреату Ленинской премии (1982) Льву Александровичу Кулиджанову (1924—2002), который в 1963—1964 гг. возглавлял Главное управление художественной кинематографии в Госкино СССР, а в 1964 г. стал председателем Оргкомитета СК СССР. Л. Кулиджанов критически высказался о фильме «Криницы» (1964) по одноименному роману И. Шамякина. Письмо датируется концом 1964-го — началом 1965 года согласно данным выхода фильма «Криницы» на экраны кинотеатров. Фильм снят в 1964 году, премьера состоялась в начале 1965 года.

5
И. Шамякин — Н. Лесючевскому
Конец 1975 г., Минск

Председателю Правления
издательства «Советский писатель»
тов. Лесючевскому Н. В.

Дорогой Николай Васильевич!

А. О. Тамм и Т. Я. Горбачева, которые посетили Минск, ознакомили меня с портфелем редакции прозы народов СССР и просили мои рекомендации в связи с работой над проектом плана изданий 1977 года.

Я дал им эти рекомендации устно. Но решил подтвердить их в письме на Ваше имя.

Наиболее значительными из того, что я поспел прочитать, достойными издания на русском языке мне представляются:

Повесть И. Пташникова «Найдорф», о первых послевоенных днях белорусской партизанской деревни. Герои повести Ефрем Жаворонка и Алеша Белонович — бывшие партизаны, люди мужественные и самоотверженные. Повесть драматична, остросюжетна.

Роман в новеллах Б. Саченко «Чужое небо». Роман Б. Саченко охватывает события от начала Великой Отечественной войны до наших дней. В центре романа — судьба семьи Горопашков, которая во время войны оказалась в Германии. В романе много других образов — партизан, подпольщиков, фронтовиков. Среди героев — белорусы, русские, украинцы, поляки, словаки, немцы…

Книга Янки Сипакова «Крыло тишины». Книга прозы поэта Я. Сипакова посвящена людям сегодняшней белорусской деревни, труженикам-хлеборобам, их повседневному подвигу. Она состоит из трех повестей — «Крыло тишины», «Все мы из хат» и «Доверчивая земля». Повесть «Доверчивая земля» получила премию журнала «Дружба народов».

Поддерживаю роман «Иду в жизнь» скончавшегося в этом году писателя Р. Соболенко, а также книги избранных повестей А. Божко и Е. Василевич.

Прошу внимательно рассмотреть рукопись парализованного, прикованного к постели молодого писателя Э. Ярошевича; видимо, представляемый объем в 24 листа великоват, это, пожалуй, все, что им написано, но листов 12 собрать можно и дать с предисловием, рассказывающим о тяжелой судьбе этого человека.

С плана редподготовки в план выпуска достойны перейти книги П. Мисько, И. Громовича, М. Машары, Л. Прокши. Книги эти одобрены, редакция и авторы проделали немалую работу, потому я не характеризую их подробно.

Ко всему этому добавляется моя книга повестей, о которой я Вам писал и о которой мы с Вами имели детальный разговор.

Понимаю, что по количеству рекомендовано мной немало.

После ознакомления с редакционным портфелем отделов поэзии и критики и после более детального рассмотрения книг прозы, если надо будет, мы можем дать уточненные рекомендации от имени СП БССР.

С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями
И. Шамякин,
член правления издательства
«Советский писатель».

Письмо адресовано литературному деятелю, критику и публицисту, в то время главному редактору издательства «Советский писатель» Николаю Васильевичу Лесючевскому (1908—1978).

А. О. Тамм... — Тамм Арнольд Освальдович (род. 1927) — эстонский писатель, переводчик, главный редактор издательства «Советский писатель».

...Т. Я. Горбачева... — Горбачева Татьяна Яковлевна — русская переводчица.

Повесть И. Пташникова «Найдорф»... — Пташников Иван Николаевич (1932—2016) — белорусский писатель. Лауреат Государственной премии БССР (1978). Повесть «Найдорф» в переводе В. Щедриной вышла в Москве в 1977 году.

Роман в новеллах Б. Саченко «Чужое небо». — Саченко Борис Иванович (1936—1995) — белорусский прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии БССР (1982). Роман в новеллах «Чужое небо» в переводе А. Чесноковой вышел в Москве в 1977 году.

Книга Янки Сипакова «Крыло тишины». — Сипаков Янка (Иван Данилович; 1936—2011) — белорусский писатель. Лауреат Государственной премии БССР (1976). Книга «Крыло тишины» вышла в Москве только в 1984 году, в 1977 году в Москве вышла книга Янки Сипакова «Доверчивая земля».

...журнала «Дружба народов». — «Дружба народов» — ежемесячный советский литературный журнал, основанный в Москве в марте 1939 года и продолжающий существовать в России после распада СССР как частное издание.

...роман «Иду в жизнь» — Р. Соболенко... — Соболенко Роман Карпович (1907—1975) — белорусский прозаик, поэт, публицист. Книга «Иду в жизнь» в переводе М. Горбачева вышла в Москве только в 1981 году.

...книги избранных повестей А. Божко и Е. Василевич. — Божко Алесь (Александр Тимофеевич; 1918—2013) — белорусский поэт, прозаик, публицист. Библиографические справочники не дают сведений о выходе книги А. Божко в 1977—1978 гг. Василевич Алена (Елена Семеновна; род. 1922) — белорусская писательница. Лауреат Государственной премии БССР (1976). В 1977 году в Москве вышла книга ее рассказов «Одно мгновение».

...рукопись — Э. Ярошевича... — Ярошевич Эдуард Сигизмундович (1937—1986) — белорусский прозаик. В 1978 году в Москве вышла его книга повестей «Свет имени твоего».

С плана редподготовки в план выпуска — книги П. Мисько, И. Громовича, М. Машары, Л. Прокши. — Мисько Павел Андреевич (1931—2011) — белорусский прозаик. В 1977 году в Москве вышла книга его рассказов и повестей «Полесская сказка». Громович Иван Иванович (1918—1986) — белорусский прозаик. В 1977 году в Москве вышла книга его рассказов и повестей «Семья Вишневых». Машара Михась (Михаил Антонович; 1902—1976) — белорусский поэт, прозаик, драматург, переводчик. В 1977 году в Москве вышел его роман «Шел двадцатый год». Прокша Леонид Януарович (1912—1994) — белорусский писатель, журналист. В 1978 году в Москве вышла его документальная повесть «За Добрицей-рекой».

...моя книга повестей... — имеется в виду книга «Торговка и поэт: Повести», которая в переводе Т. Шамякиной и М. Горбачева, вышла в Москве в 1977 году.

6
Т. Кулаковская — И. Шамякину
Февраль 1979 г., Минск

Глубокоуважаемый Иван Петрович!

Я решилась послать Вам свою книгу, сознавая, что она не может доставить Вам даже самой малой доли того большого интереса, какой Вы доставляете своими произведениями.

Но поскольку мой труд связан с землей, а она интересует всех, то я рассуждаю: а вдруг понадобится какая-то справка? А вдруг Вас заинтересуют закономерности формирования урожая?

Я посылаю Вам свою книгу вместе с благодарностью за предоставленную мне возможность принять своих гостей в Вашем доме.

Большое спасибо и всему обслуживающему персоналу.

С глубоким уважением
директор НИИ почвоведения и агрохимии
академик ВАСХНИЛ
Т. Кулаковская

Письмо написано советским ученым в области почвоведения и агрохимии, академиком ВАСХНИЛ (1975), членом-корреспондентом АН БССР, Героем Социалистического Труда (1979), лауреатом Государственной премии БССР (1976), директором Белорусского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии (с 1969 г.) Тамарой Никандровной Кулаковской (1919—1986).

Я решилась послать Вам свою книгу... — Т. Кулаковская. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев. — Минск: Урожай, 1978.

7
И. Шамякин — А. О. Тамму
24 июля 1984 г., Минск

Дорогой Арнольд Освальдович!

Где ты грелся? Где купался? Если в Прибалтике, то вряд ли погрелся. Холодный был июнь.

Был я в конце июня в Москве на комиссии Верховного Совета. Звонил тебе, ответили — греется. И Владимира Николаевича не было. А без вас с кем поговорить по душам — и о делах, и о погоде, и здоровье?

Я оторвался несколько от дел издательских, не с прежним интересом и энергией участвую в формировании планов. Это грызет мою совесть. Но поработать в качестве члена правления еще хочется. Когда исчезнет это желание — попрошу отставку. План 1986 года ты уже, конечно, верстаешь? А пятилетний план у нас делается? Для такого перспективного плана я мог бы дать кое-какие соображения.

А теперь конкретная просьба. С ней ко мне обратилась вдова Вл. Карпова. К 75-летию покойного мужа она просит переиздать его роман «Немиги кровавые берега». Подумай, пожалуйста, о таком переиздании. Я буду активно поддерживать. Надо сейчас писать Вл. Н. Еременко или можно это сделать позже, когда будет формироваться план 1987? Мария Михайловна Карпова свою заявку послала. Она, конечно, на твоем заваленном рукописями столе. Пусть это будет первый белорусский кирпич в фундамент пятилетнего плана. Давать оценку роману не стоит — он издавался в «СП» дважды.

Я позвоню тебе.

Живу на даче. Прошлую неделю ездил по Гомельщине, встречался со своими избирателями. Интересно, но трудно: по два-три выступления в день и очень обильные ужины, что мне особенно тяжело после операции.

Мой дачный телефон: 99-82-07.

Привет и самые добрые пожелания Владимиру Николаевичу.
Всего доброго тебе.
И. Шамякин

Письмо адресовано А. О. Тамму. См. комментарий к письму № 5.

...Владимира Николаевича... — Еременко Владимир Николаевич (1928—?) — русский прозаик и журналист. Председатель правления издательства «Советский писатель» (1978—1988).

...вдова Вл. Карпова. — Карпова Мария Михайловна (1914—2008) — жена белорусского писателя Карпова Владимира Борисовича (1912—1977).

К 75-летию покойного мужа она просит переиздать его роман «Немиги кровавые берега». — На сегодняшний день выяснить вопрос о переиздании романа не удалось.

...он переиздавался в «СП» дважды. — Переиздавался в издательстве «Советский писатель» в 1963 и в 1978 годах.

8
З. Яхонтова — И. Шамякину
18 ноября 1980 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

Знаем, как Вы заняты, и, тем не менее, убедительно просим Вас, как Вы нам и обещали, написать небольшое предисловие к книге Алексея Дударева. Книга под названием «Святая птица» выходит у нас в серии «Молодые голоса». Рукопись уже прочитана в корректорской, мы задержали ее в редакции и будем со дня на день ждать Вашу статью.

Не судите автора за некоторую необязательность: Дударев не получил нашего письма, дозвониться до него мы не смогли, и поэтому он не представил в обговоренный с Вами срок.

Огромное спасибо за помощь в работе. Всего Вам доброго.

С уважением
зав. редакцией
совр. сов. прозы З. Яхонтова

Письмо написано на бланке издательства «Молодая гвардия» заведующей редакцией современной прозы в издательстве «Молодая гвардия» Зоей Николаевной Яхонтовой (род. 1923).

...небольшое предисловие к книге Алексея Дударева. — В 1981 году в московском издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник рассказов А. Дударева «Святая птица» с предисловием И. Шамякина «В добрый путь». Дударев Алексей Ануфриевич (род. 1950) — белорусский драматург. Лауреат Государственной премии СССР (1985).

9
М. Хонинов — И. Шамякину
7 марта 1980 г., Элиста

Дорогой Иван Петрович, здравствуй!

Полностью прочитал «Атланты и кариатиды» и «Снежные зимы». От души говорю, без всякой лести, тот и другой романы очень обрадовали меня. Честное слово, после чтения таких романов становишься совсем свежим человеком, будто встретил самое доброе утро, дышишь очень свободно и благодаришь автора за отличное раскрытие идей, за которые борются его герои. Я читал все твои книги, и они всегда меня радовали.

Что касается романа «Снежные зимы», я представил себя в роли Ивана Антонюка. Да, именно такие люди, как Иван Антонюк, честно и мужественно отстаивали Родину от фашистских захватчиков. В лице Антонюка я увидел бесстрашный белорусский народ не только как героя, но и как всезнающего, умного труженика.

Легко запоминаются образы и старых, и молодых героев; по природе они все разные и неповторимые, одним словом, никого ни с кем не спутаешь.

Например, Валентин Будыка — не будь около него Ивана Васильевича, он бы столько дров мог наломать в жизни нашего общества. Хороши и женские персонажи. Крупными поучительными образами являются мать и дочь, Надежда и Вита. Очень драматично, психологически описаны судьбы этих героев. Читая роман, я очень переживал за Ивана, Надю, Виту. Мне было жаль и гибели братьев Казюр, Володи и Пети.

Прочитав последнюю страницу «Снежных зим», я очень долго сидел без движения, раздумывая о прочитанном.

Я не мог не прижать твою книгу к сердцу и пожелать: «Дай Бог тебе, Иван Петрович, здоровья, счастья, чтоб ты каждый раз радовал бы своих многочисленных читателей новыми большими творениями!»

Иван Петрович, какая светлая у тебя душа! Я считаю, именно от такой щедрой, светлой, доброй души рождаются чистые произведения, как из благодатного родника чистая вода.

Твори на радость людям, дорогой мой, любимый друг Ваня Шамякин!

В знак нашей большой дружбы и благодарности за радость, которую я испытал, читая твои романы «Атланты и кариатиды» и «Снежные зимы», высылаю свои книжки. Пожалуйста, прими их. Постарайся почитать «Как я был конокрадом» — одну из новых глав «Миша Черный — это я!» (стр. 36).

Обнимаю.
Твой калмыцкий друг
Миша Хонинов

Письмо написано калмыцким советским поэтом, прозаиком, драматургом, переводчиком, общественным деятелем, участником Великой Отечественной войны, участником партизанского движения в Белоруссии Михаилом Ванькаевичем Хониновым (1919—1981).

...высылаю свои книжки. — Хонинов М. Помнишь, земля Смоленская...: роман. — Москва, 1977; Хонинов М. Как я был конокрадом: стихи, рассказ. — Москва, 1979.

10
Франц Пухович — И. Шамякину
Первая половина 1980 г., Орел

Дорогой Иван Петрович!

Мы находимся в настоящее время на гастролях в гор. Орле. Рад Вам сообщить, что когда мы начинаем гастроли Вашей пьесой, нам сопутствует успех. Так и на этот раз.

Сейчас я выпускаю спектакль по пьесе Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся» и сразу буду работать над спектаклем «Золотая медаль», который должен выйти согласно репертуарному плану к Новому году. У меня хорошая молодежь, играть есть кому, пьеса распределяется хорошо. Хочу заверить Вас, что весь наш коллектив ждет встречи с Вами в новом здании театра.

После окончания гастролей с Вашего разрешения я навещу Вас для уточнения некоторых вопросов, касающихся пьесы.

Низкий поклон Марии Филатовне.
С уважением Франц Пухович

Письмо написано главным режиссером (1976—1982) Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск) Францем Пуховичем.

...гастроли Вашей пьесой... — спектакль по пьесе И. Шамякина «И смолкли птицы».

...по пьесе Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся»... — Гельман Александр (Шуня) Исаакович (род. 1933) — советский и российский драматург, сценарист, публицист, общественный и политический деятель. «Мы, нижеподписавшиеся» — пьеса написана в 1978 г., поставлена на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В .И. Дунина-Марцинкевича в 1980 г.

...над спектаклем «Золотая медаль»... — пьеса поставлена в 1980 г.

...в новом здании театра. — В 1978 г. труппа театра переехала в обновленное здание театра.

...Марии Филатовне. — Шамякина Мария Филатовна (1921—1998), жена И. Шамякина.

11
И. Шамякин — П. Лабусу
Первая половина 1980-х гг., Минск

Прокурору
Гомельской области
т. Лабусу П. З.

Ко мне обратился член Союза писателей Стрельцов Михаил Леонтьевич.

По заявлению бывшей жены, с которой он был разведен в мае 1981 года, в августе прошлого года он был направлен на принудительное лечение в Мозырь в ЛТП-2.

Да, Стрельцов грешен — попивал. Но, зная его жену, я поверил ему, что женщине этой нужна была квартира, выданная ему Союзом писателей.

За кого иного я не стал бы ходатайствовать. Но как один из руководителей Союза писателей Белоруссии, я принимал Михася Стрельцова в Союз и внимательно следил за его творчеством. Это очень талантливый человек — поэт, прозаик, эссеист. Его произведения всегда были предметом серьезных исследований.

Не очень уверен, что длительное пребывание под конвоем окажет благотворное влияние на его творческие возможности.

Прошу Вас положительно решить вопрос о досрочном освобождении Стрельцова М. Л. из ЛТП.

Председатель Верховного Совета БССР
Народный писатель Белоруссии И. Шамякин

Письмо адресовано прокурору Гомельской области Лабусу П. З. Письмо связано с непростым периодом в жизни М. Л. Стрельцова.

Стрельцов Михась (Михаил Леонтьевич; 1937—1987) — белорусский советский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат Государственной премии БССР (1986).

12
М. Козьмин — И. Шамякину
14 мая 1980 г., Москва

Глубокоуважаемый Иван Петрович!

Декабрьский номер журнала «Вопросы литературы» текущего года редакция посвящает проблемам современной критики. Наряду с теоретическими статьями о задачах, методологии, мастерстве современной критики, материалами международного «круглого стола», в котором принимают участие специалисты из братских социалистических стран, в этом номере будут опубликованы выступления видных писателей мира.

Нам было бы очень приятно видеть Вас среди авторов этого номера.

Предлагаемая анкета состоит из следующих вопросов:

а) Читаете ли Вы критику? Какое из литературно-критических выступлений последних лет (книга, статья, рецензия, полемические заметки) запомнилось Вам более всего и почему?

б) Какова, на Ваш взгляд, мера участия литературной критики в современном литературном развитии? Каковы пути повышения общественно-литературного авторитета критики?

в) Как складываются Ваши собственные отношения с критикой? Помогает ли она Вашей творческой работе? Выступаете ли Вы сами как критик?

Разумеется, Вы можете построить свое выступление в любой форме — и как ответ на поставленные вопросы, и как размышление над теми аспектами обсуждаемой проблемы, которые представляются наиболее близкими Вашему писательскому опыту.

Было бы желательно получить Ваше выступление (его предположительный объем 2—4 машинописные страницы) к 5 июля с. г.

Заранее благодарим Вас за участие в работе журнала.

С уважением
главный редактор М. Козьмин

Письмо написано главным редактором (1979—1988 гг.) журнала «Вопросы литературы» М. Б. Козьминым. Напечатано на бланке журнала «Вопросы литературы».

«Вопросы литературы» — советский и российский научный журнал по истории и теории литературы. Издается в Москве с 1957 г.

13
В. Кожевников — И. Шамякину
25 мая 1976 г., Москва

Уважаемый Иван Петрович!

Как сообщил мне заведующий отделом прозы нашего журнала Смоляницкий, разговаривавший с Вами в дни съезда писателей Белоруссии, Вы работаете над новой вещью. Меня порадовало Ваше обещание дать нам ее, когда она будет закончена.

Мы бы очень хотели видеть Вас автором журнала «Знамя» и надеемся, что наше творческое содружество состоится.

Желаю успеха.
Главный редактор журнала
«Знамя» В. Кожевников

Письмо написано советским писателем и журналистом, лауреатом Государственной премии СССР (1971), Героем Социалистического Труда (1974), главным редактором (1949—1984) журнала «Знамя» Вадимом Михайловичем Кожевниковым (1909—1984). Напечатано на бланке журнала «Знамя».

Смоляницкий — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день выявить не удалось.

...в дни съезда писателей Белоруссии... — 11—12 мая 1976 года проходил 7-й съезд писателей Белоруссии.

...Вы работаете над новой вещью. — Скорее всего, речь идет о романе «Возьму твою боль».

«Знамя» — российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Издается в Москве с 1931 г.

14
Симеон Владимиров — И. Шамякину
11 марта 1979 г., София

Уважаемый тов. Шамякин,

Вы, наверное, уже знаете от Ионки Кунчевой, которая была в Минске, что я перевожу для них Вашу пьесу. Ее хотят поставить в театре города Благоевград. Я им предлагал пьесу еще в прошлом году, но у них не было русского перевода, чтобы прочесть. Теперь у меня к Вам просьба послать мне пьесу в книжном варианте, потому что у меня есть только журнальный вариант. До конца апреля я закончу перевод, но хочу проверить все по книге.

Кроме того, у меня еще просьба. До конца ноября я должен сдать перевод «Атлантов», но у меня нет белорусского оригинала. Впрочем, есть, но книга принадлежит Георгию Вылчеву, она с иллюстрациями, и я не могу по чужой книге работать, потому что у меня такая манера работы, что я делаю на самой книге все свои заметки. Так я не упускаю ритм повествования и т. д.

Желаю Вам всего хорошего.
Ваш Симеон Владимиров
1229-София,
Кв. Свобода, бл. 35, вх. Г, ап. 68

Письмо написано болгарским журналистом, издателем, переводчиком, литературоведом Симеоном Владимировым (1925—2008).

Ионка Кунчева — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день выявить не удалось.

...я перевожу для них Вашу пьесу. — Речь может идти о пьесе «И смолкли птицы». Но на сегодняшний день сведений о том, была ли пьеса переведена на болгарский язык, выявить не удалось.

Благоевград — город в юго-западной Болгарии.

...я должен сдать перевод Атлантов... — на болгарском языке роман И. Шамякина «Атланты и кариатиды» вышел в 1980 году.

...Георгию Вылчеву... — Вылчев Георгий Димитров (род. 1926) — болгарский критик, литературовед, переводчик.

15
Симеон Владимиров — И. Шамякину
12 ноября 1979 г., София

Дорогой Иван Петрович,
так случилось, что я долго не успел собраться, чтобы написать Вам письмо и поблагодарить Вас за наши хорошие дни в Белоруссии. Теперь уже могу заниматься только переводом Вашего романа и сдать его в издательство в конце года. Вместе с тем я работаю над антологией белорусского рассказа о селе. Мне кажется, что антология получается хорошая.

Очень прошу Вас послать мне несколько Ваших вещей: первые пять томов Ваших собранных сочинений, пьесу «Залаты медаль» и театральный вариант «Атлантов и кариатид».

Если Вас это не затрудняет, напомните Макаенку, что он мне обещал послать свои новые комедии. Я успел об этом похвастаться театралам, а они, как Вам известно, народ любопытный. Думаю, что белорусская драматургия может завоевать хорошее место на болгарской сцене.

Привет Марии Филатовне от Желы и от меня.
Надеемся, что снова встретимся.
Ваш Симеон Владимиров

Письмо написано Симеоном Владимировым. См. комментарий к письму № 14.

...заниматься только переводом Вашего романа... — романа «Атланты и кариатиды». См. также письмо № 14 и комментарий к нему.

...первые пять томов Ваших собранных сочинений... — имеются в виду пять томов из Собрания сочинений в шести томах (1977—1979).

...пьесу «Залаты медаль»... — см. комментарий к письмам № 3, 10.

...театральный вариант «Атлантов и кариатид». — Театральный вариант романа «Атланты и кариатиды» был сделан режиссером П. Л. Монастырским.

...Макаенку... — Макаенок Андрей Егорович (1920—1982) — белорусский драматург, общественный деятель. Народный писатель БССР (1977). Лауреат Государственной премии БССР (1974).

...Марии Филатовне... — см. комментарий к письму № 10.

...Желы... — Жела — жена Симеона Владимирова.

16
В. Тельпугов — И. Шамякину
30 сентября 1979 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

Спасибо сердечное за подаренную книгу! Поздравляю Вас с выходом таким большим тиражом к всесоюзному читателю. Даже писателям Вашего «ранга» не часто выпадает такое.

Еще и еще раз поздравляю. Еще и еще раз благодарю своего земляка и глубоко симпатичного мне писателя и человека.

В ближайшие же дни снесу книгу в «Литературную газету» и попрошу, чтоб организовали хорошую статью. Не отстал я с этим делом? В какой-то мере отстал, наверно. Рецензии, очевидно, были и на роман, и на повесть. Тогда пускай дают обобщающую статью, тем более, что они в одной книге и при всей их «разнотемности» их многое связывает.

Жму Вашу руку!
Ваш В. Тельпугов

Письмо написано русским советским писателем, литературным критиком Виктором Петровичем Тельпуговым (1917—1999).

...за подаренную книгу! — Речь может идти о романе «Сердце на ладони», который вышел в Москве в 1979 году. В книгу вошли роман «Сердце на ладони» и повесть «Торговка и поэт».

...в «Литературную газету»... — «Литературная газета» — советское и российское еженедельное литературное и общественно-политическое издание. Издается с 1929 года в Москве.

17
Г. Кулинич — И. Шамякину
12 мая 1979 г., Киев

Дорогой Иван Петрович!

Большое Вам спасибо за поздравление с Первомаем и Днем Победы. Мне Вашу открытку привезла жена в больницу. Здесь я, очевидно, еще буду лечиться дней десять, а потом выпишусь и на работу.

В отношении Вашей просьбы, то у меня есть такие соображения. Я, конечно, за то, чтобы Вы написали нашему Председателю Госкомиздата, но мало верю, что это продвинет дело. Поэтому, мне кажется, надо сейчас добиваться, чтобы как можно скорее напечатали повести в «Молоди», издательстве ЦК ЛКСМУ.

Я вчера говорил с директором этого издательства, советовался с ним, и он сказал, что выпуск повестей в их издательстве могло бы ускорить Ваше письмо на имя Первого секретаря ЦК ЛКСМ Украины — Анатолия Ивановича Корниенко.

Я Вам советую — напишите, пожалуйста, письмо Анатолию Ивановичу с просьбой напечатать Ваши повести, посвященные борьбе комсомольцев-подпольщиков в годы Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков. Здесь можно упомянуть, что близятся юбилеи комсомола Украины и Белоруссии. 35-летие Победы над фашизмом. Желательно, чтобы он из письма понял, что Вы не только народный писатель Белоруссии, но и большой государственный деятель. Скажите, что по сценарию повести «Гендлярка и поет» создан кинофильм, пользующийся большим успехом зрителей. Эти повести в переводе на украинский язык лежат у них в издательстве уже два года.

Что касается Пащенко Андрея Яковлевича, нашего Председателя, то и ему можно написать, но немного позже. Потому что две книги в одно время печатать не будут. Я, правда, знаю, что у Вас с ним был когда-то разговор. Можно, конечно, ему об этом напомнить. Словом, надо стучать! Письма, по-моему, написать лично и тому, и другому.

Мои дела идут своим чередом. Пока работаю. В феврале мне *скромно* отметили 60-летие. Наградили за мой тридцатилетний издательский и творческий труд Грамотой Комитета по печати. Негусто!

Поэтому я всегда с большой радостью и глубокой благодарностью вспоминаю всегда родных мне и близких братьев-белорусов, так высоко оценивших мою творческую работу. Спасибо Вам большое и низкий мой поклон!

По-братски Вас обнимаю, желаю Вам крепкого здоровья, большого счастья, успехов! Самый сердечный мой привет Марии Филатовне!

Ваш Григорий Кулинич

P. S. Адреса Корниенко и Пащенко прилагаю.
252018
Киев 18
Площадь Калинина 1
ЦК ЛКСМ Украины

Корниенко Анатолию Ивановичу
(лично)
Первому секретарю
ЦК ЛКСМ Украины
товарищу Корниенко А.И.

252003
Киев 3
ул. Свердлова, 2
Госкомиздат Украины

Пащенко Андрею Яковлевичу
(лично)
Председателю Госкомиздата УССР
товарищу Пащенко А. Я.

Письмо написано украинским критиком, переводчиком Григорием Григорьевичем Кулиничем (1918—?).

...повести в «Молоди»... — На украинском языке в 1981 году вышла книга И. Шамякина «Гендлярка и поет; Шлюбна ніч: Повісті». «Молодь» — издательство ЦК ЛКСМ Украины, Киев. Создано в 1921—1922 гг. на базе издательского отдела ЦК ЛКСМ Украины. Выпускало массово-политическую, художественную и переводную литературу на украинском языке. Закрылось после распада СССР и провозглашения независимости Украины.

Корниенко Анатолий Иванович (род. 1938) — украинский советский партийный и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Украины (1975—1983).

...по сценарию повести «Гендлярка и поет» создан кинофильм... — см. комментарий к письму № 3.

Пащенко Андрей Яковлевич — на сегодняшний день иных сведений, кроме тех, что есть в письме, выяснить не удалось.

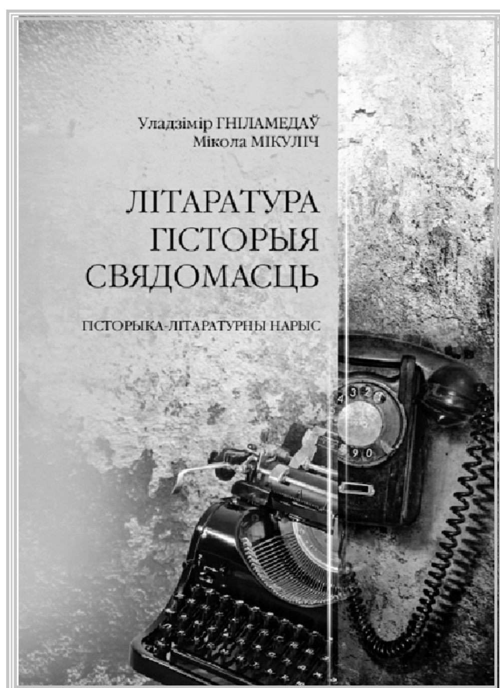
...Марии Филатовне! — см. комментарий к письму № 10.

Предисловие, подготовка текстов и комментарий
Олеси ШАМЯКИНОЙ



С точки зрения рецензента

Уникальная книга о белорусах



Вышедшая в конце 2017 года в издательстве Национальной академии наук Беларуси книга Владимира Гниломедова и Миколы Микулича «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць: гісторыка-літаратурны нарыс» (Мінск: Беларуская навука, 2017) уже неоднократно попадала в поле зрения рецензентов, получила высокую оценку известных и авторитетных специалистов, критиков и литературоведов. О ней писали Анжела Мельникова, Татьяна Подоляк, Ольга Русилко, Людмила Иконникова и другие. Исследование не осталось незамеченным и в среде писателей, историков, этнологов, культурологов, лингвистов и всех тех, кто интересуется судьбой белорусской культуры, языка, литературы, историей Отечества и современной ситуацией в нашем белорусском доме. И это совсем не удивительно, ведь таких концептуальных, масштабных, новаторских научных работ, где бы так глубоко и основательно изучались национальный мир, духовная самобытность белорусов, отраженные в словесном творчестве, в художественных поисках писателей, пожалуй, еще не было в белорусской гуманитаристике.

В заглавии книги подчеркнуты три главные силовые линии исследования — литература, история, сознание. Действительно, научный очерк В. Гниломедова и М. Микулича рисует литературный пейзаж Беларуси, начиная с древности и до наших дней. И одновременно освещает ее историю: политическую, социальную, культурную обстановку на исконных белорусских землях, обстановку, в которой происходило зарождение и развитие национального сознания нашего народа.

В аннотации издания справедливо указано, что в работе «по-новому, в современной «оптике» освещаются многочисленные явления и события далекого и близкого прошлого». Говоря об актуальности и важности поднятых в книге проблем, ученые отмечают, что вопросами национального сознания, белорусской идентичности ранее занимались мало еще и потому, что ученые опасались упреков в национализме.

Авторы решительно оспаривают и опровергают мнение многих на Западе и на Востоке о том, что Беларусь — нация без своей истории, что белорусов

как отдельного народа не существовало и не существует, что они — часть русского народа еще со времен Киевской Руси, замечая, что многочисленные важные документы белорусской истории вывезены из Беларуси и находятся в государственных и частных архивах и хранилищах России, Польши и других государств. Разговор в книге «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць» ведется по-научному основательно, объективно, аргументированно, с полным пониманием того, что «о национальном сознании нужно говорить по возможности более конкретно, предметно» (с. 6).

Имена авторов данного историко-литературного очерка хорошо известны белорусскому и русскому читателям. Оба — литературоведы, литературные критики. Владимир Васильевич Гниломедов — доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси. Автор тридцати монографий и книжных изданий, талантливый писатель, перу которого принадлежат девять толстых исторических романов о жизни в Западной Беларуси — «Уліс з Прускі» (2006), «Расія» (2007), «Вяртанне» (2008), «Вайна» (2014) и другие. Он — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Николай Владимирович Микулич — кандидат филологических наук, доцент, заведующий отделом взаимосвязей литератур Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, автор пятнадцати книг и брошюр, множества научных статей, на сегодня главный исследователь литературы Западной Беларуси. Оба — члены Союза писателей Беларуси, лауреаты премий Союза писателей Беларуси и Национальной академии наук Беларуси.

Композиция рецензируемой работы является глубоко продуманной: после небольшого, но емкого и содержательного введения, посвященного постановке проблемы, следует глава «Этнический уровень», где авторы утверждают, что «начало этногенеза белорусов восходит к седой древности, когда их предки балты жили отдельными племенами долгое время — в эпохи «каменного» и «железного» веков» (с. 11). Соглашаясь с известным русским антропологом Л. Гумилевым в том, что природа во многом руководит этническими процессами, формирует мировосприятие человека, тип поведения, отношение к другим людям, авторы исследования обращаются в следующей главе «Природа. Ландшафт. Климат» к рассмотрению природных условий формирования белорусского этноса.

Даже простой перечень названий глав книги красноречиво свидетельствует о богатстве и многообразии ее содержания. Приведем некоторые из них: «Этнический уровень», «Природа. Ландшафт. Климат», «Язычество. Язык», «История. Государственность. Христианство», «Типы и характеры», «Великое Княжество Литовское», «О характере Средневековья», «Ренессанс», «Реформация. Контрреформация», «Люблинская уния и ее последствия», «Барокко», «Упадок», «Под гнетом обстоятельств. XIX ст.», «В начале XX ст.», «Строительство нового мира (1920—1930-е годы)», «В Западной Беларуси (1921—1939)», «Великая Отечественная», «Послевоенный период», «Новые горизонты», «Вчера, сегодня и завтра». Авторы осмысливают пути развития белорусской литературы XI—XXI стст. в тесной связи с драматическими, а нередко и трагическими судьбами народа, полосами национальных упадков и возрождений, с общественно-социальными процессами, развитием белорусской государственности. Каждый из проблемных вопросов, рассматриваемых в отдельных главах, вполне мог бы стать самостоятельной темой изучения.

Как известно, в истории белорусского народа еще много белых пятен, есть еще целый ряд проблем и вопросов, в которых предстоит тщательно разобраться. В. Гниломедов и М. Микулич в своей работе говорят о неоднозначности мнений ученых по тому или иному вопросу, высказывая свою взвешенную позицию. При всей объективности работы в очерке хорошо

улавливаются искренние патриотические чувства исследователей, когда речь идет о расцвете белорусской нации, ее культуры и литературы в Великом Княжестве Литовском, где, как известно, белорусский язык выполнял общегосударственные функции. И улавливается боль за нацию, за утрату ею государственной независимости и попрание прав граждан, когда читаем о Люблинской унии Великого Княжества Литовского с Польшей (1569) и в еще большей степени после заключения Брестской унии (1596). Люблинская уния, отмечают авторы исследования, «открывала перспективу полонизации белорусской территории, ликвидации белорусской народности, уничтожения ее культуры. Люблинская уния стала началом процесса «обезнационаливания» (выражение А. Яскевича) белорусского народа» (с. 85).

Середину XII столетия авторы книги считают наступлением кризиса идентичности белорусского народа, который растянулся на столетия. «В XVI—XVIII стст. белорусские и украинские земли входили в состав Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, — замечают В. Гниломедов и М. Микулич. — Однако… «Растоптаны были, — как образно писал В. Короткевич, — язык, вера, достоинство». Это было уже глубоко травмированное народное сознание. Былая готовность постоять за себя уступала место слабоволию, безразличию, покорности судьбе. У белорусов, как у какого-то колониального народа, воспитывался комплекс неполноценности. Белорусский край с того времени попадает в категорию отсталых. Белорусское послушание, подчинение власти можно было бы назвать белорусской *живиальностью*. Живиальность в переводе с французского языка — выживание» (с. 109).

Очень тонкое и верное наблюдение!

Особая ценность историко-литературного очерка В. Гниломедова и М. Микулича в том, что авторы предлагают свои исторические концепции, свое понимание национальной истории, дают глубокое осмысление далекого прошлого с позиций новейших открытий современности, демонстрируя хорошую осведомленность в области исторических исследований. Читатель книги, бесспорно, расширит и углубит свои знания в области отечественной истории и культуры, белорусской духовности, почерпнув много нового и интересного для себя, а может, даже получит ответы на многие важные вопросы. Например, о верованиях наших предков — язычестве, которое сменилось христианством. В исследовании, между прочим, подчеркивается, что на Беларусь христианство пришло «на сто лет раньше, чем в Киев, и пришло из Великоморавского государства, где проповедовали Кирилл и Мефодий. Крестили Беларусь их ученики» (с. 31). О возникновении на землях современной Беларуси государственности (X—XI стст.), государственных образований (Полоцкое, Туровское, Смоленское, Новгородское княжества), развитии культуры, литературы, о зарождении книжного дела, просветительской деятельности великих святых — преподобной Евфросинии Полоцкой (1110—1173), писательницы, составительницы летописи, переписчицы книг, святителя Кирилла Туровского (1130—1182), монаха, столпника, прозванного славянским «Златоустом», оставившим большое творческое наследие. Как отмечает исследователь его творческой деятельности, автор книги «Кірыл, епіскап Тураўскі» (Мн., 2000) А. Мельников, «до нашего времени сохранилось очень много литературных произведений самого святителя, можно сказать, уникально много для автора XII ст.» (с. 81), о деятельности проповедника христианства преподобного Аврамия Смоленского…

Вопросы веры, как справедливо отмечают авторы книги, были определяющими в жизни белорусов. Точно подмечено одним из героев современного белорусского писателя Алеся Наварича в романе «Літоўскі воўк» (о Кастусе Калиновском) следующее: «Много будут говорить о религиозной толерантности в нашем крае, а если посмотреть историю — то она прони-

зана религиозной борьбой. Здесь Запад скрестил мечи с Востоком. Христианство внутри себя воевало» (с. 136).

Последним белорусским писателем в древнебелорусской литературе авторы историко-литературного очерка называют Афанасия Филиповича, прославленного в сонме святых Земли Белорусской как преподобномученик Афанасий, игумен Брестский (+1648), написавший замечательное произведение — «Диариуш» («Дневник»), в котором направил гневные стрелы против унии, раскрыв ее предательскую сущность, показав борьбу православного народа против римско-католической агрессии. Возрождение нации святой Афанасий видел только в утверждении ее в православной вере. Интересно, что в главе «Вчера, сегодня и завтра» авторы очерка, характеризуя личность Василя Быкова, вспомнят замученного за веру, но не сдавшегося преподобномученика Афанасия: «В характере самого В. Быкова наиболее отразился упорный характер Афанасия Филиповича — писателя XVII ст. со свойственной ему непоколебимой твердостью веры и убеждений, неуступчивостью, суровостью, волевыми качествами и неподкупностью» (с. 338).

Авторы книги привлекают в свои рассуждения о том или ином писателе, важной исторической личности наряду с историческими документами и анализ художественных произведений о нем. Так, разбирая творчество Францишка Богушевича (1840—1900), неординарная фигура которого возвышается «на общественном и литературном фоне Беларуси второй половины XIX в., как величественная башня национального духа» (с. 138), В. Гниломедов и М. Микулич не обходят вниманием и интересную повесть о нем Василя Хомченко «Пры апазнанні — затрымаць» (1984). Получается удивительное явление: фактографическая правда документа, правда ученого-литературоведа и правда внутренняя, душевно-психологическая, обнаруженная воображением писателя о том или ином художнике слова видной исторической личности, сливаются в единое целое, делая повествование книги «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць» широкоформатным, стереоскопическим, объемным, убедительным.

Подобное происходит и при рассмотрении авторами очерка личности Кастуся Калиновского, мечтавшего возродить белорусскую государственность — Великое Княжество Литовское, которое бы находилось в федеративной связи с Польшей. «Белорусы оставались многоконфессиональным народом, — подчеркивают они. — Многоконфессиональность снижала уровень национального сознания, разрушала его изнутри. Это понимал К. Калиновский, который считал справедливым вернуть белорусскому народу униатство — его национальное вероисповедание. Сам «Яська — гаспадар з-пад Вільні» был униатом, в чем признавался в шестом номере «Мужыцкай праўды». К православию относился отрицательно, даже воинственно отрицательно» (с. 144). Здесь же исследователи рассматривают и художественные произведения о Калиновском белорусских авторов — поэму Аркадия Кулешова «Хамуціус» и роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім».

В диалоге по глобальному «белорусскому вопросу» участвуют не только писатели, литературоведы, но и историки, философы, психологи, лингвисты, видные деятели разных стран. Авторы книги подключают к собственным размышлениям о национальной истории, языке, литературе отрывки из публицистических высказываний, из статей и писем, стихотворные строки национальных писателей, печальников о земле белорусской.

Рассмотрение творчества того или иного белорусского писателя в книге, как правило, не является развернутым, широким, но исследователи обнаруживают редкий талант находить емкие, максимально насыщенные слова, чтобы показать главные черты его стиля, особенности творческого облика, мировосприятия. Казалось бы, что нового можно сказать сегодня о творчестве белорусского классика Янки Купалы,

которому посвящено множество монографий, научных диссертаций, статей? Но В. Гниломедов и М. Микулич смогли и здесь, на немногих страницах, представить нам нового Купалу, малоизвестного даже специалисту-литературоведу, назвав его «феноменальным явлением белорусской литературы и белорусской истории вообще» (с. 156), пророком, «великим защитником», духовником нации. Нельзя не заметить оригинальность взгляда авторов на творческое наследие Купалы, например, на самое известное в мире белорусское — купаловское стихотворение «А хто там ідзе?», переведенное на множество языков. «В связи с этим произведением Купалы, — пишут они, — вспоминается… Библия. Тогдашняя духовная ситуация, которую Купала видел в окружающей повседневности и которая отразилась в «Жалейке», напоминала ему ту, в которой находился древнееврейский народ, когда оказался в египетском плену, утратив свободу и самостоятельность. Евреи неоднократно называются в Библии «народом жестоковыйным», т. е. упрямым, непоколебимым. Поэт использует панорамную картину библейского «Исхода» для понимания и поддержки духовного возрождения своего народа» (с. 159).

Тонкие наблюдения делают авторы книги и в рассуждениях о многих произведениях Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Горецкого, Змитрока Бядули, Тишки Гартного, Михася Чарота, Владимира Дубовки, Михася Зарецкого, Кузьмы Чорного, также стоявших на страже интересов белорусской нации, дороживших родным языком.

Октябрьская революция 1917 г., как показано в научном очерке В. Гниломедова и М. Микулича, дала мощный толчок становлению белорусской национальной идеи и ее государственному воплощению. «В начале XX ст., — подчеркивают авторы, — Беларусь оставалась отсталой провинцией необъятной Российской империи, но произошло чудо: начался бурный рост национального сознания, что дало толчок интенсивному развитию культуры и литературы во всех их областях, родах и жанрах. Первые десятилетия XX ст. они называют настоящим ренессансом. Не только в Советской Белоруссии, но и в Западной, в первые десятилетия XX ст. национальная художественная литература переживала свой звездный час. Глава «В Западной Беларуси (1921—1939)» посвящена формированию национального сознания белорусов, оказавшихся по ту сторону границы, анализу интересной и разнообразной литературы, объединению Западной Беларуси с БССР в одной республике. Один за другим перед читателем книги «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць…» предстают литературные портреты наиболее ярких и талантливых писателей-западников — Максима Танка, Валентина Тавлая, Натальи Арсеньевой, Франтишка Олехновича, Владимира Жылки, Ларисы Гениюш, Казимира Сваяка…

Пестрым и многоликим предстает в исследовании В. Гниломедова и М. Микулича послевоенный и современный литературные процессы в Беларуси. Новое слово сказано в работе о творчестве, духовно-нравственных и эстетических позициях А. Кулешова, В. Быкова, И. Шамякина, П. Панченко, Н. Гилевича, Г. Бородулина, В. Зуенка и др., раскрывающих в своих произведениях специфику белорусского национального характера, особенности белорусского мировосприятия.

Большое внимание уделяется в работе судьбе белорусского языка, которому часто грозило и ныне грозит исчезновение. Трудно найти в Беларуси писателя, которого не волновала бы ситуация с языком, этим главным средством выражения народного духа. В. Гниломедов и М. Микулич представили удивительно трогательные, теплые и задушевные строки белорусских поэтов, посвященные скромной, неброской красоте родной природы, богатству родного языка. Они прослеживают бесконечную череду гонений на белорусский язык, подчеркивая, что пик русификации Беларуси припадает на 1965—1980-е годы — на время руководства республикой Петра

Машерова, который, как дисциплинированный коммунист, боясь обвинений в национализме, бездейственно наблюдал за этим процессом (с. 319). Писатели били тревогу. В книге приводится статья четырех зельвенцев «Наступит ли этот долгожданный решительный поворот?», помещенная в книге «Духу магутнага чары: Ларыса Геніюш ва ўспамінах, лістах, архіўных матэрыялах» (Мн., 2015), в которой затрагиваются проблемы национальной жизни послевоенной Беларуси — белорусской печати, белорусских театров, филармонии, национального кино и телевидения: «Невольно возникает вопрос, — говорится в этом «ценном документе истории белорусского свободомыслия второй половины XX столетия» (Нил Гилевич), — почему раньше в трудных условиях Западной Беларуси выходили газеты и журналы на белорусском языке, а теперь не могут? Разве белорусский народ не хозяин в своем доме? (с. 294.) Думается, немногим известен пока этот документ, по мнению М. Микулича, возможно, даже написанный самой поэтессой Ларисой Гениюш, поэтому его присутствие в книге представляется нам очень нужным, важным и ценным.

Нашлось в исследовании «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць» место и для рассмотрения творчества наиболее крупных писателей белорусского зарубежья — Натальи Арсеньевой, Моисея Седнева, Алеся Соловья и других, вынужденных жить по воле обстоятельств в других странах.

В работе раскрыто очень много острых и актуальных проблем, связанных с главнейшими чертами национального характера, индивидуальности белорусов и с их отражением в богатой и талантливой художественной литературе Беларуси.

Книга написана с любовью к белорусской нации, к ее представителям, наделенным разнообразными талантами. В ней найдем и освещение вопроса о том, «что дала Беларусь миру, в чем заключается ее вклад и заслуги перед мировой цивилизацией» (с. 9). Авторы не забыли сказать и об открытии современных исследователей белорусской диаспоры того, что белорусы участвовали уже в экспедиции самого Христофора Колумба, были в составе его команды. И об участии белорусов не только в теоретической подготовке петровских реформ, но и в их практической реализации. «В числе соратников Петра I, — замечают они, — был белорус Илья Капиевич, родом из Слуцка, которого, кстати, вспоминает Пушкин в своем романе “Арап Петра Великого”» (с. 105).

Авторы проделали огромную работу, связанную с выявлением новых архивных документов и материалов, с обобщением и систематизацией новейших достижений отечественной гуманитаристики. Это глубокое, новаторское, социально значимое исследование. Нет сомнений в том, что книга В. Гниломедова и М. Микулича «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць» будет интересна широкому кругу читателей — историкам, литературоведам, преподавателям, студентам, учителям и всем тем, кто проявляет подлинный интерес к белорусской истории и культуре.

Зинаида ДРОЗДОВА



С точки зрения рецензента

Малоритский уголок поющей белорусской земли



Мой народ праз стагоддзі
пранёс дабрату,
Да суседзяў-народаў павагу.
Знае свет навакольны яго
прамату,
І любоў да жыцця, і адвагу.

Алесь СТАВЕР

Монография «Полиэтническая литература Малоритчины: интерпретация и анализ произведений» (Брест, 2017) написана заслуженным учителем Беларуси, доктором педагогических наук, профессором Брестского государственного технического университета, действительным членом педагогических и социальных наук Российской Федерации, автором многочисленных научных трудов Марией Жигаловой. В книге исследуется развитие региональной литературы с учетом многонационального состава населения, живущего в пограничном регионе, в котором родилась и с которым не порывает связей всю жизнь автор. В монографии рассматривается взаимопроникновение и влияние в творческом процессе отражения художественным словом общих жизненных забот, волнений, радостей и горестей, формирующих личностные особенности и духовные ценности и мультикультурную консолидацию населения, состоящего из представителей разных этносов.

Исследуя совокупность достижений литературного творчества писателей Малоритчины, относящейся к числу пограничных и транскультурных регионов, автор исходит из того, что в настоящее время, время небывалого технического прогресса и вынужденного переселения людей с насиженных мест, становится все более очевидным, что проблемы межкультурной коммуникации являются особенно актуальными как для каждого этноса в отдельности, так и для полиэтнического социума в целом. Данный вопрос в первую очередь связан с осознанием культурных различий, которые играют значимую роль в социальной жизни многонациональных обществ, с пониманием того, что игнорирование национальной идентичности чаще всего ведет к конфронтации, а не консолидации населения. Знание языка и литературы как культурного кода этноса оказывается весьма важным для гармонизации мультикультурного пространства.

Автор объясняет важность своего исследования необходимостью позна-

ния общественного положения в конкретном регионе, чтобы осмыслить, какие факторы и как могут корректировать жизнь различных этносов. Мирное сосуществование людей разных наций в одной стране зависит от многих факторов. Книга ратует за необходимость тесных взаимных связей между народами, живущими в одном и том же государстве, призывая уделять постоянное внимание сохранению национальных особенностей и культурных традиций, отмечая важную роль искусства, литературы как действенного средства консолидации и сотрудничества разноплеменных по происхождению жителей местности, в которой они проживают.

Опираясь на биографические данные литераторов и некоторые текстовые особенности их произведений в сопровождении с литературоведческим анализом, Мария Жигалова исследует своеобразие мультикультурности малоритского пограничья. При этом в монографии подчеркивается значимость полиэтнической литературы не только для плодотворных нормальных отношений между представителями разных наций, но и рассматривается роль писателя в формировании мировоззрения личности, придерживающейся принципов общественного единства.

Первая глава монографии посвящена рассмотрению понятия полиэтническая литература как теоретической проблемы. Автор включает в нее обзор основных источников по данной теме, утверждающей, что на художника слова не могут не оказывать влияния многонациональная среда со своими нравами и обычаями, иноязычная словесность, что сказывается на проблематике и содержании, жанре, языке и стиле произведений инородного писателя, на расширении и обогащении национальных традиций.

Вторая глава повествует о дорогах ряда белорусских писателей, жизнь и творчество которых определенное время проходили на малоритской земле, что оставило заметный след в их биографиях и сочинениях. Среди них Борис Мицкевич (1925—1983) — известный белорусский литературовед, переводчик, исследователь истории зарубежной литературы; Ярослав Пархута (1930—1996) — писатель-краевед, автор стихотворных сказок, журналист; Николай Купреев (1937—2004) — поэт, прозаик, и другие. Теснейшим образом связано с Малоритским краем имя польского писателя Франтишка Вислоуха (1896—1978) — исследователя Полесья, оставившего на польском языке содержательные зарисовки, рассказывающие о местных жителях, об их занятиях, традициях, обычаях, о толерантности поведения в повседневной жизни.

В третьей главе рассматриваются итоги теоретического осмысливания истории развития полиэтнической литературы Малоритчины с середины прошлого столетия до наших дней: 50—70-е годы (начало освещения в местной печати творчества писателей разных национальностей, встречи населения с известными деятелями искусства), 80—90-е годы (создание литературных объединений, издание книг местных авторов, расширение тематики и проблематики произведений, встречи с писателями Беларуси, России, Украины, Польши) и рубежные десятилетия двух веков (расширение малоритской издательской базы, усиление взаимовлияния писателей разных национальностей).

Уделяется пристальное внимание песенному творчеству этого специфического белорусско-русско-украинско-польского региона. Автор указывает на особую популярность в регионе песен лирических, юмористических и т. д. Многие литературные тексты, положенные на музыку местными авторами, «исполняемые на разных славянских языках, в том числе и на местной «трасянке», свидетельствуют о распространении на Пограничье мультикультурного песенного творчества, которое выполняет роль своеобразного посредника между профессиональным и фольклорным пластами и остается одним из главных хранителей не только собственно белорусских элементов в местной песенной культуре, но и общечеловеческих».

Рассматривая развитие мультикультурного искусства на Малоритчине, автор приходит к выводу, что оно содействует сближению представителей раз-

ных этносов, живущих в пограничном регионе, достижению между ними взаимопонимания. К какой бы национальности ни принадлежали поэты, в их произведениях выражена вера в «значительность своего Отечества», утверждается, что никакие богатства не заменят им Родины, не сделают счастливыми вдали от нее, ибо нигде они не будут так восприняты, нигде им не будет так свободно дышаться, как на родной земле.

Центральное место в монографии уделено современным писателям Малоритчины. Некоторые из малоритских художников слова впервые упоминаются в литературоведческом исследовании. М. Жигалова приводит краткие творческие биографии писателей-земляков и анализирует стихи белорусов Лидии Гаврилюк, Николая Губея, Владимира Данилюка, Александра Избицкого, Геннадия Мищука, Николая Наумчика, Николая Патеюка, русских Татьяны Ефлаковой, Ивана Замотаева, украинцев Владимира Кучминского, Елены Можаровской, Петра Чагайды и др., произведения которых, по мнению автора, «помогают решать социально-нравственные и философско-психологические не только региональные, но и общечеловеческие проблемы, связанные с формированием личности». Показан региональный колорит через интерпретацию и анализ произведений прозаиков Алексея Филатова, Степана Криваля и Владимира Борисюка, подчеркивается их роль в культурной жизни родного края. Хотя национальности некоторых из перечисленных поэтов определены произвольно: у одного мать белоруска, а отец поляк, у другой — мать полька, а отец украинец, что и характерно для национального региона.

Пристальное внимание М. Жигалова уделяет тому, как региональная литература Малоритского края формирует духовные ценности населения района, оказывает воздействие на его мировоззрение, при этом показывая действенную роль местной прессы в популяризации творений региональных литераторов.

Разделы монографии, составившие пятую главу «Литература Малоритчины в практике современного образования: дидактический материал», имеют практическое назначение. В них предлагаются способы использования произведений региональной литературы для воспитания школьников. Указывается роль районной библиотеки в приобщении жителей к ценностям своего региона. В качестве своеобразной модели и рекомендацией учителям одного из путей по ознакомлению учащихся с творчеством местных авторов приводится образец проведения урока по творчеству Александра Избицкого. В отдельном разделе предлагаются консультационные советы по организации факультативных занятий в школе, посвященных региональным авторам. Уделяется также внимание роли школьного литературного музея в воспитании учащихся и организации других форм внеклассной работы.

Монография содействует формированию толерантного мировоззрения, укрепляет чувства патриотизма и стимулирует внимание людей к своей культуре и к культуре других народов.

Многие поэты-небелорусы Малоритчины пишут благодарные признания в любви к Беларуси, как, например, Владимир Кучминский в стихотворении «Другая радзіма»:

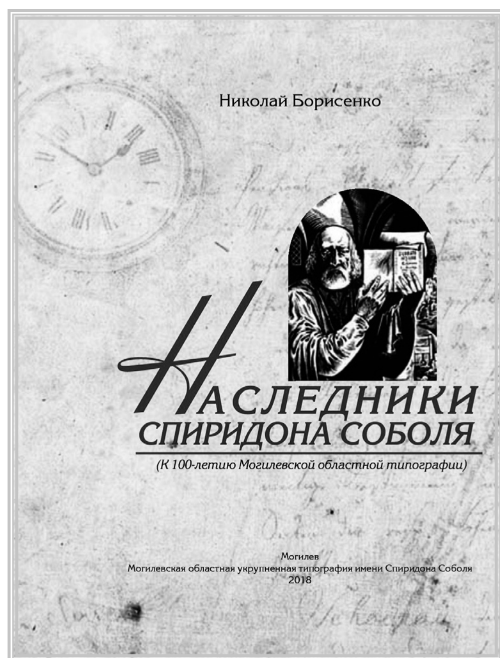
Беларускім «хахлом» я лічуся,
Бо з маленства жыву ў Беларусі.
Мову гэтую роднай лічу,
На ёй вершы і байкі пішу...
Тут вучыўся я, рос і працую,
А цяпер ужо і ўнукаў гадую.
І жыву я тут не пад прымусам
У згодзе з вамі, браты-беларусы,
Памяркоўны характар, што маюць,
Хлебам-соллю сяброў сустракаюць.
Лёсу я быць удзячны павінен,
Што заву той куточак адзіны
Я сваёю другою Радзімай.

Книга иллюстрирована фотографиями малоритских писателей и рядом снимков, на которых запечатлены различные литературные мероприятия, проводимые в рамках укрепления взаимопонимания живущих рядом людей разных национальностей.

*Тимофей **ЛИОКУМОВИЧ***

С точки зрения рецензента

Книга о наследниках Спиридона Соболя



Со времени возникновения книгопечатания в Беларуси минуло более 500 лет. Заметное развитие духовной и материальной культуры белорусов началось именно с этого времени. Могилевщина всегда шла в авангарде этих событий. Наши земляки Спиридон Соболь и Петр Мстиславец стали яркими звездами на небосклоне книгопечатания и первыми представителями профессионального печатного дела на нынешней территории Могилевской области. Их имена были хорошо известны в культурных кругах России, Украины, Польши и Чехии.

Проходило время, и традиции могилевских печатников расширялись и развивались. В Могилеве печатное искусство своих земляков продолжили и умножили «друкары» Богоявленской братской типографии, которая стала центром белорусского книгопечатания конца XVII и первой половины XVIII веков. Позже были типографии римско-католической консистории, губернская типография и частные типографии могилевчан-евреев.

В конце 1917 года все частные типографии были национализированы и стали государственными. На базе бывшей губернской типографии была создана Могилевская государственная советская типография, в которой 10 января 1918 года вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Известия Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов». С этой даты и начала свою деятельность нынешняя Могилевская областная типография имени Спиридона Соболя, которая сегодня является одним из крупнейших полиграфических предприятий республики. В январе сего года она отметила 100-летний юбилей. Хотя это и не совсем точно и справедливо, потому что она законный правопреемник Могилевской губернской типографии, которая ведет свой отсчет с 1833 года, ей уже 185 лет. Тоже юбилей.

Знаковым событием к юбилейным торжествам стал выход в свет в серии «Научно-популярная библиотека» книги известного могилевского историка-краеведа и писателя Николая Борисенко «Наследники Спиридона Соболя». Участие в подготовке книги к изданию приняли многие сотрудники типографии, а также архивов и музеев Могилева. В составе редакционной коллегии: Ж Г. Горбатая (редактор), И. В. Азаркова, С. В Бураковский, Т. Ф. Свинарчук.

Автор книги Николай Борисенко несколько лет разыскивал материалы для этого издания в архивах Могилева, Беларуси и России, в краеведческих музеях, в библиотеках и в интернете, а потому ее страницы насыщены множеством интересных фактов, фотокопий

документов о событиях, касающихся становления печатного дела на Могилевщине с 1616 по 2017 годы, а также здесь максимально отражены славные дела и самоотверженный труд многих поколений полиграфистов.

Глава «Становление и развитие печатного дела в Беларуси» — это очерк о 500-летии белорусского книгопечатания.

Во второй главе читатель ознакомится с интересными фактами и событиями, изложенными во всех могилевских летописях.

Развитие типографского дела в Могилеве от братской «друкарни» 1633 года до частных типографий 1917 года отражено в третьей главе: здесь и жизнеописание Спиридона Соболя, и слово о Петре Мстиславце, и деятельность Могилевской Богоявленской братской типографии, а также других типографий XVIII и XIX веков.

Страницы четвертой главы посвящены созданию и развитию советской государственной типографии в Могилеве (1917—1941). Приведено много фактов и документов о сложных условиях деятельности типографии и о том, как печатники их преодолели.

О деятельности могилевских печатников в годы Великой Отечественной войны, об их стойкости и героизме (1941—1945) читатель узнает, прочитав пятую главу книги. В ней немало рассказано о том, как печатались газеты в лесных типографиях партизанских отрядов, как геройски и мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками печатники А. И. Печерин, И. Е. Яновицкий, А. М. Эстрин, А. Е. Мартынов, С. И. Вершук, М. Х. Сандлер, В. И. Любимов, Г. В. Герасименко, Н. И. Левин и другие.

О трудном послевоенном двадцатилетии Могилевской типографии рассказано в шестой главе. Меня особенно взволновал текст страниц, где говорится о событиях в типографии в пятидесятые и шестидесятые годы, которые автор назвал особенно трудными. С ноября 1952-го по ноябрь 1960 года я работал инспектором отдела культпросветучреждений Управления культуры облисполкома. Мне пришлось присутствовать на ряде совещаний редакторов газет и заседаний совета управления культуры с участием полиграфистов. Более того, отдел культпросветучреждений находился в одном кабинете с отделом полиграфии и издательств, которым заведовал И. Е. Рудерман, а ст. инженером полиграфистом был А. И. Печерин. С Алексеем Ивановичем мы дружили. Летом 1954 года я уволился по болезни. В сентябре вернулся в управление культуры, а моя должность уже была занята. Но вакантной оказалась должность заведующего отделом полиграфии и издательств. Ее занял А. И. Печерин, и он взял меня к себе в помощники. И стал я вр. и. о. ст. инженера этого отдела. Алексей Иванович, как и раньше, занимался оборудованием типографий и ремонтом машин, а еще решал кадровые вопросы. А я выполнял всю рутинную работу с документацией отдела, вел переписку и отчетность, в командировках выполнял и другие поручения начальника управления культуры М. И. Барановского. В конце февраля 1955 года по указанию обкома партии меня назначили заведующим Чериковским райотделом культуры. Через год я вернулся в управление культуры, но уже в качестве инспектора по библиотекам.

Встречался и хорошо знал директора Могилевской типографии И. Е. Яновицкого, начальника линотипного цеха А. М. Эстрина, начальника переплетного цеха М. З. Долгина и других полиграфистов. Однажды меня командировали в Бобруйск разобраться с жалобой печатников на явно завышенный финансовый план на 1956 год. Я побеседовал с печатниками, сделал выписки из инструкций на печатные машины, арифметические вычисления и пришел к выводу: печатная машина, чтобы выполнить доведенный план, должна работать непрерывно целые сутки без выходных и перерывов на обед. Так и доложил при обсуждении жалобы бобруйчан на заседании совета областного управления культуры. И план был снижен до реально выполнимого. Это была сенсация: в те времена доведенный план разрешалось менять только в сторону увеличения. И. Е. в связи с этим сказал одному из своих друзей: «Он крученый».

Особо хочу отметить А. И. Печерина. Это был старейший полиграфист земли могилевской, а может, и всей Беларуси. Он с 13 лет стал наборщиком. При оккупации Могилева в 1918 году набирал в типографии листовки, призывавшие к забастовке. Необыкновенно честный и скромный, целеустремленный и мужественный. Ни разу не обмолвился о своих наградах. От звонка до звонка прошел Гражданскую и Великую Отечественную войны. Автор книги в беседе со мной сказал, что А. И. Печерин на первом месте и среди печатников, и среди воинов-фронтовиков. Алексей Иванович очень дорожил дружбой с поэтом-фронтовиком Алексеем Пысиным. Его и меня он пригласил к себе домой на 60-летие со дня рождения. Трудовой стаж юбиляра был уже 47 лет, но он продолжал трудиться. Я написал о нем в «Могилевскую правду» (2 апреля 1961 года) небольшую, но емкую статью (помог А. В. Пысин) «Старэйшы паліграфіст» со снимком фотокора Сидорова. За праздничным столом, поздравляя юбиляра, Пысин еще пошутил: «В газете о С. М. Кирове ни слова, а Алексея Ивановича отметили, да еще как!» В Гражданскую войну в Средней Азии А. И. Печерину приглянулась таджичка, и он вернулся в Могилев с молодой красивой женой, которая в нем души не чаяла и родила ему сыновей. Жили Печерины на втором этаже дома по улице Первомайской вблизи от кинотеатра «Чырвоная зорка».

И еще о трудолюбии Алексея Ивановича. В те годы во всех районах области редакции печатали газеты ручного набора (свинцовые буквы на печатных машинах). За их профилактику и ремонт отвечал инженер Печерин. Если газета не вышла вовремя — это ЧП в стране. Находили виновных и увольняли с работы. В книге об этом есть эпизоды. По вине Алексея Ивановича таких случаев не было. Он выезжал в районы в любое время суток, в любое время года, в любую погоду и работал, если надо, без отдыха даже 18 или 20 часов. Такой случай был в Чаусах. На моих глазах это было в Черикове в 1955 году. Однако чаще всего Печерин ездил в районы для проведения профилактики и для того, чтобы научить молодых работников своевременно устранять неполадки, а еще он помогал им внедрять в работу новое, передовое. Я ни разу не слышал от него нареканий. Он каждый раз говорил: «Это как на фронте». Его уважал А. В. Пысин, уважал и уважаю я, уважали все редакторы газет, все печатники земли могилевской. Ему бы бюст поставить у здания типографии или, на первое время, его имя вместе с другими выдающимися печатниками занести на мемориальную доску или стенд.

О том трудном послевоенном двадцатилетии, когда работал А. И. Печерин, в шестой главе есть много ярких эпизодов.

Самая значительная по фактографии и по объему (занимает 80 страниц) глава седьмая. Здесь и о деятельности областной типографии в целом, и о ее отдельных участках, и обо всех директорах, обо всех печатниках с фотографиями групповыми и каждого в отдельности.

Отдельные очерки посвящены нынешним сотрудникам: директору типографии Д. П. Алямасову, секретарю И. Е. Ковалевой, юрисконсульту Т. Э. Беймановой, гл. инженеру С. В. Бураковскому, наладчикам полиграфического оборудования Вечеславу Антипенко и Евгении Коваленко и другим. Нельзя без волнения читать воспоминания полиграфистов-ветеранов Л. М. Уса, А. Л. Короткого, Л. И. Бакланова.

Хорошо, что в книге имеется справочный указатель: «Руководители типографии с 1918 года», «Источники и литература», а также предисловие и послесловие автора.

Николай Борисенко надеется, как он сказал в послесловии, «что каждый прочитавший эту книгу обязательно ощутит непередаваемые эмоции, вспомнив дни своей юности».

Действительно, книга прекрасная и по содержанию, и по оформлению, она особенная. А потому будет интересна не только ветеранам типографии и сегодняшним труженикам, она будет интересна массовому читателю, всем людям, интересующимся историей нашего города.

Виктор АРТЕМЬЕВ

Литературное содружество

Литературное побратимство[*]
Беларусь—Туркменистан

Встречи, знакомства, открытия

Таджикский след проходит по судьбе белоруса, который связан своей жизнью еще и с Туркменистаном. Но обо всем по порядку.

Журнал «Нёман» уже публиковал записки нашего земляка Леонида Чигрина, русского писателя, переводчика, публициста, киносценариста, который живет и работает в Душанбе, о его связи с Беларусью, о том, как семья оказалась в Средней Азии. А родился Леонид Чигрин в 1942 г. в Беларуси, на Витебщине. Мать его была участницей антифашистского подполья, оказалась в немецком концентрационном лагере. Мальчика воспитывала бабушка. Когда война закончилась, мать вернулась домой. Здоровье ее было подорвано. Доктора советовали сменить климат. Так молодая женщина с ребенком оказалась в Таджикистане. А еще раньше туда отправилась старшая сестра белорусской подпольщицы. В 1946 г. мать Леонида умерла, и мальчика воспитывала тетя. Вскоре возвратился из армии и отец. Но на семью свалилась еще одна страшная беда: Николай Чигрин погиб в шахте…

Прошли годы. Мальчик, который сроднился с Таджикистаном, досконально выучил таджикский язык, стал талантливым журналистом, писателем. Многие произведения Рахима Джалила, Фазлидина Мухаммадиева, Ходжи Садыка, Мухамеда Рабиева, Ато Хамдама и других таджикских поэтов, прозаиков, драматургов стали известны в переводе на русский язык благодаря именно Леониду Чигрину.

Но и в тех «нёманских» записках скупо приоткрывается судьба литератора как активного работника на ниве исторической романистики. Вот об этом и хотелось бы рассказать. В соавторстве с известным таджикским романистом Ато Хамдамом в последние годы наш земляк работает над широким, масштабным творческим проектом «Тайны в истории». Открыл же серию занимательных произведений исторический роман в двух частях «Жизнь Чжан Цяня, или Великий шелковый путь». В центре сюжета романа, который уже издан на таджикском, русском и китайском языках и готовится к изданию на туркменском, — судьба китайского посла Чжан Цяня — неординарного человека, положившего начало Великому шелковому пути. Отправившись искать союзников Китаю в 138 г. до нашей эры, Чжан Цянь попал в плен к гуннам. После десяти лет рабства, связанного с многими тяжелыми испытаниями, мужественный путешественник попал в Бактрию.

И многие идеи будущего Великого шелкового пути получили реализацию как раз на территории сегодняшнего Туркменистана. Читаем в романе Леонида Чигрина и Ато Хамдама: «Посол китайского императора и вождь племени бактрийцев молча глядели на извилистую линию Великого шелкового пути, нарисованную на гладком песке у их ног.

— Я перенесу этот чертеж на бумагу и покажу императору, — сказал

[*] Продолжение. Начало в № 9 за 2018 г.

Чжан Цянь. — Великий шелковый путь станет мостом, который соединит не только далекие страны, но и сердца.

Вырвавшись из плена, набравшись сил в Бактрии, Чжан Цянь прибыл в древний Марв (да, это Мари, территория сегодняшнего Туркменистана), «очень богатый город, известный всему миру». Еще его называли Шахуджахан — «место царей». Спутниками китайского посла был товарищ по рабству — славянин Ганьфу (о себе он сказал: «Моя родина недалеко от реки Волги. Я из славянского племени древлян») и юный бактриец Шерак… Караван, с которым путешественники входили в город, двигался вдоль крепостной стены. Ганьфу спросил у своего товарища, похоже ли это сооружение на Китайскую стену. И вот что услышал в ответ:

«— Наша более мощная. Эта, как сказал караван-баши, тянется на сорок восточных форатов. Но если наша защищает Китай только от врагов, то эта и от пустыни.

— Как это? — удивился Ганьфу.

— Она не пускает песок в глубь оазиса.

— Вот молодцы! — восхитился Ганьфу. — Сразу видно, что здесь терпеливые и умелые мастера. А вон впереди и ворота. Чжан Цянь, я вот все думаю: что же это за страна?

— Мне кажется, что мы попали к властителям песков — парфянам, — отозвался Чжан Цянь. — Я слышал о них у себя на родине и о богатом городе Марв. Это сильные и гордые люди. Они никогда не предают друзей и безжалостны к врагам…»

Забегая вперед, хочу заметить: роман Леонида Чигрина и Ато Хамдама написан очень динамично. Герои и события показаны выпукло, рельефно. Даже первое прочтение книги убеждает: перед нами — основа киносценария. Фильм о зарождении Великого шелкового пути, несомненно, мог бы быть интересен и туркменским зрителям. Вот бы сделать такой фильм сообща — Беларусью, Туркменистаном, Китаем и Таджикистаном!..

Открытием для путешественников стало знакомство с библиотекой Марва. Жаль, что в романе Л. Чигрина и А. Хамдама этому эпизоду уделено лишь две небольших главки. Не забывайте: действие происходит в 126 году до нашей эры. Давайте проведем некоторые параллели… Библиотеки существовали уже за два тысячелетия до нашей эры — на глиняных табличках. В I веке до нашей эры, Александрийская библиотека, основанная Птолемеем, насчитывала до 700 000 томов. Библиотека в Пергаме, основанная в III веке до нашей эры, содержала 200 000 рукописных книг. Крупные собрания в III веке до нашей эры, были и в Китае (бумагу заменял шелк). В 213 году до нашей эры при императоре Цинь Шихуанди даже сожгли большое количество конфуцианских книг. И в те времена, видимо, культурой правила политическая борьба.

«В далеком Китае не меньше удивились бы рассказу об удивительной библиотеке Марва, — ведут свой рассказ Л. Чигрин и А. Хамдам. — Шагая по ее просторным комнатам, где гулко разносились их шаги, Чжан Цянь и Ганьфу с удивлением рассматривали многочисленные деревянные сундуки, в которых хранились рукописные свитки.

Старый сгорбленный библиотекарь показывал пальцем то на один, то на другой сундук, и, подчиняясь жестам, Ганьфу осторожно приподнимал тяжелые крышки. Библиотекарь бережно доставал пожелтевшие пергаменты.

— Это творения Аристотеля, а это труды наших восточных ученых. Вот трактаты по логике, по медицине, по математике… А вот этому свитку ты, посол, удивишься до глубины души.

Чжань Цянь развернул свиток и всмотрелся в клинописные знаки, что выстроились на гладкой пергаментной поверхности.

— Что это?

— Это «Беседы и размышления» китайского мудреца Конфуция.

— Как? — вскричал Чжан Цянь, прижимая свиток к груди. — Что ты говоришь, старик?! Возможно ли в самом

сердце пустыни, за тысячи ли от Китая увидеть «Лунь юй» нашего великого Кун-цзы!

Обычная сдержанность покинула Чжан Цяня, и Ганьфу впервые за многие годы с удивлением увидел на глазах своего друга слезы…»

В Марве, встретив друзей и сторонников, китайский посол еще больше убедился в правильности идеи, выношенной в Бактрии. Кстати, одна из глав романа — о встрече посла с легендарными туркменскими аргамаками.

Оставляя Марв, главный герой романа Л. Чигрина и А. Хамдама жил надеждой…

«Чжан Цянь с большой теплотой вспоминал новых друзей. Их бескорыстие, приветливость и тонкий ум приятно удивили и порадовали его. Теперь он не сомневался, что Великий шелковый путь станет реальностью. Мало придумать его направление и договориться о торговле и военном союзе с бактрийцами, нужно гарантировать безопасность караванам на всем пути, и никто лучше жителей Марва не сделает это…»

Возвратившись из Марва в Китай, Чжан Цянь обо всем увиденном подробно расскажет императору. Сперва он получит почетный титул князя Бован, денежное содержание и другие награды, но вскоре попадет в немилость. Правда, через некоторое время император снова вспомнит о Чжан Цяне и отправит его реализовывать идею Великого шелкового пути. Начнутся новые испытания, снова китайский посол побывает в Марве, встретится с туркменским краем…

Роман белоруса Л. Чигрина и таджика А. Хамдама (кстати, он является членом Союза писателей Беларуси) «Жизнь Чжан Цяня, или Великий шелковый путь» обязательно должен прийти к туркменскому читателю. И верится, что это произойдет. Бывая в прошлые годы в Туркменистане, я рассказал о Чигрине и его творчестве Агагельды Аланазарову — детскому поэту, прозаику, который также в последние 10—15 лет работает над историческими романами.

— О Чигрине я слышал от его соавтора Ато Хамдама, — отозвался на мои слова Агагельды. — Ато — частый гость в Туркменистане. Бывает на выставках «Золотая книга», которую мы ежегодно проводим в Ашхабаде. И конечно, хотелось бы издать что-нибудь тематически связанное с Туркменистаном, древней нашей землей, и на туркменском языке. Очень надеюсь на это…

Уверен, что романы Ато Хамдама и Леонида Чигрина стали бы в один ряд с исторической прозой туркменских авторов разных поколений — Берды Кербабаева, Клыча Култева, Хыдыра Дярьева, Нарклыча Ходжагельдыева, многих других талантливых авторов.

Несколько слов о биографической, жизненной связи Л. Чигрина и А. Хамдама с Туркменистаном. Леонид Чигрин в свое время служил в этой горячей стране солдатом. Ато Хамдам — частый гость в Ашхабаде. Как книгоиздатель и переводчик он много сделал для развития таджикско-туркменских литературных связей.

Любовь Турбина — еще одна «белорусско-туркменская судьба»… И школу закончила в Минске, и первое высшее образование получила в Минске, и первые публикации, и первые книги (или даже основная их часть) — все связано с Минском. Сейчас Любовь Николаевна живет в Москве…

Вот что пишет она в автобиографии: «Каждого человека волнует история своего рождения на свет. Я родилась в Ашхабаде. В июле 42-го, в эвакуации, но время и место моего рождения по-японски, это значит за девять месяцев «до», — поздний октябрь 41-го, угол Арбата и Староконюшенного, когда немцы стояли под Москвой и соседи по коммунальной квартире в ужасе разбежались, а папа с мамой на крыше тушили фугаски.

Потом был долгий путь в поезде через Ташкент, столицу Узбекистана, в столицу Туркменистана, которая и стала местом моего рождения, а практически через год — путь обратный, мне и года не было… отсюда — «с рожденья бацилла метаний в крови

кочевницы из Ашхабада». Чувствую это и теперь, когда жизнь вернула меня в родные места… Довелось мне побывать и на родине, в Ашхабаде, последний раз на чествовании Махтумкули — великого туркменского поэта, взявшего псевдоним Фраги, что переводится как «разлученный со счастьем». Переводила на русский язык туркменского поэта Атамурада Атабаева, а поэт Байрам Жутдиев перевел на туркменский язык несколько моих стихотворений…» Пишет Любовь Турбина на русском языке — и в поэзии, и в прозе.

О «своем Туркменистане» Любовь Николаевна написала очень симпатичное эссе «Ашхабад — две встречи». Процитирую хотя бы частично: «В мой родной город Ашхабад, после того как меня увезли оттуда восьмимесячной, удалось попасть только почти через четыре десятилетия. Я работала тогда в Институте генетики АН БССР старшим научным сотрудником, хотя к этому времени закончила Литературный институт и была автором тоненькой книжечки стихов «Улица детства». Мне удалось упросить дирекцию, чтобы меня взяли на конференцию в Ашхабадский институт биологии; не помню, успела ли сочинить какой-никакой доклад, но потрясала паспортом с записью: место рождения — город Ашхабад».

Летела через Москву, был октябрь месяц, я надела в дорогу самый козырной на тот момент голубой плащ, и вдруг в Москве пошел снег, мокрыми хлопьями, но мама дала мне свой пуховый платок, которым я обвязалась поверх плаща, и сапоги на платформе, то есть имела вид француза, бегущего из Москвы… В ту, первую, поездку больше всего запомнилась мне поездка за город через пустыню к подножью Копетдага, в пещеру с подземным озером.

В одном из рассказов Виктории Токаревой есть подробное художественное описание подобного путешествия, там на фоне этой поездки героев внезапно настигает любовь. Ту мою давнишнюю поездку в Ашхабад к этому таинственному озеру тоже осеняло — нет, не любовь — некое нежное чувство, не жаркое, не настойчивое, но без которого впечатления о ней были бы, наверно, менее яркими. Он приехал из Москвы, из Института генетики, звали его Витя Соколовский. Экскурсии располагают к сокращению расстояний между людьми; настроенные вполне легкомысленно, мы вдруг оказались в пещере, где по влажным стенам под сводами висели гроздьями летучие мыши, а вырубленные в камне ступени вели к подземному озеру, откуда явно шибало в нос сероводородом: это напоминало схождение в Аид.

Не помню, кто надоумил нас взять с собой купальники, — мы погрузились в теплую воду и поплыли. Озеро это занимает несколько пещер, соединенных узкими рукавами, чтобы переплыть из одной в другую, надо было поднырнуть под свисающую перегородку. Чем глубже, тем все темнее, все труднее дышать… И так захотелось поскорее на воздух, на свет…

Из той, первой, поездки запомнился еще банкет, завершавший работу конференции, — академик Николай Павлович Дубинин, знаменитый генетик, был тамадой: так же царственно дирижировал тостами на банкете, как до этого управлял докладами и сообщениями. Мне он сказал: «У вас необычный фенотип. Я бы не знал, к какой национальности вас отнести».

Несколько лет после той поездки получала я письма из Ашхабада от Антонины Петровны Бажановой, единственной русской сотрудницы туркменского института генетики; на словах письма были дружеские. Преувеличенно-восторженные отзывы о моих стихах… Да, самое главное — я познакомилась в ту поездку с туркменским поэтом Байрамом Жутдиевым: набралась наглости и явилась в Союз писателей со своей тоненькой книжечкой стихов «Улица детства». Главным моим козырем был по-прежнему паспорт со штампом «место рождения — город Ашхабад». И Байрам не просто поговорил со мной, а по-настоящему взял шефство — на машине показал мне пустыню в октябре: было совсем не жарко и как-то серо, но внутри

все пело… Байрам поразил меня особой, тогда мне казалось — европейской интеллигентностью, теперь я бы сказала — утонченной, восточной культурой… И еще: он перевел мои стихи из подаренной ему тоненькой книжечки на туркменский и напечатал в газете, которую я вскоре, совершенно неожиданно для себя, получила от него уже в Минске. До сих пор это единственные переводы моих стихов на туркменский язык.

В следующий раз я побывала в Ашхабаде в 1989-м, на днях Махтумкули.

К этому времени я уже несколько лет работала — о, счастье! — в Институте литературы им. Янки Купалы АН БССР, где занималась связями белорусской литературы с туркменской, азербайджанской и узбекской литературами; как я туда попала — тоже целая история, случившаяся именно со мной, уроженкой славного города Ашхабада. Профессор Гринчик, на кафедре которого в Минском институте культуры я подвизалась в качестве преподавателя-почасовика, однажды на кафедре сообщил, что в академическом Институте литературы ищут специалиста по восточным, а точнее — тюркоязычным литературам Советского Союза, и я, как в детстве, когда выскакивала танцевать все равно что, на призыв: «А кто умеет танцевать лезгинку?» — выскочила и предложила свою кандидатуру на роль этого редкого по тем временам специалиста. Несравненный Николай Михайлович меня рекомендовал, а добрейший Виктор Антонович Коваленко, тогдашний директор института, принял меня к себе на работу, в отдел взаимосвязей литератур, который возглавлял Алесь Адамович…

И вот я снова в Ашхабаде — майском, праздничном, ярком, наполненном людьми, приехавшими из дальних мест и близлежащих деревень. В Ашхабаде на тот момент не было ни одной достаточно вместительной гостиницы для гостей — прямо на главной улице, на проспекте им. Махтумкули стояли юрты и шатры, где жили приехавшие из мест ближних (дальних в гостиницу все-таки поместили). И дворца, который бы вместил всех гостей, тоже пока не было: в городском парке соорудили помост, перед которым стояли рядами обычные садовые скамейки, и сам Сапармурад Ниязов, будущий Туркменбаши, сидел в первом ряду, по проходу расхаживали несколько милиционеров, и все происходило на редкость душевно и почти по-семейному. До этого я уже побывала на восточных приемах: на Днях М. Ф. Ахундова в Баку и на Днях Ниязи в Ташкенте, — там было гораздо больше помпы и казенщины, пыли в глаза и роскошества…

В этот раз я приехала официально как литератор и поэт; меня курировал возглавлявший тогда Союз писателей Туркменистана прекрасный поэт Атамурад Атабаев, в дальнейшем мне довелось перевести с туркменского около листа его стихов. Его стихи переводил сам Юрий Кузнецов, свои выступления он всегда начинал известными многим строчками:

Пролетят журавли Хорасана,
Пролетят, как ненастные дни…

Мне тоже довелось подняться на высокий помост, чтобы выступить перед высоким собранием, и я порадовалась, что на мне длинное туркменское национальное платье, которое напрочь скрывает ноги, — крепдешиновое, красно-кирпичное, свободное, с вышивкой у ворота, предусмотрительно купленное днем на уникальнейшем Ашхабадском базаре. Да, этот базар надо, конечно же, описать более подробно. Фактически я побывала тогда первый и единственный раз на настоящем старинном азиатском базаре. О том, что этот базар и есть главная ашхабадская достопримечательность, я узнала накануне в гостинице от Ильдрима, бывшего турецкого эмигранта, а на тот момент успешного предпринимателя, гражданина Германии. Он приехал на этот праздник, как он мне рассказал, главным образом, чтобы побывать на воскресном базаре: цель его была покупка уникальных старинных ковров по весьма умеренным на тот момент ценам. На базаре утром мы

с ним и встретились, только я стала глазеть на все подряд, а он сразу очень деловито отправился за коврами.

Описать тот базар у меня не хватит ни слов, ни красок, к тому же прошло двадцать лет… Но я помню свое ощущение: я попала в пещеру Аладдина, где сокровища лежат на земле грудами. Да, прямо на земле, на площадке, огороженной хлипким забором, лежали груды поломанных серебряных украшений: оплечий, браслетов, серег, брошек. Мне кажется теперь, там было не только чистое серебро, но также изделия из старинных сплавов, очень гладких, твердых и нержавеющих. Глаза разбегались: все было очень недорого, но и денег же было вовсе кот наплакал. Иногда кажется, что если нельзя купить все, лучше не размениваться на мелочи, от груд драгоценностей я отошла к продавцам одежды: там продавались те самые платья. Денег моих свободных хватило как раз на платье из карминного крепдешина, я тут же надела его поверх синтетического синего сарафанчика, в который была одета; и сразу стало гораздо прохладнее, потому что уже с утра начало сильно припекать, а платье национальное прежде всего защищает от солнца. До конца поездки я не снимала это волшебное платье и выступала тоже в нем.

И вот я поднимаюсь на помост и гляжу в лица тех, кто сидит и смотрит на меня с ожиданием, и внезапно понимаю: настал, быть может, один из самых ответственных моментов жизни. Мне надо поблагодарить этих людей за то, что тогда, в тяжелые годы войны они приютили мою маму, а затем и меня, на своей земле, в своем доме. Возможно, это звучит несколько высокопарно, но именно это я чувствовала, с высоты помоста вглядываясь в лица людей, пришедших на праздник. Мне кажется, что я смогла тогда найти те самые, проникновенные слова — и стихотворение прочитала:

Свинцовою тучей прошел над страной
Тот год, самый первый из прожитых мной;
Волна эпидемий, и голод, и зной,
Далекого грома раскаты,
Сердца в напряжении сжаты.
Нас выжило мало, рожденных тогда,
По капле сочилась живая вода…
А мама была еще так молода,
Свой хлебный паек продавала,
От смерти собой укрывала.
Но дни испытаний, годины невзгод —
Нам после как вехи возможных высот,
Но манит азийский мерцающий свод
Раскосым и угольным взглядом.
Мне имя дано Ашхабадом.

И кажется, я была тогда услышана. Вечером, на приеме у Сапармурата Ниязова, он подошел ко мне и стал расспрашивать о том, где и как моя мама жила в Ашхабаде. Чувствовалось, что ему это действительно интересно, ведь мы с ним почти ровесники — дети войны. Так закончилась эта поездка на мою родину, каждое упоминание о которой заставляет с волнением биться сердце. И маме рассказала о том, как поблагодарила от ее имени высокое собрание представителей Туркменистана — моей родины…»

Читаются эти строки с волнением, сердечными переживаниями. Спасибо Любови Николаевне за такую память!

Обращаясь к фактам литературного побратимства, нельзя не вспомнить и о том, что в 1944 году профессию военного летчика постигал в Гомеле Валентин Рыбин, позже — народный писатель Туркменистана, автор исторических романов «Перелом», «Властители и кочевники», «Закаспий», «Море согласия» и других произведений, посвященных прошлому Туркменистана.

И современное состояние белорусско-туркменских литературных связей (публикации о туркменской литературе в газетах «Літаратура і мастацтва», «Голас Радзімы», «Краязнаўчая газета», журналах «Полымя», «Маладосць», переводы туркменской поэзии в журнале «Полымя») не могут не представлять интереса.

В одном из писательских съездов Беларуси принимал участие народный поэт Туркменистана Каюм Тангрикулиев. Открыв для себя новый край, он написал замечательное стихотворение «Самый известный в мире аул», посвя-

щенное трагедии Хатыни. На белорусский язык стихотворение перевел народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин. Опубликовано оно в альманахе «Братэрства».

В 1980—1990 гг. в Беларуси издавался ряд литературно-художественных альманахов, представлявших литературу других народов на белорусском языке, — «Ветразь», «Братэрства», «Даляглялы». На их страницах публиковались и произведения туркменских писателей — Амандурды Джанмурадова, Алаберды Хаидова, Касыма Нурбадова, Азата Рахманова и др. О «туркменских страницах» альманаха «Братэрства» была публикация в туркменском журнале «Совет Эдебияты».

Пропагандистом туркменской детской литературы в Беларуси долгие годы был и остается поэт и переводчик Микола Чернявский.

Белорусский художник слова сумел разглядеть разнообразные краски природы, самой жизни Туркменистана, туркменов, хотя ни разу не был в стране Каракумов. Пустыня через его восприятие детской туркменской поэзии, переводу которой он отдал многие годы, — не просто желтый, коричневый или бесцветный песок… Пустыня — целая планета, наполненная приметами разнообразного мира. Юные белорусские читатели знали это и раньше, потому что в Минске выходило много детских книг туркменских авторов, и пустыня в них всегда присутствовала всеми красками и проявлениями. На языке Купалы и Коласа в разные годы звучали стихи и проза со страниц книг Берды Кербабаева, Нуры Байрамова (его блестяще переводил Кастусь Цвирка), Каюма Тангрикулиева, Бабанияза Каюмова, Агагельды Аланазарова (у него вышло аж три книги по-белорусски!), Курбана Чолиева… А со страниц периодики, альманаха переводной детской литературы приходили стихи Касыма Нурбадова, Сапармурада Авезбердыева и других туркменских писателей. Отдельным томом была представлена туркменская детская литература в серии «Детская литература народов СССР» — «Цветы Каракумов». Увидела свет эта книга в тогдашнем издательстве «Юнацтва». Составители настоящей антологии дружбы — Любовь Филимонова и Агульнабат Чорыева. Изданная вначале 1990-х, книга и сейчас пользуется популярностью у новых поколений белорусских читателей. Она — одна из 15 книг, представляющих литературу советских народов.

А сравнительно недавно издательство «Літаратура і мастацтва» (сейчас оно входит в состав РИУ «Издательский дом «Звязда») выпустило книгу Миколы Чернявского «Как сделать веселым день». Под одной обложкой собраны стихотворения мастеров слова России, Украины, Израиля, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Болгарии, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Литвы, Армении, Узбекистана, Польши, а еще и Туркменистана. Настоящая антология дружбы!..

Лауреат литературной премии имени Янки Мавра, премии Федерации профсоюзов Беларуси и премии имени Василя Витки Микола Чернявский, первая оригинальная книга которого увидела свет еще в 1963 г., работал над этим сборником несколько десятилетий. А с переводами в белорусской периодике начал выступать тоже в 1963 г. И туркменских поэтов переводит вот уже больше сорока лет!.. Одна из первых публикаций — стихотворение Нури Байрамова «Мой край» в журнале «Бярозка» в ноябре 1972 г. Новым витком переводческого внимания М. Чернявского к туркменской литературе стал своеобразный «мост дружбы».

В 1973—1980 гг. в Ашхабаде жил другой белорусский писатель — Василь Ткачев, кстати, друг и земляк Миколы Чернявского, уроженец Гомельщины. Он постоянно переписывался с Миколой Чернявским, рассказывал ему, что новое и интересное появилось в туркменской литературе. Так заочно — через Василя Ткачева — и подружились Микола Чернявский, который работал тогда в журнале «Бярозка», и Азат Рахманов, главный редактор туркменского детского журнала «Пионер».

В предисловии к книге «Как сделать веселым день» рассказывается о том, что Миколе Чернявскому в его переводческих стремлениях способствовала работа в журналах «Бярозка» и «Вясёлка». И конечно же, активное участие в создании вместе с другими коллегами книг для серии «Детская литература народов СССР». Мастер белорусского слова был всегда внимателен к творчеству детских писателей других стран. Переводил произведения эстонки Хельё Манд, туркмена Азата Рахманова, таджика Мирсаида Миршакара, узбека Мулкуна Ильхамова, казаха Касжана Мусрепова. И, признаться, лично с творчеством упомянутых поэтов я познакомился как раз по их белорусским публикациям, а не в переводах на русский язык. Помню, как мне, тогда еще школьнику, нелегко было судить о творческих высотах, освоенных этими авторами. Но привлекало тепло их произведений, шедшее от Миколы Чернявского.

В книге переводов «Как сделать веселым день» туркменская поэзия представлена не меньше русской, не говоря о других народах. Восемь стихотворений Азата Рахманова, восемь стихотворений Акджемал Омаровой, два стиха Каюма Тангрикулиева, один Пирпенеса Авезлиева… А всего в книге 127 произведений. Считай, 15 процентов от всего содержания, поскольку представлены 16 стран, даже — 17 (Микола Чернявский перевел еще и русских поэтов Беларуси)…

Мне кажется, что из туркменской части книги может вырасти и отдельный сборник туркменской детской поэзии в переводе на белорусский М. Чернявского. Лично я не однажды говорил об этом Миколе.

— Туркменская поэзия, адресованная юному читателю, настоящая планета, — делится своими размышлениями Микола Чернявский. — Я с удовольствием читаю на русском языке стихи Касыма Нурбадова, Агагельды Аланазарова, Курбана Чолиева… А недавно в еженедельнике «Літаратара і мастацтва» открыл для себя книгу Агагельды Аланазарова «Веселая азбука» в переводе нашего Виктора Гордея. Замечательная книга! Каждое четверостишие — урок доброго юмора, солнечной доброты! Поэзия Агагельды Аланазарова стала для меня новым толчком к переводческому труду над стихами детских поэтов разных стран. Жаль только, что сегодня не так просто найти новые книги, новые тексты. Хотелось бы восстановить прежние прочные литературные связи. Считаю, что это было бы на пользу и национальным культурам, и суверенным государствам…

К счастью, газетная подборка Агагельды Аланазарова вышла и отдельной книгой — «Веселая азбука». Думаю, что работа над переводами детской поэзии Туркменистана в Беларуси продолжится, и тогда Каракумы всеми своими красками станут еще ближе к Беларуси, станут еще более понятными белорусам.

Много сил и труда в пропаганду туркменской литературы в Беларуси вложила белорусская поэтесса и переводчица Любовь Филимонова.

Основой для таких читательских встреч (в Беларуси — с туркменской литературой, в Туркменистане — с белорусской), конечно, являются поездки литераторов. В Ашхабаде гостил Алесь Жук. Он хорошо знаком с замечательным туркменским прозаиком Атаджаном Таганом. На родину Махтумкули приезжали Максим Танк, Олег Лойко, Янка Сипаков, Рыгор Бородулин, Виктор Шимук, Генадь Пашков, Алесь Бадак, Алена Масла, Алесь Емельянов и другие белорусские писатели.

Максим Танк, судя по Собранию сочинений народного поэта Беларуси в 13 томах, читал и переводил многих туркменских поэтов. В поле зрения классика белорусской литературы как переводчика оказались народный поэт Туркменистана Керим Курбаннепесов, Молланепес, Махтумкули. А еще Максим Танк перевел туркменскую народную песню «Небо чистое, без туч…».

Перевел это произведение Максим Танк 7—10 ноября 1988 г. А впервые перевод напечатан в сборнике дет-

ской туркменской литературы на белорусском языке «Цветы Каракумов» (Минск, 1990). В этом же сборнике напечатан еще один перевод Максима Танка — стихотворение «Горы» Малонепеса.

Это стихотворение напечатано еще и в сборнике переводов Максима Танка «На звездных дорогах» (Минск, 1991). Максим Танк переводил довольно много. И, возможно, эта работа была для него данью добрым личным отношениям с писателями многих уголков Советского Союза. Но нельзя не сказать и о том, что, например, из молдавской поэзии классик белорусской литературы перевел стихи только одного Павла Боцу. Нет в его художественном арсенале переводов киргизской поэзии. Из таджикской — только одно стихотворение Рудаки и два Мирзо Турсун-Заде. Из эстонской — всего одно стихотворение Деборы Вааранди.

В 1984 г. (в Собрании сочинений отмечено, что в марте) Максим Танк пишет статью «К 90-летию Берды Кербабаева». Напомним, что Берды Мурадович Кербабаев (1894—1974) — классик туркменской советской литературы. Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1943). Народный писатель Туркменистана (1967). Академик Академии наук Туркменистана (1951). Дважды лауреат Государственной премии СССР (1948, 1951). Герой Социалистического Труда (1969). Самое известное его произведение — роман «Решительный шаг». Вот что писал Максим Танк о Берды Кербабаеве: «Доля туркменского народа, хотя и расселенного за тысячи километров от белорусского, в чем-то главном сродни ему. Это доля неустанного вечного поиска счастья, которое веками манило к себе трудового белоруса, стремившегося сорвать ту «папарацькветку» — цветок счастья, который будто бы расцветает раз в году, в ночь на Ивана Купалу. У белорусов таким счастьем считалась земля, отвоеванная у болота, у воды.

У туркменов же извечная капля воды — та крупица золота, в борьбе за которую не жалели они ни сил, ни самой жизни. В многочисленных дастанах рассказывал туркменский народ о своей трудной судьбе, о зависимости от милостей палящего солнца и знойных песков. Взошедшая над нашей страной звезда Октября объединила все народы вечной дружбой, дружбой созидания.

Туркменский народ так же, как и наш, белорусский, пошел дорогой строительства социализма. У туркмен в начале этой дороги находился один из зачинателей национальной советской литературы Берды Кербабаев. Художник каждого народа тогда признаваем им, когда свою музу отдает прославлению трудовых свершений его.

Уже в первых своих поэмах Берды Кербабаев сумел изобразить стремление вечно забитой туркменки к новой равноправной и полноправной, созидательной жизни. К борьбе за торжество социалистических отношений звал молодой тогда поэт в своих стихах…»

И еще: «Талант Берды Кербабаева многогранен. Он работал и для сцены, создав историческую драму в стихах «Махтумкули», воскрешающую образ великого поэта и философа туркменского народа. Перу Кербабаева принадлежат многочисленные очерки и рассказы о труде. Переведенные, кстати, и на белорусский язык, книги для детей. Он много и увлеченно переводил, донося великие творения русской классики до туркменского читателя. Истинно народным писателем Берды Кербабаев был не только для туркменского народа. Таким он остается для всех, кто прикасается к его богатому творческому наследию».

Кстати, на белорусский язык произведения Берды Кербабаева переводили Рыгор Бородулин, Лев Соловей, Макар Последович, Генадь Шупенька.

Среди туркменских переводов Максима Танка — и стихотворение Керима Курбаннепесова (1929—1988) «Три случая из жизни Каменэ». Впервые перевод, который белорусский поэт осуществил 20 февраля 1978 г., был помещен в Собрании сочинений в 6 томах (в пятом томе) в 1980 г. Заглянув в дневник Максима Танка за 20 февраля 1978 г., мы не найдем ничего особенного, что связывало бы поэта с пере-

водческой деятельностью. Возможно, сам Танк отнесся к сделанной работе как к обычному будничному занятию?.. Вот что записано под датой 20 февраля 1978 г.: «Слышно, тяжело болен Рыгор Романович. Звонил ему домой — не отвечает. Надо будет его навестить.

Познакомился с замечательными переводами белорусской поэзии, сделанными Б. Спринчаном. Опять взялся за Носовича, Федоровского, чтобы вспомнить вкус настоящей поэзии и неповторимое звучание нашего белорусского языка. За окнами беснуется метель…» Но 15 февраля Максим Танк записывает: «Карим Курбаннепесов (надо понимать: Керим. — *А. К.*) прислал сборник своих стихов «Ради доброты» (1974), в котором помещен и стих «Кажется мне»».

Прощу прощения, но не удержусь, чтобы не процитировать, не вспомнить, что же зацепило туркменского поэта в творчестве Максима Танка. Сперва, правда, хотелось бы засвидетельствовать, что стих, написанный в 1964 г., в некотором смысле программный для белорусского поэта. И это видно по его письму Якову Хелемскому: «Дорогой дружок Яков! Не хочу сейчас загружать тебя своими новыми стихами, так как знаю, что тебя и так белорусы загрузили на все 100 %. Поэтому посылаю тебе только одно стихотворение, мне кажется, на очень актуальную тему…»

1960-е годы — расцвет поэтического таланта Максима Танка, который в совершенстве знал европейскую поэзию и к этому времени достиг зрелости своего поэтического и художнического мастерства, имея за плечами богатый жизненный опыт. И это не могло не импонировать туркменскому поэту Кериму Курбаннепесову. Они — белорусский и туркменский пророки — тянулись друг к другу. Вот читаю заметку в дневнике Максима Танка от 16 апреля 1986 г.: «Пишет А. Карлюкевич, что К. Курбаннепесов готовит на туркменском языке сборник моих стихотворений…» Я уже и сам забыл о том моем письме из Ашхабада. Но, верно же, была для него причина?..

И в целом логично, что Максим Танк остановил свой переводческий выбор именно на стихотворении «Три случая из жизни Каменэ»…

Керима Курбаннепесова очень ярко охарактеризовал другой классик туркменской литературы, его старший товарищ по творческому цеху — Берды Кербабаев: «Есть у нас Керим: его надо знать — это великий поэт, он соединяет в себе мудрость минувших веков и то, что еще только придет к нам в будущем. Это поэт на развилке всех трех времен».

Сохранилось и письмо Максима Танка, адресованное Кериму Курбаннепесову, от 18 августа 1978 г.:

«Дорогой друг Керим!

Сердечное спасибо за Ваше поздравление с присуждением мне Ленинской премии. Разрешите и мне крепко пожать Вашу руку — руку собрата по оружию — чудесного поэта. На родине которого мне выпало счастье однажды побывать и незабываемое воспоминание о котором я свято храню в своем сердце.

Я очень рад, что книга моих стихов понравилась Вам и что строки из стихотворения «Красива ли ты» стали эпиграфом Вашего стихотворения, получившего широкое признание туркменских читателей. Я знаю, что часто эпиграф, как эхо в горах, может вызвать целую лавину, значительно превосходящую его звучание.

С любовью и братским приветом

Максим Танк».

Личность Керима Курбаннепесова всегда привлекала к себе белорусов. С народным поэтом Туркменистана дружил Микола Калинкович. Частым гостем в доме уважаемого шахира в 1985—1988 гг. был и я. О чем только не говорили… Я расспрашивал про туркменскую литературу. Керим-ага — про белорусскую. Один из его переводов — стихотворение народного поэта Беларуси Пимена Панченко «Поэма стыда и гнева» — появился в туркменской печати благодаря моему подстрочнику. Хотя уже была к тому времени публикация в журнале «Нёман». Я показал ее Кериму Курбаннепесову,

но поэт попросил подстрочник… Что тоже говорило о его ответственности в работе с текстами.

А не первым ли белорусом, проложившим тропинку к дому Керима Курбаннепесова, был военный журналист Дмитрий Песляков. Об этом я расскажу в беседе, которую записал много лет назад с самим Дмитрием Ефимовичем.

— Дмитрий Ефимович, как познакомились с Керимом Курбаннепесовым?

— Стоял жаркий июль 1957 года. Я служил редактором дивизионной газеты в Ашхабаде — «Советский воин». Типография, сама редакция находились в Ашхабаде, как и штаб дивизии. А вот части соединения были разбросаны по разным районам. Были и в Ашхабаде, и в поселках юга Туркменистана. К тому времени я знал многих представителей творческой интеллигенции Ашхабада. Часто встречался с Кара Сейтлиевым, Берды Кербабаевым. Берды-ага жил через дорогу от редакции по улице Хивали Бабаева. Писатель, несмотря на занятость, часто наведывался к воинам, к нам, в редакцию многотиражки. И нас приглашал к себе в дом. Подружился писатель и с нашим комдивом — Героем Советского Союза генерал-майором Тагиром Кусимовым, уроженцем Башкортостана.

Интересна такая деталь. Очень любил Берды-ага читать солдатские письма в редакцию. Писал Кербабаев и сам для солдатской газеты. Хотя, казалось бы, кто нас, кроме как в военном городке, читает. Это ведь даже не окружная газета «Фрунзевец»… Но принесет статью, уточнит, в каком номере должна выйти. Обязательно попросит газету с публикацией. Вот каким было внимание классика туркменской литературы к людям в военной форме. Такие же теплые отношения сложились и с Кара Сейтлиевым.

Берды-ага и Кара и познакомили меня с Керимом Курбаннепесовым. Однажды утром привели его в редакцию многотиражки. Мне кажется, помню даже слова старейшины туркменского писательского цеха: «Знакомься… Это — Керим Курбаннепесов, вчерашний солдат, поэт, подающий большие надежды». Тогда я и узнал, что молодой поэт работает литконсультантом в Союзе писателей Туркменистана, что он уже автор двух детских книг.

— Как часто, Дмитрий Ефимович, Керим Курбаннепесов бывал в гостях у воинов?

— Так получилось, что в скором времени штаб дивизии, а вместе с ним и редакцию, типографию перевели в Кизил-Орват. Как будто путь от столицы до нашего гарнизона не очень близкий. Но Керим Курбаннепесов приезжал в Кизил-Орват буквально каждый месяц. И чаще всего с Кара Сейтлиевым и литературным критиком Абдуллой Мурадовым. Встречались с солдатами, офицерами в разных частях и подразделениях, читали свои произведения, рассказывали о туркменской литературе. Помню, какими громкими аплодисментами благодарили солдаты за чтение Керимом отрывков из будущей поэмы «Дед Таймаз». Кара Сейтлиев — он тогда уже был министром культуры — всегда подчеркивал, что привез в Кизил-Орват новые стихи. Через некоторое время мы познакомились и с завершенными главами новой поэмы Керима Курбаннепесова.

— Вы вспомнили «Деда Таймаза». У главного героя был реальный прообраз…

— Однажды Керим уговорил меня поехать в колхоз «Большевик», что недалеко от Геак-Тепе. Не знаю, к большому сожалению, как позже называлось это сельскохозяйственное предприятие. В «Большевике» мы познакомились с Героем Советского Союза Таганом Байрамдурдыевым. Представил его поэт как человека, который стал прообразом деда Таймаза. Мы разговорились, присмотрелись один к другому — и вдруг выяснилось, что мы знакомы по жестоким боям под Сталинградом! Байрамдурдыев воевал пулеметчиком, а я был военным разведчиком. Войну «дед Таймаз» прошел от Сталинграда до Эльбы. Героя получил за бои в Восточной Пруссии. Отличился при форсировании Одера в

составе 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Вместе с Керимом и Кара Сейтлиевым мы с нашим комдивом генералом Кусимовым побывали в Кара-Калинском центре субтропических растений. Тагир Таипович был уникальным человеком. Кавалер двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й степени. Звание Героя Советского Союза получил за мастерское руководство кавалерийским полком. Кстати, Днепр кавалеристы Кусимова форсировали на Гомельщине. И что интересно — дважды. Освобождали Лоевщину. Более 60 солдат и офицеров башкирской кавалерийской двизии были удостоены звания Героя Советского Союза! Кусимов закончил две военные академии, был человеком на редкость любознательным, И, как мне показалось, им с Керимом Курбаннепесовым было о чем поговорить. Может быть, способствовало то обстоятельство, что в Туркменистан будущий генерал попал еще подростком. В 1921 году, когда у молодой Советской республики хватало всяческих бед, когда люди голодали, отец и сын Кусимовы отправились в хлебный край, пасли овечек в степях Казахстана, Туркменистана.

На той встрече в Кара-Кале (и во время других поездок с Керимом по республике) я понял характеризовавшую его как человека черту характера. Умел Керим-ага (кажется, уже в те годы начал обращаться к нему «ага», то есть, как к старшему) восхищаться — и людьми, и природой родного края. Всегда стремился открыть для себя что-то новое. Был любопытен, никогда не стеснялся задавать вопросы. Не боялся выглядеть незнающим.

— Дмитрий Ефимович, после Туркменистана вы служили в Узбекистане, в Ташкенте, в редакции легендарной газеты «Фрунзевец»…

— Легендарной — и для белорусской литературы. Потому что с газетой «Фрунзевец», редакция которой находилась на улице Саперной, в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, активно сотрудничал народный поэт Беларуси Якуб Колас.

— А уже после войны работали и сотрудничали с газетой многие белорусские литераторы: прозаик Василь Ткачев, кинодраматург Олег Буркин… В «Фрунзевце» и мне посчастливилось опубликовать небольшой материал о Кериме Курбаннепесове. Кстати, во второй половине 1980-х годов писал для «Фрунзевца» и о белорусских писателях: о судьбе поэта Сергея Новикова-Пеюна, об Алесе Адамовиче, Николае Калинковиче… Вы, когда жили в Ташкенте, не забывали Туркменистан?.. Продолжали поддерживать отношения с Керимом Курбаннепесовым?

— Как же иначе?.. И тогда, когда был в Ташкенте, и позже, когда переехал на службу в Алма-Ату. Керим из тех людей, познакомившись с которыми, дружбу не потеряешь никогда. Он притягивал к себе. Уверен: он был хорошим другом. С ним, замечу, поступали по-разному — и близкие, казалось бы, товарищи. Но он всегда оставался Другом с большой буквы.

Когда меня перевели на службу в «Фрунзевец», в редакцию Туркестанского военного округа, я и тогда продолжал поддерживать отношения с туркменскими писателями. Через некоторое время меня назначили главным редактором газеты Среднеазиатского военного округа «Боевое знамя». Пришлось переехать в столицу Казахстана. И там, в Алма-Ате, мы встречались с Керимом. Однажды наша застольная беседа проходила с участием моих фронтовых друзей — казахстанских литераторов, панфиловцев, — полковником в отставке Дмитрием Снегиным и доктором филологических наук, Героем Советского Союза Маликом Габдулиным. Дмитрий (Снегин тогда редактировал, если не ошибаюсь, журнал «Простор») замечательный поэт, печататься начал еще в 1930-е годы. Фактически из литературы пошел на фронт и в литературу вернулся после войны. Я очень полюбил стихи фронтовика, который командовал артиллерией в Панфиловской дивизии...

Нужно было видеть, с каким интересом расспрашивал Керим-ага Малика Габдулина об их фронтовой жизни, о творческой работе. Тогда литературовед возглавлял Алма-Атинский педагогический институт. Много печатался. Керима всегда окружали интересные люди. Видно, в дополнение к огромному таланту, подаренному ему природой, туркменским народом, желание открывать людей, входить вместе с ними в широкий мир и питало его вдохновение. Помогало осуществлять многие художественные открытия.

Такие воспоминания сохранилась у Дмитрия Песлякова, белоруса, о великом туркменском поэте Кериме Курбаннепесове.

Среди гостей Туркменистана — и Бронислав Спринчан, русский поэт Беларуси.

Совсем недавно мне в руки попал ежегодник «День поэзии — 1972», представляющий собой сборник стихов поэтов разных поколений. Под общей обложкой книги, которая вышла в минском издательстве «Мастацкая літаратура», встретились Микола Арочка, Иван Арабейка, Раиса Боровикова, Марина Барсток, Петрусь Бровка, Констанция Буйло, Зиновий Вагер, Анатоль Верабей, Борис Ганкин, Людмила Гончарова, Виктор Гордей, Нил Гилевич, Анатоль Гречаников, Леонид Дайнеко, Татьяна Дмитрусева, Марьян Дукса, Людмила Заболоцкая, Алесь Звонак, Василь Зуенок, Артур Вольский, Кастусь Ильющиц, Ольга Ипатова, Казимир Камейша, Галина Корженевская, Владимир Короткевич, Галина Карпова… Первая книга Констанции Буйло вышла в 1914 году, у других авторов стихи в поэтическом ежегоднике стали одними из первых публикаций. Рядом с белорусскоязычными поэтами в «Дне поэзии — 1972» выступили литераторы, которые писали на русском языке, — Эдуард Касперович, Петр Касьяненко, Наум Кислик, Игорь Малашков, Василь Пак, Леонид Рашковский, Юрий Сакович, Давид Симанович…

Не надо забывать, что 1972 год — юбилейный для Советской страны. 50 лет со дня создания СССР. Составитель, редколлегия, издательство приняли в связи с этим следующее решение: представить в переводе на белорусский язык стихи поэтов всех советских республик. С Туркменистаном читатель познакомился через поэта Кара Сейтлиева. Юрась Свирка перевел его стихотворение «Гастелло», посвященное легендарному летчику-белорусу. Но девять сейтлиевских строф — это не единственные «туркменские» страницы белорусского «Дня поэзии — 1972». Со стихотворением «Туркмения» в ежегоднике выступил Бронислав Спринчан.

«Рассвет и свежесть рощицы, // И переливы нив. // Искусные ковровщицы // Сплели в один мотив», — это начало «поэтического отчета» Бронислава Петровича о путешествии в Туркменистан.

Так получилось, что с Брониславом Спринчаном мы встречались не часто. Оно и понятно. Из разных поколений. Бронислав Петрович родился в 1928-м… Я — в 1964 году. Но в 1990—2008 гг., почти до самой трагической смерти поэта, все же встречался с Брониславом Петровичем, не однажды разговаривал с ним. Есть у меня и книга с его автографом. Но вот о Туркменистане не поговорили. А ежегодник «День поэзии — 1972» попал мне в руки не так давно. Уже после смерти поэта.

Над руслом оросительным —
Зеленый клин земли.
Рисунок выразителен,
Как стих Махтумкули.

В ковре с такой фантазией
Завязаны узлы,
Что весь он дышит Азией,
Как эпос «Гёр-оглы».

Творение отменное.
Гляжу я на ковер
И вижу всю Туркмению
От моря и до гор.

О своем интересе к «туркменскому» стихотворению Бронислава Петровича я рассказал его сыну — Вадиму Спринчану. Он работал тогда

редактором отдела поэзии журнала «Полымя».

— Да, отец был в Туркменистане, — сразу вспомнил Вадим Брониславович. И принес мне в подарок две книги стихов отца — «Ясень» (Минск, 1973) и «Свет любви» (Минск, 1988).

Открываю «Ясень», обложку которой, заставки отдельных страниц оформили замечательные белорусские книжные графики Владимир и Михаил Басалыги. Но уже в книге «Ясень», которая вышла через год после «Дня поэзии — 1972», стих называется иначе — «Туркмении». Автор тем самым не просто рассказывает об открытии неизвестной ему страны, а обращается к Туркмении, делится своими впечатлениями адресно. Произведение написано в 1971 г., по свежим воспоминаниям о поездке:

С возвышенными думами,
Величествен
И прост,
Туркмен
Над Каракумами
Поднялся в полный рост.

Я рад,
Что белорусские
Машины помогли
Ему прямыми руслами,
Широкими и узкими,
Заткать ковер земли.

Силен Серпом и Молотом,
Он
Серый край пустынь
Оправил «белым золотом»
И позолотой дынь.

Ухоженной кетменями,
Украшенной трудом,
В лучах земле Туркмении
Цвести живым ковром.

В «Ясене» — три «туркменских» стиха. Кроме «Туркмении» — еще и «Река жизни», «Захмет». Читая произведения Бронислава Спринчана, вспоминаю поэзию Владимира Луговского, Николая Тихонова, их стихи, посвященные Туркменистану. Русские поэты открывали Восток в 1930-е годы. «Мне довелось побывать и в пустыне, и на государственной границе, в горах Копет-Дага, проплыть по Амударье от Керков до Чарджоу на парусном ялике, — писал Луговской в автобиографии. — Так для меня открылась тема Средней Азии…»

Бронислав Спринчан тоже по-своему совершает открытия. Их смысл привязан к осознанию главных ценностей окружающей писателя действительности, в которой фундаментом жизненного устройства является труд, созидательное начало.

«Даже в желтой пустыне // Каракумский канал // Переплесками синими // Глухоту доконал. // Ивы // слева и справа. // Воздух мягок и свеж. // Обозначили травы // Жизни новый рубеж», — это из стихотворения «Река жизни».

Любые сравнения в делах искусства хромают. Но я снова задумался о Луговском (кстати, у Бронислава Спринчана есть прекрасное стихотворение «У скалы Владимира Луговского в Ялте», написанное в 1966 г.). Лирическая эпопея русского поэта «Большевикам пустыни и весны» (а есть у него и другое название — «Пустыня и весна»), наверно, и для Бронислава Спринчана была путеводной звездой в открытии Туркменистана.

Третьим в подборке из поездки 1971 г. (все три стихотворения вошли в книгу избранного) стало стихотворение «Захмет».

Глядя в гаснущий костер,
Рассказал мне аксакал,
Как, пескам наперекор,
Люди строили канал.

Вкалывали от души
Украинец и казах…
Русской выделки ковши
Отражались в их глазах.

…Медленно журчала речь
Над вечернею рекой,
Мне из речи смысл извлечь
Помогал туркмен рукой.

Иллюстрируя рассказ,
На песке чертил предмет…
И при этом
Всякий раз
С жаром выдыхал:
«Захмет».

И старался он не зря,
Над водой, где берег крут,
Понял я без словаря,
Что «захмет» по-русски — труд…

«Туркменский цикл» Бронислава Спринчана опубликован также в книге избранных стихов «Свет любви» (Минск, 1988). Предисловие к этому объемному фолианту написал замечательный белорусский поэт, литературовед Олег Лойко. «В целом есть основание у критиков говорить, что поэзия Бронислава Спринчана глубокими корнями идет в белорусскую национальную почву. Думается, что в его поэзии, как и в прозе Ч. Айтматова, национальное начало оказалось настолько определяющим, что языковая форма не смогла его затушевать».

Бронислав Спринчан — замечательный переводчик. Он успешно переводил прежде всего современных белорусских поэтов, и эти переводы составили антологию белорусской советской поэзии. Но, как это сегодня видно, после переводов поэтического наследия классика белорусской поэзии Максима Богдановича, — через переводы современников он шел к более значительному, что уже само по себе могло составить цель жизни — цель жизни одного человека. Бронислав Спринчан, несомненно, один из лучших переводчиков поэзии Максима Богдановича на русский язык.

Особенно хочется подчеркнуть еще одно в Брониславе Спринчане, без чего его как поэта не было бы, чего в стихах непосредственно не разглядеть. Я имею в виду его особенное стремление к постижению прекрасного, того, что создано человеком в слове, его завидную память на стихи самых разных поэтов и еще — его чувство гармонии, формы, слова…»

До последних дней своей жизни Бронислав Спринчан жил ощущением настоящей гармонии, высокой художественной формы. Замечательно, что это ощущение связано и с туркменской темой — туркменской темой в творчестве белорусского поэта, украинца по национальности и рождению, литератора, который писал по-русски…

В 1984 году в минском «Юнацтве» вышла книга, знаковая для поэта, прозаика, публициста, переводчика Янки Сипакова «Пять струн». В подзаголовке: «Книга настроений». Почему знаковая? Янка Сипаков много путешествовал по СССР. И очень тепло и возвышенно рассказывал о встречах, открытиях других краев. Через много лет после издания писатель подписал мне книгу так: «Уважаемому Алесю Николаевичу Карлюкевичу — чтобы еще раз засвидетельствовать, что я, так же, как и Вы, очень далекую и манящую Туркмению полюбил искренне и навсегда. Янка Сипаков. 3 января 2007 года». Простите за нескромность, но очень уж хотелось подчеркнуть «туркменский характер» автографа.

О Туркменистане рассказывается в очерке «Пять струн». Постараемся заглянуть хотя бы чуть-чуть в сущность того, что подсмотрел, увидел в Туркменистане путешественник Янка Сипаков: «Пустыня была зеленая. Еще в самолете, подлетая к Красноводску, перед которым как раз рассвело, я нетерпеливо вглядывался в незнакомые мне пейзажи, настойчиво искал желтый цвет, однако барханы везде, как окинуть взглядом, были зеленые. И потом, высокой дорогой до Ашхабада, опять не отрывался от иллюминатора, но песок, словно дразнясь со мной, казалось, полностью и навсегда сменил свой цвет — он был зеленый, и мне уже почудилось, что самолет заблудился и везет нас куда-то не туда. Я тогда еще не знал, что и из космоса весенние Каракумы выглядят зелеными. Это уже потом, позже узнал, что, глядя на Землю через иллюминатор космического корабля, Юрий Гагарин тоже удивлялся: «Но Туркмения вся зеленая! И это называется пустыня?..»

Пройдут годы — и к своим туркменским воспоминаниям Янка Сипаков вернется в книге «Дневник настроения». «Мне очень хотелось увидеть Каракумы, — вспоминает Янка Сипаков в книге, изданной в 2007 г., — и поэтому, прилетев в Туркмению, в тот же день попросил Ахмета Курбаннепесова, который встретил меня в ашхабадском аэропорту, показать мне

пустыню,— я, прямо говоря, давно бредил ею…» Такое признание, такая влюбленность, согласитесь, дорогого стоит.

...Очень долго жил в Туркменистане белорусский прозаик Василь Ткачев. Многие его рассказы (в том числе и наполненный любовью к Ашхабаду рассказ «Казан») из книги «День в городе» написаны именно там. И мы об этом уже вспоминали… А вот и новые факты, новая подпитка белорусского художественного пространства. Речь об Алесе Бадаке и его рассказе. Да, толчком для новых замыслов, новых решений в рассказе Алеся Бадака «Идеальный читатель» послужила поездка писателя в Туркменистан, его участие в ашхабадской книжной выставке «Золотая книга». Неслучайно через годы Алесь Бадак выступил составителем изданной в Минске книги «Святая любовь» в серии «Созвучие сердец: Беларусь — Туркменистан»... И эти «узелки памяти» — конечно, далеко не все, о чем стоило бы рассказать, написать более подробно и широко…

Теперь на моем рабочем столе лежит огромный фолиант — первый том Собрания сочинений выдающегося туркменского писателя Агагельды Аланазарова. Название тома — «Солнечный пароход». Привез его в Минск с книжной выставки в Ашхабаде бывший заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Николаевич Лаптенок. Многое в книге мне знакомо — в том числе и благодаря переводам Якова Акима. А теперь, надеюсь, и наши белорусские переводчики постараются, помогут прийти юному читателю к новым стихам, новой книге Агагельды Аланазарова.

Как помогла познакомиться с его взрослыми стихами Юлия Алейченко, опубликовав свой перевод из поэзии Агагельды Аланазарова в 12-м номере «Полымя» за 2015 год...

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

Перевод с белорусского Олега ПУШКИНА.

Окончание следует.



Из почты журнала

Долго будет мне Флорида сниться

О самом солнечном городе Сент-Питерсбург и не только…

1

Случаются иногда в жизни удивительные встречи. Они поражают своей неожиданностью, ловишь себя на мысли: ну никак не мог даже и подумать, что это может случиться, что такое придется услышать, да где — на краю света, на берегу Мексиканского залива…

Однако все по порядку. Три зимы довелось нам с женой прожить в американском Бостоне — помогали дочери растить сына, нашего внука. Детский садик очень дорогой, да и работает с 8 до 14.30. Даешь свои харчи, пакуешь тормозок — и плати 700 баксов. А если на полный день отдать малыша, нужно еще больше раскошелиться: вбухать 1300 «зеленых». Конечно, кто имеет работу, худо-бедно сводит концы с концами. Так что Америка — рай не для всех.

И все же райское место на американской земле есть! И называется оно — Флорида. В переводе с испанского — цветущая земля. И это действительно так: здесь круглый год что-то цветет, снега и мороза не бывает. Всегда ласковое солнце и теплые волны Мексиканского залива. Это райский уголок для пенсионеров: некоторые обосновались здесь на постоянное жительство, другие приезжают на зиму, как перелетные птицы, из того же Бостона или еще более холодного и снежного Чикаго.

И самое удивительное — есть во Флориде город Сент-Питерсбург, тезка российского Санкт-Петербурга. Почему такое название? История такова: в начале минувшего столетия русский инженер, родом из Питера, строил здесь дома, железную дорогу, проявил себя с самой лучшей стороны. Из уважения к нему поселение и получило новое имя. Сейчас это красивый город, в котором живет более двухсот тысяч человек. И живет в нем сын знаменитого белорусского поэта эмиграции Рыгора Крушины — Игорь. Он профессиональный переводчин-синхронист, с делегациями объехал более полусотни стран, много раз посещал Советский Союз, возил делегации в Чернобыль, часто гостил на родине отца — в Слуцком районе Минской области.

Игорь Казак (настоящая фамилия отца Казак, Крушина — литературный псевдоним) перевел на английский язык «Прыпавесці» Василя Быкова, книгу известного русского писателя Аркадия Аверченко, несколько моих новелл для англоязычной книги, произведения других авторов. И что удивляет — Игорь ни одного дня не учился в белорусской школе, а мы с ним переписывались и говорили на родном языке.

— Отец читал мне свои стихи. Я слушал, старался понять. А потом начал их переводить на английский, русский языки, — пояснил Игорь этот феномен. Кстати, он отлично владеет немецким, испанским.

Жена Игоря, Раиса, этническая татарка, рожденная в североуральском городе Курган, удивила белорусскими частушками. Откуда их знает? Первый муж ее — белорус из небольшого городка Чериков. И вот представьте себе: мы сидим в квартире белоруса Игоря Каза-

ка, вспоминаем Слуцк и Чериков, реку Сож, в которую впадает моя родная Беседь: Чериковский и Костюковичский районы Могилевской области — соседи. За широким окном качаются под ветром ветви пальм, будто дерево обмахивается веером, сыто плещутся о песчаный берег волны Карибского моря. Ну как тут не воскликнуть: мир действительно тесен!

Я с интересом слушаю рассказ Раисы:

— Когда дети были малые, так мы почти каждое лето приезжали из Ленинграда в Чериков. Муж, Валерий Лукьяненко, работал в троллейбусном парке, ремонтировал вагоны. Я работала на стройке. Дети наши — Максим и Динара — полюбили Беларусь. Свекровь Полина баяла им сказки, пела песни. Свекор, дед Микола, и теперь живет в Черикове. Я полюбила белорусов за их трудолюбие, доброжелательность. Они умеют и работать, и отдыхать, и веселиться. Между прочим, помню несколько белорусских частушек.

— Могу открыть вам тайну. Собирать зауральские частушки я задумала в Беларуси, — призналась Раиса. — В книжку я включила и нецензурные частушки.

Составительница книжки частушек была удовлетворена дружной поддержкой. Но в жизни смех и слезы ходят рядом. Раиса рассказала, как внезапно инфаркт свалил мужа. Динара вышла замуж, оказалась во Флориде, за ней потянулась и мать. Здесь она и встретилась с Игорем. У него умерла жена, японская красавица Кимия. От первого брака у нее осталось двое детей. Они перебрались в Вашингтон. Игорь помогал им, оплачивал учебу, а как выучились, об отчиме забыли. Остался Игорь один в чужой стране. Раиса искала любую работу, хоть бы уборщицей, ходила по домам. Дошла до Игоревой квартиры, начала убирать у него. А потом стала и хозяйкой квартиры — встретились два одиночества.

Рассматриваем фотографии. Вот Раиса с Игорем на интернациональном фестивале, который проходил в Сент-Питерсбурге в октябре 2014 года. Раиса в национальном татарском костюме, она с большим успехом исполняет частушки, Игорь в белорусской рубахе-вышиванке и зимней шапке — представитель белорусской диаспоры. Раиса любит фотографировать, предложила снять Игоря и меня в вышиванках под пальмами на фоне пенистых волн залива. Должен сказать, снимок получился отличный. Сфотографировала нас у портрета Рыгора Крушины: сын читает стихи отца, а я внимательно слушаю. Может, душа белорусского поэта-изгнанника услышит и возрадуется: его помнят, не забыли. Кстати, в 2007 году минское издательство «Кнігазбор» выпустило солидный том стихов и поэм Рыгора Крушины «Кантата самотных». Не могу не отметить основательную статью о творчестве поэта Михася Скоблы — критика и тоже поэта.

2

Вечером мы с Игорем выбрались в город, женщины остались хозяйничать дома. Впечатлила длинная, прямая как стрела дорожка-тротуар, обсаженная пальмами с обеих сторон, по которой то и дело проносились велосипедисты. Деревья громадные, гладкоствольные, внизу, на комлях, наросты, они прикрывают корни в жару. В воздухе плавает аромат духов, дорогих сигарет, аппетитный запах шашлыков. Заглянули сквозь стеклянную дверь в танцевальный зал: там шел урок, разучивали свинг — рывком партнеры прижимались, потом отворачивались, поднимали то одну ногу, то другую, махали назад, словно брыкались. Довоенный танец. Здесь особенно пахло духами, какими-то цветами. Дамы и кавалеры потели, уж очень они старались в танце.

Удивила миниатюрная библиотека на улице: под крышей небольшой шкафчик, под стеклом книги. Открывай дверцы и бери книжку. Прочитаешь, можешь вернуть назад или отдать соседу. Книжный фонд мини-библио-

теки около полусотни томов. Интересная задумка!

На противоположной стороне улицы — кафе, рестораны. Слышны голоса, смех, громкая музыка, здесь пиво, вино рекою. Столики стоят внутри и снаружи. Кое-где очередь — народ ждет свободных мест. Здесь все счастливые, веселые, все радуются жизни. Апрельский вечер тихий, теплый и ласковый, еще нет летней изнуряющей жары. Громадные пальмы, словно часовые, охраняют беззаботную жизнь аборигенов и многочисленных гостей города.

Не верится, что где-то стреляют, люди убивают людей. Почему? Зачем? Вечные вопросы, на которые никто не дает ответа. А мы же все вместе летим к звездам, и места на земле хватит всем. И финал человеческой жизни одинаков и неизбежен — у кого раньше, у кого позже…

По дороге домой завернули в клуб пенсионеров. В бильярдной шло упорное сражение. Игроки седовласые, жители ближайших домов. Все они знали друг друга, дружно приветствовали Игоря.

— Познакомься. Наш земляк из Бобруйска — Иосиф.

Коренастый, улыбчивый, симпатичный еврей крепко пожал мою руку.

— Очень рад видеть земляка. Давно в Америке? Сколько здесь будете?

Я коротко отвечал на вопросы Иосифа. Игорь тем временем расставил пирамиду. Пришлось и мне взяться за кий. Игорь — опытный игрок, первую партию легко выиграл. Но постепенно и у меня прорезался удар — рука не забыла, как нужно забивать шары. Другую партию выиграл я, так что победила дружба. Больше не играли: Раиса позвала домой.

3

— Забыл вам показать наш герб «Погоню» на моей машине, — признался Игорь. — На заднем бампере.

Утром, когда отъезжали от дома, я первым делом осмотрел задний бампер: посредине, на темном фоне красовался рыцарь на коне.

Мы ехали по улицам города, прямым, широким, обставленным невысокими белыми строениями. Между ними втиснулись кусты азалии, усыпанные красными, желтыми цветами. Раиса рассказала о клубе, где по вечерам они поют русские песни.

— Белорусов здесь мало. Да они и не говорят на роднай мове, — вздохнул Игорь.

— Леонид, а вы можете спеть какую-нибудь белорусскую песню? — подала голос Раиса. — Я б хотела послушать…

Недолго думая затянул я «Ой, сівы конь бяжыць…». Когда кончил петь, Раиса воскликнула: «Браво!» Игорь на минуту отпустил руль, тоже зааплодировал. А я невольно подумал; по улицам американского города Сент-Питерсбурга катит хонда с «Погоней», за рулем авто — седой белорус, и усы у него седые, подковкой, а-ля Шевченко. Жена его — татарка, корни ее на Северном Урале, мать детей от мужа-белоруса. И ехали мы в форт Де Сото. Это крепость, которую когда-то построили испанские конкистадоры и дали ей имя своего вожака. Теперь сюда едут тысячи туристов со всей Америки, Европы, слава о здешних пляжах прокатилась по всему миру. Кстати, в Книге рекордов Гиннесса есть запись: с 1967 по 1969 годы в Сент-Питерсбурге было 700 солнечных дней. Этот город действительно солнечная столица нашей планеты.

До форта Де Сото дорога недолгая. И вот мы уже на длиннющем пляже с мелким белым песочком. Здесь комфортные паркинги, просторные, аккуратные туалеты, где можно сесть, переодеться. Туалеты в Штатах неслучайно называются — рэструм (комната отдыха), и везде они бесплатные. Впечатлили длинные столы с крепкими лавами в тени деревьев, под крышами. Таких открытых павильонов больше десятка, в них празднуют даже свадьбы. Отмечают дни рождения. Каждый павильон под номером, и его паркинг имеет соответствующий номер, чтобы гости не блуждали.

Вода была довольно холодная, но молодые туристы, особенно туристки, активно купались. Отважился поплавать и я. Спасибо тебе, форт Де Сото. Правда, крепостных сооружений здесь я не увидел, но чудесный пляж буду помнить долго. Когда сильно припекло, мы отправились домой.

Вечером Игорь поставил диск: отец, Рыгор Крушина, читает свою поэму «На руінах пачуццяў». Поэма пронизана искренностью, голос автора мягкий, произношение отличное. Игорь презентовал мне диск на память.

4

Пишу после купания в сероводородном озере. О, это диво!

Озеро почти круглое, метров 200 в диаметре. Канатом с поплавками отделена вдоль берега полоса метров в 10—15, по ней, по кругу, плывут, идут люди. Почти всегда я доставал дно, утонуть невозможно. Все в шляпах, темных очках, в белых рубахах, потому что шея и плечи могут быстро сгореть. Словом, зрелище впечатляющее.

Народ в основном зрелого возраста, слышны русский, украинский, сербский языки, изредка — английский. В теплой, ласковой воде сидеть можно хоть целый день, но сердце может не выдержать, потому лучший вариант: передохнуть на берегу и снова — заплыв. И разговоры, разговоры… Здесь люди знакомятся, молодняк обнимается…

Услышав наш разговор, прилип к нам здоровый, крутоплечий мужчина.

— Откуда приехали, если не секрет?

— Какой секрет? Из Бостона. Из Минска.

— Хо, здорово! Я из Бостона. Из Питера. Меня зовут Георгий. А вас? — и смотрит на меня. А глаза у него серые, как оловянные, — он плавал без очков.

Я назвал себя, пожали руки. И начался монолог: о политике, об Америке, которая всюду лезет и которую он все больше не любит. Живет в Штатах 22 года, родом из Питера, 25 лет отслужил на Северном флоте, капитан первого ранга. Служил на подводных лодках, теперь пишет книги об истории Российского флота. Он говорил и говорил: про Украину и Россию. Про Путина и Обаму. И не давал вставить ни слова. Я спросил, как он относится к Валентину Пикулю. «Потрясающий писатель». В этом я с ним полностью согласен.

Слушал я и думал: Георгию катастрофически не хватает русскоязычных собеседников и слушателей. Жене он давно надоел, она ему — тоже. Та и теперь сидела на берегу, звала его, но он, обрадованный, что нашел слушателей, не мог от нас оторваться. Монолог не прекращался: завел речь о попах, которые «опять сели на шею русскому народу», вспомнил книгу Лео Таксиля «Забавное Евангелие». Я сказал, что читал эту книгу. Георгий еще больше оживился.

— Если не секрет, как ваша фамилия? — спросил Игорь.

Подводник назвал себя, похвалился, что издал три книги об истории флота, пишет четвертую. Спросил мою фамилию, чем занимаюсь, пришлось признаться. Глаза Георгия сделались круглыми, когда услышал, что у меня вышло около двух десятков книг. И даже в Нью-Йорке: русскоязычная и англоязычная…

— Я найду вас в Интернете. Я напишу вам…

На этом мы тепло простились с историком Российского флота.

По дороге домой завернули в город Сарасота. Ходят слухи, что здесь имеет свой дом Михаил Горбачев. Искать это здание мы не стали, а вот оригинальный памятник нашли. В шутку его называют «Полная капитуляция». И вот почему: матрос, вернувшийся с войны, обнимает и целует любимую подругу, низко наклонил ее, как в аргентинском танго. Девушка задрала вверх ногу от наслаждения, готовая полностью отдаться горячему моряку. Уникальный памятник! На его фоне любят фотографироваться влюбленные парочки. Сделали это и мы, правда, не в такой смелой позе.

— Завтра кончается пост. Я могу съесть яичко! — радостно воскликнула Раиса.

Я понял ее чувства, потому как люблю куриные яйца, и вареные, и сырые. Но утром первым подал радостный голос Игорь:

— О, расцвела орхидея! — и показал на фиолетово-розовый крупный цветок на довольно высоком стебле. Внизу лопушились листья, гладкие, толстые, как у фикуса. — Это вам подарок. Вот еще бутон. Будет новый цветок. Орхидея не любит солнечных лучей. Вот такая она, таинственная красавица.

Слушая Игоря, я вспомнил земляка Владимира Усеню, вилейского предпринимателя, директора фирмы «Орхидея», который спасал меня на шоссе. Тогда испортилась моя машина — как говорят водители, полетело сцепление. Я начал голосовать, все авто проносились мимо, одно остановилось. Водитель, довольно молодой человек, подергал рычаг переключения скоростей.

— К сожалению, помочь не могу. Тороплюсь, дорога далекая. Вызывайте эвакуатор.

— Я еду на похороны Василя Быкова. Везу ему букет васильков.

Человек внимательно посмотрел на меня, на синие васильки на заднем сиденьи.

— Что ж, оставить вас не могу… Быкова я очень люблю…

Позвонил куда-то, сообщил, что задержится, затем достал буксирный трос….

В Минске, на моей квартире, познакомились ближе. Владимир рассказал, что занимается строительством в Минской области. Денег за подвоз не взял, попросил подписать книгу. Подарил ему «Ларысу, альбо Каханне аўтамабіліста». Остается добавить, что о происшествии на дороге я написал рассказ «Букет васильков», он печатался в «Полымі», а потом и в «Нёмане». Вот какие воспоминания пробудила флоридская орхидея.

5

Игорь предложил съездить на рынок: сегодня суббота, самая оживленная торговля. Сначала заехали на фруктово-овощной рынок. Боже! Боже! Чего здесь только не было! Всяческие фрукты, самые экзотические: манго, дыни, арбузы, апельсины, ананасы, киви. А уж огурцов, помидоров, капусты — горы. Да, здесь можно быть вегетарианцем, как Игорь и Раиса. Правда, для нас Рая как-то сварила пельмени, Игорь готовил японские суши.

На рынке познакомились с пчеловодкой, она приехала с мужем из Молдавии, имеет шестерых детей, ей 51 год. Пасека у них большая — около трехсот семей. Как пчеловода, меня все интересовало: и порода пчел, и растения-медоносы.

— Уже отцвела акация. Вот свежий медок. На пасеке работы много. Тяжело. Думаем сокращаться. Дети еще малые. Помощники слабые.

Купил у нее полкило медку с маточным молочком за 10 долларов за килограмм.

Уже вечерело, когда мы отправились в гости к Ирене и Славику, они живут в этом же доме. Идем по длинной террасе — открытому коридору, навстречу с пластиковым пакетом, из которого торчит толстое полотенце, идет профессор-экономист Славик, коренастый, круглолицый. Он плавал в бассейне. Приглашает в квартиру. Ирена, сухощавая, смуглая, певучим голосом здоровается с нами.

— Білоруси це ж сусіди наші. Дуже приємно. Проходьте, сідайте.

Ирена и Славик в Америке давно, приехали из Житомира. Слава здесь защитил докторскую, больше двадцати лет читал лекции в разных университетах. После стаканчика коньяку беседа стала еще искреннее. Я поначалу называл хозяев по имени-отчеству, но они дружно запротестовали: зовите просто — Ирена и Славик.

Я рассказал о впечатлении от местного рынка, подарил хозяевам пластиковую коробочку меда в сотах со своей пасеки. Должен признаться, привез его

для Игоря и Раисы, но они настойчиво советовали подарить белорусский медок соседям. Презент им очень понравился.

— Слава, если не секрет, сколько вам годков?

— Не много. Всего восемьдесят пять.

— Ваш секрет долголетия?

— Движение. Плаваю в бассейне круглый год. Поменьше есть мяса. Больше фруктов, овощей. Вот и весь секрет.

— Ну и коньячок для искристости, — улыбнулся Игорь.

— По двенадцать капель не повредит, — весело молвил хозяин.

У меня было много воросов к профессору-экономисту: о современной экономике Штатов, о бюджетных проблемах, о медицинской реформе Обама-КЕРР. Слава начинал говорить, но тут же тему подхватывала Ирена и высказывала свое суждение, хоть она никакой не экономист, по образованию художник-дизайнер, работала на местной художественной фабрике. Короче, серьезной беседы об экономических проблемах не получилось, зато о детях и внуках я узнал все.

Вскоре заглянула соседка, тоже украинка, напомнила, что нужно собираться в храм, — там пасхальная служба, и что они будут ждать внизу. И говорила она по-украински. Вот чего не хватает нам, белорусам. Большинство нас и на родине, и за кордоном говорят не на родном языке: четыре столетия национального гнета отзываются неизгладимым эхом.

— Приходите завтра в бассейн, — сказал на прощание профессор Славик.

6

На улице еще темно. Праздничное пасхальное утро еще не наступило. Игорь с пяти часов колдует на кухне: готовит в дорогу японские суши — первая жена, японка, научила. А дорога у нас далекая — поедем в город Орландо, там всемирно известный Диснейленд, его еще называют — Микки Маус. Я чувствую себя неудобно — Игорь решительно отказывается от моей помощи, советует полистать книги, может, что заинтересует.

У Игоря большая библиотека, особенно много сборников белорусской поэзии — это отцовское наследие. Снял с полки толстенный том на 880 страниц «Краса і сіла» — это своего рода антология белорусской поэзии XX в. Несколько лет Михась Скобла публиковал в «Звяздзе» стихи наших поэтов под рубрикой «Краса і сіла», потом собрал все публикации, издал весомую, красивую книгу. Совершил он доброе дело. Книга увидела свет в 2003 году в издательстве «Лімарыус». В Минске я не видел ее, а в Америке, в библиотеке земляка зачитался ею. Заинтересовали стихи Рыгора Крушины: «Маім братам», «Празрыстыя коні», «Віяланчэль», «Спевы сняжынак». Даже названия произведений говорят о тонкости восприятия реальности, о тематическом разнообразии, о философских раздумьях. В стихотворении «Лебедзь чорная» поэт пишет:

Лебедзь чорная —
Гэта ж нашае жыццё.
У ноч бяззорную
Мы — апалае лісцё.

Любил Рыгор Крушина и палиндромы (игра слов: на гару — ураган. Ура! Зару на барабан).

В Игоревой библиотеке много самых разных изданий. Жаль, нет у него детей. Некому передать богатый кнігазбор.

Вот и побывали в гостях у Микки Мауса. Это громадный развлекательный комплекс «Уолт Дисней», который раскинулся на огромной территории возле города Орландо. Писать о нем можно очень долго, и все не опишешь, да и чтобы осмотреть его, понадобится не один день. Билет стоит, по нашим меркам, фантастическую сумму — 100 «зеленых», а это почти два миллиона наших недоминированных рублей. Игорь когда-то возил туда важных гостей, был знаком с коммерческим директором, послал ему три моих коротких рассказа в переводе на

английский, написал, что я с женой хочу посетить их центр. Видимо, рассказы понравились, директор выделил три контрамарки. Я с гордостью подумал: это мой первый гонорар в Штатах. Таким образом, мы сэкономили триста баксов. Раисе билет пришлось купить.

Удивляет сразу многотысячный поток посетителей, многие с детьми, целыми семьями, малышей несут на руках, везут в колясках. В колясках возят и взрослых толстунов, которых здесь немало. Некоторые сами ходят, мужчины, как шкафы. Женщины будто каракатицы, с толстенными ляжками, Трагедия Америки — толстые люди. Среди многочисленной обслуги выделяются студенты, парни и девчата, очень вежливые, вышколенные — все знают, могут ответить на любой вопрос.

Мы осмотрели, может быть, третью часть комплекса забав. Игорь сообщил, что Диснейленды Лос-Анджелеса, Парижа, Мадрида, Токио вместе взятые составят половину парков орландского гиганта. Во какая махина! Потому и дорогущие билеты, зато действительны они два дня, как и во многих музеях Америки. В Художественный музей Бостона билет стоит 25 долларов, имеешь право на два визита в течение десяти дней, ибо за один заход трудно все осмотреть. Практичные американцы!

Но вернемся в Диснейленд. Долго мы искали паркинг, потому что их несколько: разместить нужно тысячи машин. Наконец определили авто, сели в трамвайчик — несколько вагончиков на колесах. Впереди нас ждал шмон: проверка билетов, сумок, даже взяли отпечатки пальцев. Зачем? Чтобы запугать возможных террористов? Мол, найдем обязательно.

После шмона можно было ехать на скоростном поезде или плыть на пароме. Представляете масштабы?! Мы выбрали паром. Густая толпа устремилась на судно. Невольно подумалось: очень возможна перегрузка, народ стоял на палубе довольно плотно. Плыли недолго, расстояние метров триста, может, четыреста. Игорь тоже подумал о перегрузке, сказал: «Назад поедем поездом». Так мы и сделали, но до этого еще далеко — будет загадочный, таинственный мир Диснейленда.

Выбрались на Мэйнстрит — главную улицу. Мэйнстриты имеет каждое поселение Америки, как и Даунтауны — деловые центры. И вот шагаем по Главной улице, со всех сторон гремит музыка, а вот поет квартет мужчин, строго одетых, как манекены, но это живые мужики. Дальше пели, играли, танцевали только разнообразные, разнокалиберные куклы, даже целые ансамбли в национальных костюмах, жуткие чучела пиратов в масках.

О пиратах я вспомнил не случайно, потому что мы после фотографирования на фоне островерхих, спичастых замков направились к «Пиратам Карибского моря» — так называется один из пяти развлекательных центров. Посетителей повели по темным коридорам, заставленым бочками, наверняка без рома, просмоленные толстые канаты не позволяли людям ступить в сторону, уклониться от маршрута. Внезапно сверкнул огонь, раздался оглушительный залп орудия, потом засверкала молния, загремел гром. Людей начали рассаживать в лодки, которые возвышались на колесах, но вокруг была вода, в ней матово поблескивало множество монет, бросали монеты и наши соседи. Мы воздержались, лишних центов у нас не было. В лодки садили по четыре человека. И вот плывем. Впереди густой туман, с высоты шумит водопад. Под тусклыми фонарями стоят скелеты. Женщины ойкают от страха.

Впечатлила организованность, слаженная работа многочисленной обслуги. Тысячные потоки посетителей направлялись в нужное русло. Фабрика экстремальных удовольствий работает точно, как часы.

Не буду описывать другие парки. Это надо видеть, пережить самому. Честно говоря, я пожалел бы сто баксов на эти рукотворные чудеса, а вот сытые американцы любят всяческие ужастики. Неутолимая жажда зрелищ гонит их в Диснейленд, денег на экстремальные зрелища они не жалеют.

7

Добирались мы из Бостона до Сент-Питерсбурга самолетом. Рейс выбрали самый дешевый, зато самый неудобный и для нас, и для Игоря с Раисой; прилетали в аэропорт города Тампа в полночь, вылетали в шесть утра. До Тампы около 20 км, а надо же прибыть пораньше. Две бессонные ночи пережили наши друзья. За гостеприимство, за культурную программу, за щедрое солнце Флориды мы с женой очень им благодарны. Но и я сдержал слово: пообещал издать частушки, собранные Раисой, и книжечка «Мой миленок» увидела свет с моим предисловием.

Должен признаться, издать книжку было непросто, и вот почему. Издателей пугал раздел нецензурных, очень колоритных частушек. Я не сторонник нецензурщины, хотя деликатно колоритные словечки, соленые выражения в художественных произведениях можно и нужно использовать. Наши издатели хвалили частушки, но… Один мой давний приятель озорно блеснул глазами из-под очков: «Ах, какие частушки! Читались бы нарасхват. В сущности, все правильно. Не матюкается только тот, кто ничего не делает. Но литчиновники этого не понимают. Так что издать не могу. Не хочу, чтобы лишили лицензии. А в России пройдет запросто». Вот почему книжка «Мой миленок. Зауральские частушки» увидела свет в Смоленском издательстве «Край». Книжечка симпатичная, карманного формата, со вкусом оформленная, ее приятно взять в руки.

Наши издатели, критики-ортодоксы любят говорить о целомудренности белорусской литературы. Я тоже за целомудрие, но все должно быть в меру, чтобы наша изящная словесность не была подобна старой деве, которую никто не захотел приласкать, а книгу — купить и прочесть. Хорошо сказал мой друг: не матюкается тот, кто ничего не делает. Пришло время это понять чиновникам от культуры.

Полагаю, что моим читателям интересно было побывать в славном городе Сент-Питерсбурге, вдохнуть аромат его цветов, почувствовать теплоту ласковых волн Карибского моря, манящую притягательность песчаных пляжей. А мне Флорида действительно будет долго сниться и звать к себе. Но скажу честно: жить там я не хотел бы. Я люблю нашу зиму, люблю ослепительно белый, искристый снег, морозную тишину в зимнем лесу. А разве можно не любить осеннее багряно-золотое убранство леса! А весеннее черемуховое буйство! А синее поле льна ясным июньским днем, когда бескрайняя нива и купол неба сливаются за горизонтом. Да, у нас человеку нужно множество разных одежек, разной обуви, на деревенском подворье — немало дровишек. Во Флориде можно круглый год проходить в шортах и майке. Но все равно — это не для меня.

Прощай, благословенный край! Пусть счастливо живется твоим жителям, пусть ласково светит щедрое солнце твоим многочисленным гостям. Может, и мне повезет еще раз посетить Флориду, почувствовать ее горячие объятья.

Леонид ЛЕВАНОВИЧ

Перевод с белорусского автора.



ГОНЧАРОВ Глеб Владимирович. Родился в 1965 г. в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт и Белорусский институт правоведения. Автор романа в стихах «Каятан Чабор», поэм «Анёл Януш», «Цвет нікаціяны», «Гіпербарэйская легенда», повестей, рассказов и др. Лауреат различных литературных премий. Живет в Минске.

ЛИСНЯК Александр Алексеевич. Родился в 1948 г. в Лискинском районе Воронежской области. Окончил дирижерско-хоровое отделение культпросветучилища, факультет журналистики Воронежского государственного университета. Автор многих книг поэзии и прозы. Живет в деревне Прудок Городокского района Витебской области.

ПЕЛЮШОНОК Юрий Анатольевич. Родился в 1957 г. в Минске. Окончил Белорусский институт физической культуры и медицинский факультет Тартуского университета. Прозаик. Автор книги «Strings For A Beatle Bass. The Beatles Generation In The USSR». Живет в Минске.

ЛЁСОВА Дарья (Лосева Дарья Станиславовна). Родилась в 1985 г. в Минске. Окончила колледж искусств, Белорусскую государственную академию искусств. Печаталась в республиканской периодике и коллективных сборниках поэзии «Свет на дваіх», «Дзень паэзіі», «Літаратурны квартал», «Літаратурнае прадмесце», «Мы — маладыя» и др., автор сборника поэзии «Туга зямная». Живет в Минске.

МАТВИЕНКО Анатолий Евгеньевич. Родился в 1961 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Автор многих книг прозы. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Минске.

ЛОПУХИН Евсей Евстафиевич. Родился в 1937 г. в Бобруйске. Учился в Одесском мореходном училище, окончил Гродненский педагогический институт. Поэт. Печатался в республиканской прессе, коллективных сборниках. Живет в д. Гороховищи Октябрьского района Гомельской области.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже. Совместно с **Оленкой де Веер**, французской писательницей и астрологом, написаны два романа — «Девушки и единорог» и «Дни мира». Позже Оленка де Веер написала третью часть этой трилогии — «Третий единорог».